Михаил Рыклин

ВРЕМЯ ДИАГНОЗА

ЛОГОС

Михаил Рыклин

Время диагноза

Σ

ЛОГОС

Москва 2003

УДК 316.4
ББК 66.3
В 818

Рыклин М. К.
Время диагноза. М.: Издательство "Логос", 2003. – 328 с.

ISBN 5-8163-0050-4

© М. К. Рыклин, 2003
© Художественное оформление – Вера Хлебникова, 2003
© Настоящее издание – Издательство "Логос" (Москва), 2003

Франку Берберихy,
вдохновившему меня на этот проект

Место мысли. Москва 1995-2003

В начале 50-х годов Ролан Барт писал для журнала "Леттр Нувель" короткие тексты, посвященные тому, что он называл "мифологией французской буржуазии": речь там шла о том, как из отдельных мелких фрагментов создается всеобщее, на обладание которым буржуа "наивно" претендует и с помощью которого он маргинализует, делает приложением к себе весь остальной мир. Темами были среди прочего: кулинария, фотопортреты знаменитостей, загадочная улыбка Греты Гарбо, романы и дети женщин-писательниц и т. д. Францию тогда еще не сотрясала алжирская война, и детали смотрелись так выпукло, что медитировать над ними можно было долго. Этой мифологии Барт противопоставлял то, что он называл революцией или непосредственной политической заряженностью мира (в противовес притязанию буржуазии на универсальность и вневременность ее представлений).

Можно сказать, что постсоветская ситуация является перевернутой по отношению к той, с которой работал основатель политической семиологии. В данном случае общество стремится разделаться с отдаленными последствиями революции с помощью методов, которые риторически провозглашаются умеренными, но, если приглядеться, влекут за собой эксцессы самого радикального свойства. В последние годы разные виды трансгрессии соединились в нескончаемой череде "бандитских" телесериалов. Бандиты показаны в них не разбогатевшими маргиналами, над которыми тяготеет рок социальной невосприимчивости (как в "Лице со шрамом", "Крестном отце" и пр.), а "образцовыми" людьми, лучше других отражающими дух нового времени. Изнанкой их социализации является десоциализация большинства их сограждан. Здесь притязание постсоветского общества последних лет на нормальность, обращенное к внешнему миру, вступает в противоречие с функционированием его собственной культуры.

Барт строил свой анализ так, чтобы в результате создавалась дистанция от очевидного, выявлялась его искусственность: его основным

ходом было приведение к историчности того, что провозглашало себя всеобщим. Специфика же российской ситуации последних десяти лет состоит, напротив, в том, что нормой оказывается (по меньшей мере настойчиво объявляется) наиболее деструктивное, т. е. то, что разрушает социальные связи вместо того, чтобы их создавать. Как работать с такой нормой? Какой смысл называть кого-либо преступником в мире, где преступление стремятся настойчиво выдать за норму? Где президент и его охранник, обменявшись кровью, становятся "братьями"? Куда, в какой мир возвращаться наркоману из универсума бреда, грозящего его поглотить? Не окажется ли этот мир еще более бредовым? И как возможен в таком мире акт мысли?

Таков далеко неполный перечень вопросов, которые я задаю себе в этой книге, и хотя до ответа на них еще далеко, само вопрошание, надеюсь, небесплодно; по крайней мере, в трудные моменты оно помогало мне не отчаиваться. Время, когда преобладает агрессивность и стремится утвердиться сила, несмотря на кажущуюся наполненность событиями, является скудным временем. Эти тексты помогали мне его переносить, помещая себя в более широкое европейское культурное пространство. Оно пока не осознается большинством моих сограждан как внутренне им присущее, многие аспекты открытости еще травматичны, но я далеко не единственный, кто в нем живет. Эти тексты писались для европейцев не просто потому, что были заказаны европейским журналом, но и в силу того, что с распадом СССР европейские границы стали куда более прозрачными; не надо также забывать, что ныне нас отпугивает от Европы именно эта прозрачность, выдерживать которую оказалось нелегко, но от которой также никто не в силах отказаться. Новая открытость является условием нашего мышления, в том числе и самого непрозрачного (этот тезис иллюстрируется анализом книги А. Проханова "Господин Гексоген"). Специфика открытой границы в том, что ее нельзя просто провести, обустроить и локализовать; она уже не столько вовне, сколько в нас самих, и это не столько материальная граница, сколько чистое желание границы, неумение без нее обходиться.

Восемь лет для переходного времени – очень большой срок. Он условно распадается на два периода. Парадоксальным образом турбулентное ельцинское время *post factum* кажется более спокойным, чем последние годы, когда видимость спокойствия создается целенаправ-

ленно. За этой видимостью скрываются, возможно, тектонические сдвиги, смысл которых откроется значительно позже.

Я не стремлюсь поставить диагноз тому, что сам же именую временем диагноза. Я знаю о своем времени не больше журналистов, из чьих статей позаимствованы многие ситуации и детали. Просто я стараюсь видеть его по-другому. Моей основной задачей является не информировать, а спрашивать, демонстрируя значимость и неслучайность своего непонимания. Текст не привязан к сюжету, ситуации, и персонажи в письмах калейдоскопически меняются.

Эти короткие тексты объединяет нечто другое: стремление видеть неактуальное в актуальном, подавать актуальное как форму повтора, гасить присущий ему пафос единственности и уникальности. В проявлениях что-то невозмутимо пребывает непроявленным, возможно даже непроявляемым – именно оно меня интересует. Это придает некоторым письмам сходство со снами, также обладающими существенной автономией по отношению к тому, что в них "показывается".

Хотелось бы писать о незаметных деталях быта, прихотливо связанных между собой, о книгах, фильмах, фотографиях, — о том же, о чем писал Барт. Но мне досталось жить в месте, где происходило много политических событий, на которые просто нельзя было не реагировать, настолько вызывающей и общепризнанной была их актуальность. Надеюсь, что и в них удалось вскрыть существенные пласты неактуального; в этих коротких текстах российская власть предстает более (пусть и извращенно) логичной, чем она открывается привычному журналистскому взгляду. О белых пятнах и тщательно оберегаемых тайнах этой власти можно, вероятно, судить по последствиям, проявляющимся на периферии событий, прежде всего в сфере бессознательного. Это письма о бессознательном, а не о самопозиционировании власти, опирающемся на рационализации. Они предполагают определенную долю отстраненности, особенно заметную на фоне бурных страстей, захлестывающих постперестроечную Москву. Эффект реальности обязан своим возникновением интенсивному коллективному галлюцинированию и сохраняет свой статус до тех пор, пока большое число людей удерживает совместность конкретной формы галлюцинирования. У нее нет авторов, но нет и тех, кто к ней непричастен. Как только один эффект реальности распадается, на смену ему приходит другой, представляющийся не менее естественным.

На рубеже тысячелетия та среда, к которой принадлежу я, пережила болезненный переход от одного эффекта реальности к другому. В ельцинское время мы жили (это отразилось в текстах, написанных в 1995-1999 гг.) так, как если бы эксцессы приватизации имели место за тонкой, но достаточно прочной перегородкой, пусть рядом с нами, но все-таки в другом месте. Начиная с конца 1999 года эта перегородка становилась все тоньше и в конце концов обрушилась. То, что еще недавно представлялось эксцессами, затронувшими тонкие слои новых богатых и покровительствующих им чиновников, быстро распространилось на все общество в качестве нормы. В сфере духа кажущаяся умеренность нового режима превращается в собственную противоположность, в крайний радикализм. Если во времена Ельцина эксцессы были внешними и театрализованными, то теперь они становятся внутренними, менее заметными, но более надежно разрушающими и так слабую социальную ткань.

Канализация энергии разочарования вырастает в полномасштабную политическую задачу, которая к тому же хорошо укладывается в новую мировую тенденцию. В обозначении вооруженного противника как террориста нет ничего нового; новым, однако, является то, что после 11 сентября 2001 года войну терроризму объявила крупнейшая информационная и военная империя, контуры нового образа врага оказались столь зыбкими и неопределенными, что на борьбу с ним без труда подписалось большинство авторитарных режимов. Все они переквалифицировались в борцов с терроризмом, а критика их собственных (аналогичных) методов стала восприниматься как оскорбление и использование двойных стандартов. В странах, где, подобно России, демократическая процедура возникла недавно, от нее часто оставалась лишь голая форма: выборы оказывались не более как конечным звеном в серии насильственных действий, крайне затруднивших свободное волеизъявление.

Давно уже слово “апокалипсис” не употреблялось в интеллектуальных кругах так часто, как после террористической атаки на Америку. Актами обычного террора трудно кого-либо удивить; в мире практически нет ни одной метрополии, где бы не взрывали, не стреляли , не захватывали заложников. Но событию 11 сентября, в отличие от обычных актов террора, интеллектуалами был присвоен более высокий, “апокалиптический” статус. И дело было, конечно, не в количе-

стве жертв, а в месте, которое подверглось разрушению. В этот день обнажилась изнанка дискурса глобализации: до этого события о ней принято было говорить в оптимистическом ключе, а ее негативные стороны без труда выдавались опытными риторами за второстепенные следствия в целом позитивного поступательного движения, пути в светлое будущее. Все это изменилось, когда в центре главного города единственной сверхдержавы, на месте символов ее процветания образовались руины, которые поразили всех своим молчанием. В молчании, собственно, и было заключено их послание. В этом травматическом контексте и возникла фигура апокалипсиса, Страшного Суда, конца света: апокалипсис — это террор, для которого еще нет языка, язык которого еще нужно породить. Рационально разницу между террором и апокалипсисом объяснить невозможно: это пока еще чистый голос травмы.

Мне кажется, что продуктивнее десакрализовать апокалипсис, понять его как один из жанров террора, а не как Террор с большой буквы, с которым дозволено бороться любыми средствами. Изобретая Террор с большой буквы, мы неизбежно переносим на врага существенную часть нас самих. Пока не будет осознано это обстоятельство, мы будем действовать патетично и хаотично и не сможем сформулировать критерии победы. Если процесс вытеснения и овнешнения затянется, число запретов и других проявлений электронной несвободы рискует возрасти настолько, что оно и станет настоящим апокалипсисом; попытка его избежать лишь приблизит его наступление.

Другими словами, имеет место нарциссическое стремление представить свою травму как уникальную (хотя на самом деле уникальна не травма, а возможности ее трансляции, массмедийного воспроизведения). В других местах травмы работают по тому же, апокалиптическому сценарию. Если многими москвичами нью-йоркский апокалипсис был принят столь близко к сердцу, то лишь потому, что он был истолкован по аналогии с собственной травмой: взрывами жилых домов в Москве три с лишним года тому назад (об этом ниже текст “Открытие Америки”). И это, думается, не уникально: в основе Большого Апокалипсиса всегда лежит подобная аналогия.

В последние годы в России проявилась еще одна тенденция: я имею в виду обобществление частной жизни на фоне широкомасштабной приватизации социального измерения. Частная жизнь граждан госу-

дарства, которое приватизирует общественный интерес, быстро обесценивается; точнее, ее сохранение нуждается во все возрастающем пространстве одиночества. В нее проникают элементы загробности; если вслед за Аристотелем считать человека социальным животным, перед нами жизнь за пределами жизни. Отсюда отмеченное в письмах нарастание в литературе последних лет наркотической темы. Место наследуемой социальной памяти занимает прихотливо меняющийся социальный заказ. Российское общество последних лет устроено как машина, перерабатывающая возрастающую агрессивность в апатию и цинизм. Его постоянно перенастраивают с одного образа врага на другой: после 11 сентября еще недавно бушевавшая антиамериканская истерия (ее пик приходится на бомбардировки Югославии) сменилась отождествлением с заокеанским посттеррористическим синдромом. Главной проблемой являются, впрочем, те люди, которые нуждаются в образе врага как в отдушине для собственной агрессивности. Поскольку этот образ всего лишь дублирует и овнешняет сущностное ядро в нас самих, это невидимое, тщательно скрываемое (прежде всего от самих себя) тождество делает невозможным мир без себя и другого. Он, конечно, не исчезает, а просто пребывает невидимым; в судорогах агрессивности мы бьемся внутри него, обрамленные его полной невозмутимостью. Агрессивность и заставляет наши страсти и наших врагов казаться столь "реальными"; невозмутимость является пульсирующей точкой любой друговости. В мире без себя и другого агрессивность является проблемой тех, кто агрессивен, а отнюдь не нашей проблемой; ведь скорее наша жизнь лишится всякой значимости, чем станет поводом к уничтожению другой жизни.

Т. е. сначала мы оказываемся в придуманном многими, бредовом мире, а уже потом, внутри этой "реальности", возникает все остальное, друзья и враги. Убивая других в по-видимости плотном мире, в мире невозмутимости мы убиваем прежде всего самих себя. "Но как тогда будет существовать наша Родина? – воскликнут многие. – И кто как не мы будет ее защищать?" "С Родиной ничего не будет, — хочется успокоить этих людей, — у нее нет врагов, вы сами их придумали".

Итак, спонтанно возникшее не сводится к актуальности проявлений; его единственность есть форма, которую принимает повторяющееся, многократно бывшее. К этому разряду событий относятся природные катаклизмы, теракты, перевороты, грозящие возвратить нас в

якобы первобытное, изначальное состояние. Но у времени нет начала, в котором возникло бы изначальное, оно начинается с повтора.

То, что обычно принимают за событие, прореживает возможности дискурса. Если какая-то смерть (например, смерть подводников с "Курска") объявляется образцовой, то в результате дискурсивное забвение поражает множество других смертей, так что за реабилитацию их права на существование оказывается необходимым бороться. Мелкие события этих текстов обращены к тому, что само как событие не состоялось, но из чего, как из крошечных блоков, стоится пирамида больших, бесконечно транслируемых событий. Настоящей информационной журналистике такой подход мог бы повредить: ведь возникающая созерцательная дистанция в отношении передаваемых сведений стерильна и передает скорее настроение (Stimmung) пишущего. И если по мере их написания экзистенциальная нота звучит более четко, дело не только во внешних обстоятельствах жизни, но в самой интенции проекта. Стремительная фашизация издательства, основанного совместно с группой друзей в начале 90-х годов (об этом говорится в нескольких публикуемых в этой книге текстах), частичный распад среды общения, сложившейся еще в советские времена, — не более как сопутствующие факторы письма, ориентированного на культивацию одиночества. Я как травмирован ими, так вместе с тем и благодарен им за то, что получил дополнительную возможность, как выразился когда-то писатель Юрий Мамлеев, "превращать проклятие в акт благодати". Среда без дистанции поглотила недавних друзей; попав в нее, они буквально оказались заворожены обилием новых возможностей, наркотизованностью самого принципа постсоветской реальности. Начиная писать эти тексты в далеком 1995 году, я не мог вообразить себе, что дело примет подобный оборот. При Ельцине, повторяю, казалось, что от чудовищного нас отделяет тонкая, но прочная перегородка, которая в августе 1998 года дала глубокую трещину, а через год вовсе обрушилась, в числе прочего погребя под собой и позднесоветскую стратегию групповой связности, основанную на политической гонимости. Якорем спасения стало для меня то, что на тот момент моя речь уже функционировала в более широком европейском контексте.

В центре моего интереса стоит переосмысленное применительно к постсоветским реалиям понятие психоза. В зоне доминирования здравого смысла психоз представляется чем-то крайне опасным и трудно-

излечимым, во всяком случае по сравнению с неврозом. "Если при неврозе Я, подчиняясь требованиям реальности (и Сверх-Я) вытесняет влечения, то при психозе происходит прежде всего разрыв между Я и реальностью, в результате чего...возникает состояние бреда, при котором Я строит новую реальность в соответствии с желаниями Оно".[1] Другими словами, в случае психоза связь с реальностью радикально подорвана, замещена особыми речевыми образованиями (бредового типа), обрекающими субъекта симптома на неизбывный аутизм. В посткоммунистической России психотическая речь странным образом коммуницируется и даже обеспечивает высокий уровень социальной адаптации. К тому же она так распространена, что не дает здравому смыслу сформировать отличную от себя реальность. Психотическая речь оказывается прорванной пока только в одном пункте, сравнимом с ленинским "слабым звеном". Этот пункт – деньги. Несмотря ни на какие коллективистские фантазии (смотри "Преступления ради братства", "Кто поджег Рейхстаг?" и другие тексты, собранные в этой книге), психотик не забывает взять деньги; от этого явно зависит степень его самоуважения и социальной воспризнанности. Да, акт оплаты пока молчалив, затоплен психотической речью, но совершается он с неизбежностью природного закона. То есть эта речь обеспечивает компенсацию не сама по себе, как это было в относительно недавние советские времена, а лишь в сопровождении денег, сущностного означающего, которое, оставаясь неназванным, держит в зависимости от себя все остальное. В советские времена идеология не имела и не могла иметь денежного эквивалента. Соединение компульсивной коллективистской речи с идеей товарности, ее превращение в наиболее востребованную ценность имеет недавнее происхождение.

Может быть поэтому, несмотря на огромное количество актов речевой деструкции и имитирующих их действий, в нынешней России не происходит революций. Не действует ли эта деструкция лишь до тех пор, пока обеспечивается социальная адаптация? Не слишком ли эта стратегия "элитарна" и продуманна для того, чтобы массы могли ей овладеть?

Сейчас мне трудно воссоздать все линии напряжения, действовавшие на меня во время написания того или иного письма. О них напоминают только сами тексты. Сюжеты некоторых писем (особенно во второй части книги) — политические; необычными делает их, пожа-

луй, то, что лежащее в их основе видение политического для нынешней России утопично. Возможно, кто знает, они будут казаться более адекватными тем моментам, в которые писались, если со временем так, как я, будет думать большее число людей.

Два времени с разными ритмами условно делят письма на две части, но узнать, где проходит граница очень трудно. Первые тексты написаны еще до переизбрания Ельцина на второй срок в 1996 году, сам же переход можно условно датировать 1998-1999 гг. Для московской среды, к которой принадлежал я, – а это прежде всего те, кто занимался современной философией и литературой (сектор аналитической антропологии Института философии и издательство "Ад Маргинем"), а также круг московского концептуализма – этот малозаметный для внешнего наблюдателя переход оказался болезненным. Подробности можно найти в самих письмах: сокращается информационное поле; ряд недавних интеллигентов занимают позиции советников новой власти; они распространяют свои стратегии на складывающийся интеллектуальный рынок, располагающий мизерными материальными ресурсами; перегородки между разными сегментами этого рынка рушатся, члены же вчера еще одного круга оказываются по разные стороны новых перегородок; интеллектуальные проекты, задумывавшиеся как часть европейской культуры (случай "Ад Маргинем"), начинают мутировать (в их рамках публикуются такие книги, как "Низший пилотаж" и "Господин Гексоген"). Короче, водораздел, который раньше проходил между средами, теперь стал проходить внутри каждой среды.

Скорее всего для наиболее активных слоев российского общества, растащивших СССР после его распада на куски, все это означало снижение внутреннего напряжения, пик которого приходился для них на годы "дикой приватизации"; зато во всех остальных слоях, не в последнюю очередь среди интеллигенции, познавшей вкус свободы, напряжение резко возрастает. Теперь эти последние на собственном опыте узнают о том, что тайно бурлило в верхах общества почти весь ельцинский период. Знамением нового времени является для меня огромное количество "бандитских" телесериалов, где граница между людьми бизнеса, преступниками и блюстителями порядка размывается и преступление фактически подается как норма обычной жизни. Дискурсы, еще вчера казавшиеся критическими, продаются с молотка в качестве

символов новой культуры; вчера еще маргинальные литературные конструкции политическими средствами поднимаются на уровень бестселлеров и т. д. Аналогичные процессы имеют место на всей территории современного искусства.

Управление массово-воспроизводимой травмой все больше поглощает внутрироссийские интеллектуальные ресурсы, делая культурную ситуацию непрозрачной, местами конспиративной. Однако и точка обмениваемости, несмотря на официальное бряцание советскими символами, функционирует достаточно интенсивно. Но почему так мало рефлексии по поводу собственной зависимости от денег, точки универсальной обмениваемости? Не потому ли что зависимость эта пока еще слишком велика и к тому же несовместима с языком травмы, на котором пытаются говорить новые идеологи?

Разница между двумя периодами хорошо видна на примере главы "Структура травмы". До 2000 года я мог позволить себе роскошь не писать о явлениях, которые мне не нравились, и даже полагал, что между дружеским расположением и практикой письма есть подобие связи [2]. Напротив того, тексты, написанные в последние годы, посвящены литературным явлениям, которые мне несимпатичны, но не писать о них (по причинам, которые объясняются в самих текстах) также было невозможно. Более того, в новом контексте приобрело иной смысл и то, что раньше воспринималось как часть известного дискурса (например, московского концептуализма), а теперь балансирует на грани (если не за гранью) мутации. Акт письма стал осуществляться в расщепленной, многократно прореженной среде с крайне проблематичными отношениями между ее членами. Перспектива внутренней эмиграции – о которой любили писать в советские времена, когда она была невозможной – замаячила в качестве реальной. Столь резкие изменения редко имеют место на протяжении одной жизни, а ведь со смертью СССР для нас и так уже началась вторая жизнь; получается, это уже третья. Накопленный нами опыт загробности по европейским меркам необычайно велик, хотя им (как показывает реакция в США на события 11 сентября) ни с кем поделиться нельзя.

В области беспрецедентного едва ли удастся изобрести что-то новое: ведь самое беспрецедентное – это также наиболее архаическое. Но на саму претензию такого рода не реагировать невозможно. В первых письмах было больше свободно выбранных тем; поводом к ним слу-

жили мелкие, иногда бытовые события. По мере того как социум стали сотрясать события, претендующие на беспрецедентность и требующие непосредственной реакции, это стало непозволительной роскошью. Впрочем, в природе самих реакций изменилось не так уж много: если прежде высвечивалось политическое измерение быта, то теперь предмет интереса стала составлять граница, за которой политика становится аполитической, утрачивая провозглашаемую агрессивность, где враг сплошь и рядом оказывается не более как поспешной проекцией собственной вины. Осознание последней сделало бы фигуру врага ненужной. Я рассматриваю большую часть предлагаемых текстов как разновидность автотерапии в надежде, что кто-то из читателей также сумеет воспользоваться ими в этом качестве. То, о чем в них идет речь, местами чудовищно, но *перспектива чудовищности* ни в одном из них не является преобладающей и окончательной; поскольку все берется в сложном (к тому же незавершенном, становящемся) контексте, суждение, а тем более о-суждение также остается чем-то относительным.

Это книга не о собственных именах, а скорее о фоновых явлениях, из которых они прорастают. То, что вызывает неприятие и в чем я ни на каких условиях не стал бы участвовать, часто – особенно, повторяю, в последние годы – является важнейшим импульсом письма. Т. е. отношение к нему также неоднозначно: признание значимости явления вполне может сочетаться с его сущностной чуждостью. К тому же под неадекватным названием "консервативная революция" нечто подобное, хотя и не в таких масштабах, как в России, происходит и в других странах и представляется мировой тенденцией, ограничивающей влияние критических (вовсе не только левых) дискурсов. Несмотря на эту тенденцию, критерии принадлежности к сообществам дискурса на международном интеллектуальном рынке сформулированы несравненно жестче, чем в нынешней России, где складывавшийся рынок идей был в значительной мере обрушен политтехнологами; в результате оказались утрачены критерии, отличающие интеллектуальный проект от его политической и/или коммерческой распродажи; местный рынок дрейфует в направлении тотальной инклюзивности. Доминирует перепроизводство утверждения, психотическая форма аффирмации, когда все соседствует со всем и на этом основании все, якобы, со всем сочетается. Я, напротив того, остаюсь сторонником немодного ныне мнения, что интеллектуальные проекты должны, во-

первых, конкурировать между собой, а во-вторых, быть вменяемыми даже (и прежде всего) тогда, когда речь идет о невменяемом. Я уверен в возрождении местного интеллектуального рынка, хотя бы в тех скромных масштабах, в каких он существовал с 1988 по 1998 гг.. Смысл кликушествования и глоссолалии, какими бы красочными и полнокровными они ни казались, должен устанавливаться в месте, которое обустроено как место мышления, в соответствии с правилами вменяемости. Если в полемике с западной метафизикой мы (я имею здесь в виду и первоначальный проект "Ад Маргинем", и круг московского концептуализма) раздвигали границы разума, то в полемике с нынешней российской ситуацией надо указать на то, что и безумие имеет свои границы, что это — древний феномен, *отмеченный высочайшей степенью повторяемости*. В первом случае граница вменяемости расширяется, во втором же ищется способ оставаться вменяемым даже при ее максимальном сужении. Я надеюсь дожить до того времени, когда российская культура (и прежде всего, конечно же, русская литература) интеллектуализуется настолько, что европейский читатель сможет осваивать ее непосредственно, без помощи особого клана интерпретаторов, сервирующих экзотическое блюдо.

Читая письма, я не могу отделаться от ощущения нарастающего пространства одиночества. Если вдуматься, такая речь обладает рядом преимуществ по отношению к речи победителей: она не привязана к наличной ситуации (в смысле ее утверждения); она атопична, за ней не стоят сколько-нибудь влиятельные институты; ее вменяемость не препятствует пустотности.

Смотря "бандитские" телесериалы, ловишь себя на мысли, что представлять столь партикулярный интерес в качестве всеобщего можно лишь в обществе, чьи культурные институты взяты под контроль. В новой ситуации от нас перестали скрывать то, что произошло перед и сразу после распада СССР, с нами стали говорить языком случившегося; ужаснуло именно то, что новый язык был нашим собственным продуктом. Фоном, на котором писались тексты последних лет, служила Вторая чеченская война; она отличается от Первой тем, что нынешний политический класс России не имеет независимой от нее генеалогии, он сформировался в ходе войны. Эта война как бы ушла в бессознательное людей, проводя там разрушительную работу. Чтобы ее не замечать, создается множество компенсаторных культурных кон-

струкций, основанных не на невротическом механизме вытеснения, а на психотическом механизме отказа от реальности (Verwerfung). Этот механизм утверждает себя как норма. Будь фактор войны осознан, стань он предметом обсуждения, ничего подобного нельзя было бы себе вообразить.

Эти изменения происходят параллельно с рядом общемировых процессов: глобализацией, реакцией на которую повсеместно является "консервативная революция"; и виртуализацией, находящей продолжение в целом веере галлюциногенных практик. Центром консервативной революции, как и глобализации, является не исламский фундаментализм, а сам западный мир; ее смысл сводится к стремлению продолжать экспортировать глобализацию вовне, избегая ее разрушительных последствий для самих экспортеров. В России все эти процессы идут одновременно и интенсивно, причем приоритеты часто меняются. В результате взаимоисключающие вещи часто оказываются рядом. Россия, как всегда, дает фору другим европейским странам по части перепроизводства утверждения и является одним из лидеров мировой "консервативной революции".

Все эти наблюдения как бы соединились для меня, когда в середине мая 2003 года по приглашению Французского университетского коллежа я побывал в Петербурге на встрече "От Дидро до наших дней", приуроченной к 300-летию города. На круглом столе, посвященном французско-русским философским связям и проходившем в главном здании Университета, я упомянул о влиянии, какое оказали на современную философию в России лекции и семинары в Москве и Петербурге таких французских философов, как Жак Деррида, Жан-Люк Нанси, Филлип Лаку-Лабарт, Жан Бодрийяр, Жан-Франсуа Лиотар в конце 80-х начале 90 гг.; что интересовало этих философов в последние годы существования СССР; какое влияние на некоторых из них оказало событие Октябрьской революции и т. д. На это председательствовавшая, философ Бландин Крижель, сухо заметила, что все эти философы – и, главное, то, чем они занимались и занимаются – давно уже не актуальны во Франции и что философы "ее поколения" (подразумевалось, что именно они сейчас актуальны) занимаются совершенно другими проблемами: институтами демократического государства, правами индивида и т. д. Всеми этими проблемами философия, поду-

малось, занималась со времен Сократа, и они уж точно интересовали всех философов отвергаемого теперь поколения, но какой был смысл об этом напоминать перед лицом столь неприкрытого *ressentiment*? Потом эта дама уточнила, что "то поколение" заканчивается со смертью Мишеля Фуко в 1984 году. Так как наши встречи приходились на более позднее время, получалось, что они как бы были загробными.

Француз, маркиз де Кюстин, написал, может быть, самый значительный текст о России, когда-либо вышедший из-под пера иностранца. Маркиз особенно гордился вежливостью, присущей французам, этой "издревле цивилизованной нации", и, надо сказать, что, живя во Франции, я ни разу не сталкивался на официальном уровне со столь откровенной невежливостью и агрессивностью – намеки на подобное изредка встречались разве что в разговорах за чашкой кофе. Я понял, что передо мной французский вариант "консервативной революции" и решил, что говорить о "России в 1839 году" Кюстина не имеет смысла, если Францию в 2003 году представляют люди с подобными понятиями о гостеприимстве.

Зато как вполне "кюстиновский" эпизод запомнился прием, который посол Франции устроил в Мраморном дворце с видом на Неву; закат напоминал тот, который подробнейшим образом описан маркизом из окон соседнего Зимнего дворца.

Но я бы не стал писать обо всем этом, если бы не состоявшийся на следующий вечер ужин, точнее, не место, в котором он проходил по приглашению Марека Хальтера, уполномоченного Французского правительства по празднованию 300-летия Петербурга и директора Французского университетского коллежа. У входа гостей встречал чернокожий швейцар в цилиндре, клетчатой рубашке и юбке, который постоянно кланялся. Официантки были в сверхкоротких юбках и белых блузах с пионерскими галстуками. На экранах телевизоров порнографические изображения перемежались со сценами партийных съездов брежневского времени. Каждые несколько секунд мощный голос, похожий на голос диктора Левитана, торжественно произносил загадочную фразу: "Поклон засчитан!" В окружении охраны из ресторана вышел мэр Петербурга, пришедший, насколько я понял, для того, чтобы встретиться с Жераром Депардье. На актера надели пионерский галстук, и он фотографировался с восторженными поклонниками, в то время как представители "консервативной революции" опасливо ко-

сились на экраны. Устройство этого ресторана напоминало инсталляцию, автор которой поставил своей задачей соединить несоединимое и воспроизвести галлюциногенную атмосферу текстов, которые еще недавно считались концептуальными; здесь она воссоздавалась с наивным буквализмом неофита и становилась средой обитания.

Я, подобно прустовскому герою, почувствовал, что все темы моей книги сошлись здесь в одной точке, в пульсирующей точке отсутствия идентичности. Здесь внутри нее находились и русские, и французы, и никто из них не понимал, как это сочетание деталей возможно; точнее, было сделано все для того, чтобы парализовать возможности соответствующего постижения.

Да, "консервативная революция" или ужас перед последствиями того, что провозглашается неотвратимым, идет полным ходом и угрожает многому из того, что сформировалось в предыдущий, более спокойный период. Но в каждом месте она проявляется по-разному; трудно найти общий знаменатель между фрустрированными профессорами философии и стихией, справляющей свои сатурналии в местах, подобных питерскому ресторану.

К тому же что означается в данном случае эвфемизм "революция"? Что революционного в эстетике описанного заведения? Что революционного в проблематике, которой занимаются философы "нового поколения" во Франции? Какой смысл именовать революционными архаические инстинкты, которые, подобно динозаврам, оживают в последнее время? Короче, зачем называть могильщиков революции революционерами? Не значит ли это, что революционность еще не утратила былого престижа, если враги оной продолжают вызывать ее дух?

Родившись в СССР, я не мог быть полноценным участником левого проекта, который задавал тон в Европе в 60-80 гг.; не мог быть в политическом смысле, но в отношении интеллектуальном я обязан ему очень многим и не намерен забывать об этом долге.

Первую часть настоящей книги составили тексты, которые берлинский журнал "Lettre International" четырежды в год, начиная с лета-осени 1995 года по настоящее время (речь идет о номерах с 30 по 61), публиковал на немецком языке под рубрикой "Письмо из Москвы".

За исключением первых шести (публиковавшихся в книге: Михаил Рыклин. Искусство как препятствие, Москва, Ad Marginem, 1997), по-русски письма публикуются впервые.

Что касается второй части, то текст "Медиум и автор. О текстах Владимира Сорокина" впервые был опубликован в качестве послесловия к двухтомнику: Владимир Сорокин. Собрание сочинений, том 2, Москва, Ad Marginem, 1998, с. 737-751.

Эссе "Триумф детриумфатора. Линия и буква" служило предисловием к книге: Павел Пепперштейн. Диета старика, Москва, Ad Marginem, 1998, с. 7-27.

"Pedigree Pal. Путь к английскому догу" был впервые опубликован в каталоге выставки "Фауна" (Москва, ГЦСИ, 1999, с. 25-42) на русском и польском языках.

Расширенный вариант текста "От ликования к галлюцинации. Постсоветские коллективные тела" публиковался на немецком языке в книге: Kollektivkörper. Kunst und Politik der Verbindung, Transcript Verlag, Bielefeld, 2002, SS. 25-38.

Текст "Структура травмы" публикуется впервые.

Эссе "Валерик. Образы чеченца сквозь призму войны" написано для книги, которую франкфуртское издательство Зуркамп (Suhrkamp) выпускает осенью 2003 года. По-русски публикуется впервые.

I.

Письма из Москвы

Время диагноза
(август 1995 г.)

Гуляя по нынешней Москве, нельзя не поразиться обилию гетерогенных, не подводимых под общий знаменатель знаков, которые посылает быстро изменяющийся урбанистический ландшафт. Это относится прежде всего к архитектуре, о которой нельзя говорить иначе как во множественном числе. Незаметно размножаются здания "корпоративной" архитектуры, отгородившиеся от города непроницаемыми зеркальными стеклами, сквозь которые рассматривают город их обитатели — работники банков, представительств иностранных фирм и разбогатевших экспортных организаций (в их названии почти всегда есть слова "нефть", "алмаз", "газ" или "золото"). Достраиваются дома "номенклатурного" периода, завершающиеся впечатляющими крепостными бойницами, как если бы их обитатели собирались защищаться от нападения толп. Строятся увеселительные заведения и частные дома в виде маленьких крепостей, с круглыми башнями и узкими окнами, за которыми скрываются казино или спальня. Стремительно коммерциализуются и перестраиваются унаследованные от сталинского периода комплексы зданий: прежде всего это знаменитая ВДНХ , "русский Диснейленд", практически полностью преобразованный в гигантский супермаркет. В этих павильонах народное ликование, связанное с близостью коммунизма, должно было переходить в потребительский экстаз; теперь символическая архитектура 30-50-х гг. с ее эмблемами изобилия, гербами и знаменами опосредует профанные акты купли-продажи.

Казалось бы, от революционной и сталинской Москвы, видевшей себя столицей мира, не осталось ничего, кроме украшенных государственной символикой зданий (прежде всего метро и высоток) и великодержавной риторики, принявшей национальную форму. На поверку это не совсем так: с одной стороны, утопия товара, преподносимого как идеальный объект, с которым возможно полное отождествление, является отзвуком старой революционной утопии: с другой стороны,

прошлое, особенно дореволюционное, воспринимается здесь, в Москве, с наивной серьезностью людей, на протяжении трех поколений лишенных истории и теперь стремящихся вернуться к ней или, лучше сказать, войти в нее буквально, посредством тотальной реставрации сакральных мест. Основным местом такого рода является расположенный недалеко от Кремля храм Христа Спасителя, который стремительно воссоздается в его утопической первозданности с помощью методов строительства и материалов, неизвестных в XIX веке, когда он был построен в первый раз архитектором Тоном.

Интересно то, что все эти градостроительные проекты никак не соотносятся между собой, более того, между ними практически нет никаких опосредующих звеньев, никакой иерархии. Они сосуществуют исключительно метонимически, в порядке смежности, и их соподчинение является делом неопределенно отдаленного от нас будущего.

Архитектура не составляет исключения — нечто подобное происходит и в других областях. В непосредственной близости от продовольственных магазинов и супермаркетов длинные очереди плохо одетых людей стремятся продать вам то, что в изобилии имеется в этих магазинах, притом по тем же ценам. В самом центре Москвы строится целый подземный город с магазинами, ресторанами и представительствами фирм и банков, а рядом с ним, буквально в ста шагах, высится только что возведенная конная статуя маршала Жукова. Архаика неясным образом сосуществует с элементами ретро и постмодерна в одном, разрываемом ими на части пространстве.

Переживаемый момент можно назвать временем ускользания смысла; ускользания, проявляющегося, в частности, в его бесконечном умножении. Это ускользание через умножение накладывается на глубоко укорененную имперскую традицию единства и внешней монолитности перед лицом явных и тайных недоброжелателей. Умножение смысла не пощадило и образы врага — их число также драматически возросло: это и "лица кавказской национальности", и "новые русские", и мировой капитализм, и даже закодированный в подсознании наименее образованной части москвичей заговор неуловимых "жидо-масонов". Именно иррациональность этих образов делает их эффективными, и в этом нет ничего нового: в трудные переходные периоды фикции лучше всего сплачивают людей. Это вовсе не значит, что с ними не надо бороться и не надо их анализировать.

Мы знаем, что на Кавказе живут многие десятки национальностей, и объединять их в единую псевдонациональность можно лишь с целью воссоздать "кавказскость" (подобно тому, как Ролан Барт в "Мифологиях" писал о "баскскости", "китайскости" и т. д.) в качестве мифа, деполитизировав скрывающуюся за ним реальность или то, что куда менее однозначно и сложно, чем сам миф. Реальное означаемое "лица кавказской национальности" — преступник, причем то, является ли он чеченцем, грузином, азербайджанцем или армянином, имеет, якобы, второстепенное значение, как и то, что среди преступников много русских, украинцев и представителей многих других народов. В объявлениях о сдаче квартир, гаражей и дач задолго до чеченской войны часто значилось: "лиц кавказской национальности просим не беспокоить". Собственно, война началась на уровне дискурса, и нынешняя пассивность российского общества в вопросе о чеченской войне отчасти объясняется тем, что еще в 1991-92 гг. оно позволило навязать себе этот язык и тем самым сделало его своим. Между тем активное противостояние этой войне, действенный протест предполагают в числе прочего отказ от ставших частью бессознательного языковых мифологем, к чему большинство россиян еще не готово. Более того, оно еще не формулирует это как проблему. Именно "невинность" большинства в этом, казалось бы, чисто языковом вопросе указывает на то, что, как написано в притче Кафки "К вопросу о законах": "нам еще нельзя доверить закон". Оно протестует, но неизбежно пассивно, изнутри непереваренного националистического дискурса, бессознательно приписывающего военным преступлениям черты наказания не за реально совершенные "лицами кавказской национальности" преступления (это, как известно, входит в компетенцию суда), а за их якобы априорную преступность, надежно закрепленную на уровне дискурса. Думается, такие незаметные мифологемы лежат глубже рационализаций, с помощью которых пытаются оправдать эту крайне непопулярную войну (необходимость сохранения территориальной целостности России; экономический интерес к нефтяным скважинам Чечни).

Как показывает террористическая акция в Буденновске, чеченцы, подобно выпущенному из бутылки джинну, повели себя так, как их видят сквозь призму укоренившейся мифологемы, как бессознательно хотят, чтобы они себя вели. Через эти действия они становятся "настоящими чеченцами" — то есть самыми преступными из "лиц кавказ-

ской национальности" — и, материализовавшись в этом качестве, парадоксальным образом становятся теми, с кем можно и нужно говорить, партнерами по переговорам. Уникальность этой террористической акции в том, что она дала импульс переговорному процессу. Ни одна подобная акция до этого не имела таких последствий; они были, скорее, обратными.

Другим образом врага представляются многим "новые русские", или "новые богатые". У номенклатуры предшествующего периода они переняли привычку придавать местам своей жизни и отдыха черты укрепленных, охраняемых сооружении. В Москве и под Москвой можно видеть множество уменьшенных копий замков и крепостей такого рода: пребывание в них связано не столько с отдыхом, сколько с чувством защищенности от внешних опасностей, понятным в случае людей, которые находятся в исключительно сложных отношениях с законом. В массовом сознании "новые русские" ассоциируются с двумя вещами: криминальностью (часто их называют "мафией") и демонстративным потреблением. Это последнее предопределяет запредельный уровень цен во многих ресторанах, магазинах, казино и ночных клубах города. То, что принято называть рестораном, сплошь и рядом оказывается чем-то вроде закрытого клуба для лиц, которые его финансируют. Вы со своими скромными сбережениями там не нужны. В таких местах думают прежде всего не об извлечении прибыли, а об охране небольшого числа избранных клиентов и их друзей. В остальном обозначение "новые русские" охватывает довольно случайный конгломерат людей, которых объединяет лишь иллегальность, страсть к ритуализированному быту.

С другой стороны, общество ясно дает понять интеллигенции, в частности гуманитариям, что оно дешево ценит их услуги. Сносно заработать себе на жизнь может разве что удачливый журналист. Тем немногим, кто может позволить себе роскошь работать над долговременными, трудоемкими проектами, как правило, удается найти финансовую поддержку от фондов, в основном западных.

В обыденной жизни гуманитарий мало чем отличается от среднего москвича. Он все больше чувствует себя дичью, на которую охотятся разбогатевшие частные лица и государство. Около двух миллионов москвичей в прошлом году потеряли свои деньги в результате многочисленных банкротств банков и акционерных обществ. Жизнь для них

в Москве, ставшей тем временем одним из самых дорогих городов мира, превратилась в постоянное упражнение в искусстве выживания. Закону в такой ситуации практически нечего опосредовать — все хотят всего и уступают только превосходящей силе противной стороны. Все чаще нарушаются обещания, не выполняются взятые обязательства (один знакомый художник назвал это состояние общества "демократическим законом джунглей"). В этом состоянии, предшествующем общественному договору, людей не в силах объединить никакой образ врага, поэтому число таких образов драматически возрастает.

Мы живем во время, которое можно назвать временем диагноза. Речь идет о диагнозе, который еще не поставлен, который ставится нам нами же, точнее, посредством нас, и пока объективно не может быть прочитан как местными, так и иностранными диагностами. Обычно симптомы мыслят по аналогии: "Там-то было так-то, потом было сделано то-то и то-то, и пациент встал на путь выздоровления. Так же следует поступать и нам/вам". Такие аналогии не просто хромают: на уровне воображения выводя за пределы трудного периода, они на мгновение успокаивают нас, чтобы затем повергнуть в отчаяние тем более глубокое, чем сильней была предшествующая ему надежда на скорейшее выздоровление. Попытка мыслить более семидесяти лет нашей истории как нечто сугубо негативное, — а именно она лежит в основе большинства выносимых диагнозов, — сама является не чьей-то виной, а очевидным симптомом заболевания: просто прошлое и связанная с ним травма еще слишком близко отстоят от нашего настоящего. Чтобы понять их, нам пока недостает дистанции. Постоянно желая невозможного, мы не делаем и того немногого, что в нашей власти и может быть сделано.

Более продуктивным, чем поспешная диагностика, представляется мне накопление и описание максимального числа симптомов без того, чтобы преобразовывать их в еще один "правильный" диагноз. В этом отношении очень интересен "Московский дневник" Вальтера Беньямина, писавшийся им на излете НЭПа, предшествующего нашему времени диагноза. Беньямин отказывается ставить тогдашней Москве диагноз по причинам, которые сам он связывал с особенностями тогдашнего "настоящего момента". В чем состояла эта специфика? В том, что множество расходящихся серий симптомов мешали смыслу достичь точки насыщения, самоупорядочиться, стать равным самому себе.

27 декабря 1926 года Беньямин писал своему другу, скульптору Юле Радт: “Совершенно невозможно предсказать, что выйдет из всего этого в России. Возможно подлинно социалистическое сообщество, а может быть, нечто совершенно иное. Сражение, которое должно это решить, еще идет полным ходом”.

И сейчас, почти через семьдесят лет после того, как были написаны эти слова, “настоящий момент” здесь, в Москве, слишком насыщен возможностями для того, чтобы с уверенностью предсказать, какая из них будет реализована. Пока все они странным образом осуществляются параллельно, так что нельзя отдать предпочтение ни одной из них. Я бы также затруднился сказать, когда кончится время диагноза. Ведь сделать это значило бы поставить окончательный диагноз. Но это пока невозможно. “На этом лезвии ножа мы и живем” (Кафка).

Логика распада
(январь 1996 г.)

В последние годы Советской власти посетители павильона "Птицеводство" на ВДНХ могли видеть странные объекты: это были большие, полтора метра в диаметре и около трех метров в длину, яйца, снабженные с одной стороны стеклянными окошками; сквозь них на фоне идиллического пейзажа, как бы заимствованного у Джотто, виднелись небольшие строения, при пристальном рассматривании оказывавшиеся животноводческими фермами, коровниками, птицефермами. Производство мяса и молока превращалось внутри этих странных объектов, которые я внутренне окрестил "мировыми яйцами", в нечто нечеловеческое, почти райское. Не случайно людей на фоне этих старательно склеенных домиков почти не было видно, хотя подпись под яйцом гласила: "Птицеферма совхоза имени С. М. Кирова Ступинского района Московской области". То, что выдавалось за макет птицефермы, на самом деле было ее платоновским эйдосом, идеальной формой, которую можно было поместить в любом месте, в том числе и в Ступинском районе. Производство здесь отрывается от реальности места, становясь полностью эстетизованным, тотально экспонируемым.

А рядом с яйцами высились в стеклянных контейнерах пирамиды консервов с экзотическими названиями: "Петух в вине", "Утиный мусс". Никто никогда не видел этих консервов в магазинах — создавалось впечатление, что некоторые из них были произведены специально для этого павильона: их произвели не ради потребления, а для созерцания. В работах Энди Уорхола с супом "Кэмпбелл" обыгрывается серийность реально производимого и потребляемого продукта, навязчивость фирменного знака. Здесь же сами консервы производятся как эстетический объект, не подлежащий потреблению.

Эти образы невольно пришли мне в голову, когда несколько дней назад я посетил только что открывшийся поблизости продовольственный супермаркет. Новенький гастроном был точной копией парижс-

кого магазина вроде "Феликс Потэн" или "Эд", полки были заставлены французскими продуктами. В тот момент в нем на большой штат продавцов не было ни одного покупателя. Заметив меня, продавцы по очереди подходили, рекламируя отдельные товары, интересуясь тем, что я хотел бы купить. Я, покупатель, явно был здесь редкой птицей, и супермаркет напомнил мне инсталляции бельгийского художника Гийома Бийля, выставлявшего в галереях больничные палаты, отделы готового мужского платья и т. д. Между тем я находился не в галерее, а в магазине, эстетизованном избытком продающих и недостатком — точнее, отсутствием — покупающих.

Вот из каких неожиданных мест исходит конкуренция московскому искусству: торговля, политика, экономика — все они изобилуют потенциально художественными актами. Если раньше предметом эстетизации становилось местное производство, те же "мировые яйца-фермы", то теперь основной упор делается на сферу покупки -потребления, причем главным образом иностранных продуктов. Из вежливости купив кое-что в этом магазине, я как бы заплатил за вход в музей, где продавцы играли роль экскурсоводов, а продукты — выставленных объектов, потреблять которые можно лишь в исключительных случаях. При такой конкуренции искусство нельзя локализовать в системе галерей и превратить в особый товар: оно разлито повсюду и часто носит столь непреднамеренный характер, что имя "творца" его только компрометирует. Оно с основанием стремится к анонимности.

Чувствуя, что в лице торговцев, политиков и представителей преступного мира искусство сталкивается с сильными конкурентами, художники все чаще пытаются им подражать. Так, один художник недавно ударил букетом роз по лицу куратора, не взявшего его работу на выставку, а другой так же поступил с критиком, статья которого ему не понравилась. Московская пресса в разделе "Искусство" чаще всего пишет о рискованных хэппенингах в стиле венского акционизма. Но эти имитации по необходимости несовершенны, так как художник в качестве подписи оставляет свое имя. А имя делает даже самый брутальный жест предметом обмена и тем самым снижает его интенсивность, единственную, увы, пока ценность, которую оно в себе несет.

В лихорадочной атмосфере последних лет, будучи озабоченными проблемами выживания, мы перестали замечать проявления упадка и даже распада, происходящие в непосредственной близости от нас. Не-

далеко от того места, где я живу, в северной части центра Москвы, в Марьиной роще, есть деревянная хасидская синагога, построенная в 1926 году. Я знал, что около двух лет назад она пострадала от пожара, но одно дело — знать об этом понаслышке, а другое — увидеть своими глазами. Это здание попросил меня показать ему скульптор Юрий Календарев, гражданин Израиля, и я побывал там впервые со времени пожара.

Нам открылось довольно печальное зрелище. Печальное не только потому, что синагога выгорела, — в конечном счете это может произойти с любым зданием, особенно деревянным, — но и из-за последствии этого события: часть религиозных книг была свалена в полностью выгоревшей комнате, превращенной в туалет строителями соседнего сооружения. Сочетание куч кала и затронутых разложением книг производило отталкивающее впечатление; почему нельзя было перенести книги в закрытое помещение, а ту часть, которая оказалась испорченной в результате пожара, захоронить?

Потом показался сторож синагоги, который в ответ на наши удивленные вопросы сказал, что староста делает все возможное, чтобы помочь нескольким оставшимся в живых старым членам религиозной общины, что до книг у него просто не доходят руки. Он показал нам внутреннюю часть дома с полувыгоревшим молитвенным залом и комнатой для верующих, в которой наше внимание привлек объемистый сейф. Сторож пояснил, что в нем хранятся уцелевшие свитки Торы, так как иначе их могут украсть или осквернить. Удивительно было и то, что в здании не было канализации, так что после молитвы старики справляли нужду в специальное ведро, стоявшее в соседней комнате за занавеской.

Ситуация явно возникла не из-за чьего-то злого умысла или вины, не в результате войны или погрома. Просто община не смогла справиться с последствиями пожара и пришла в упадок. Здесь, как и в других случаях, следует воздерживаться от поспешной морализации происходящего: в основном за распадом не скрывается хитрое в своей злонамеренности существо, в планы которого входит унижение святынь. Причиной часто являемся мы сами, и тот, в чью сторону мы направляем обвиняющий перст, рискует оказаться нашим двойником.

В конце осмотра сторож вручил нам брошюру, в которой красовалась синагога будущего: огромное, великолепное здание из кирпича и стекла с крышей в виде купола и боковой башней. “На митинге общи-

ны, — говорилось в брошюре, — было принято единогласное решение о строительстве новой синагоги на месте сгоревшей". Ненужная в настоящем (настолько, что не хватает средств захоронить оскверненные книги), синагога компенсирует эту травму в будущем строительством идеального культового здания. Настоящее нужно проскочить любой ценой; с ним и только с ним связана травма присутствия. Может быть, именно невыносимость настоящего заставляет грезить о будущем величии? Может быть, в силу своей невыносимости настоящее вынуждено принимать форму бегства от настоящего? Чтобы компенсировать видимый распад, нужно научиться лицезреть невидимое как единственно реальное — независимо от того, удастся осуществить его в будущем или нет.

В настоящее время в Москве бросается в глаза исключительная слабость гражданского общества на фоне обогащения частных лиц, в том числе многочисленных государственных чиновников. Обогатившиеся с помощью государства лица заняты обустройством своего быта и бизнеса и готовы помогать другим либо в целях рекламы, либо под давлением того же государства, стремящегося переложить на них часть заботы о согражданах. Так как предыдущая советская общность носила непроработанный спонтанный характер и держалась прежде всего на принуждении, разрушение ее грозит зайти далеко. При этом разрушение символических связей действует на людей более депрессивно, чем нынешний уровень материального благосостояния, далеко не самый низкий в истории России (просто раньше не прибегали к сравнению с западным уровнем жизни, а теперь это стало едва ли не основным критерием, косвенно свидетельствующим в пользу того, что постсоветское общество видит себя как индустриальное). Мы переживаем время, когда суверенность государства и частных лиц утверждается за счет интересов большинства: социальный успех все больше зависит от пренебрежения интересами других людей. В этом климате экономическая ситуация улучшиться не может: ее изменит к лучшему только новое чувство солидарности с другими людьми. К сожалению, трудно, как многим бы того хотелось, произвольно ускорить этот процесс. Иногда кажется, что свет в конце тоннеля уже виден, но это оказывается очередной галлюцинацией...

Политики, находящиеся у власти, стараются уверить нас, что все идет к лучшему и где-то это, бесспорно, так. Но рядом с этим "где-

то", подобно помойкам на пустырях, разрастаются очаги распада, которые в будущем планируется превратить в оазисы. Но это в прекрасном будущем, а в настоящем число таких очагов распада продолжает увеличиваться, захватывая прежде всего область культуры.

Не надо рассматривать этот распад как нечто сугубо негативное, а то, на что он направлен, как жертву. Многие из распадающихся явлений культуры были произвольно декретированы предыдущим режимом и гибнут вследствие неконкурентоспособности. Зародившись в атмосфере насилия, они не могут плавно врасти в изменившиеся социальные отношения. Столкнувшись с еще неясной им новой силой, представители старых институтов культуры пытаются по привычке идеологизировать ситуацию, переписать ее в терминах справедливости, забывая при этом, что только огромная историческая несправедливость, известная как Большой Террор, сделала возможным их собственное существование. Особенное возмущение вызывает у них то, что террор против террористов ведется в основном их собственными, более циничными товарищами, вовремя переметнувшимися в другой лагерь. В этом отношении феномен советизма еще нельзя считать законченным; борьба с ним осуществляется во многом привычными советскими методами подавления, воспроизводящими то, с чем борются, и остающимися в кругу его воздействия.

Иногда я получаю от московских журналов анкеты с просьбой ответить на такие вопросы: будет ли высокая культура существовать и дальше или наступает господство массовой культуры? рынок победит культуру или культура рынок? и т. д. Составители этих анкет явно испытывают ностальгию по прошлому, когда, как им кажется, была высокая культура и настоящая интеллигенция, ее неподкупный страж. Между тем я не уверен в том, что вопросы вообще можно ставить таким образом, что высокой культуре противостоит низкая, а рынок является заклятым врагом культуры. Но главное даже не это, а то, что ностальгия, будучи реакцией на травму настоящего, необходимо фальсифицирует историю.

У нас массовая культура только начинает складываться. Пока это крайне невоспитанный ребенок, старающийся нарушать как можно большее число запретов. В этом ему помогает презрительное отношение к законам, глубоко сидящее в каждом из нас, включая представителей закона.

В чем основное отличие нашей культуры от, например, американской? В том, что пока мы ориентируемся не на технологическую культуру образов, а на древнюю культуру речи (и связанный с ней авторитет говорящего, его телесное присутствие и т. д.). Другими словами, мы еще верим в коллективное спасение и в "воскрешение отцов", хотя в полной мере испытали на себе отрицательные последствия такой веры. Страх перед этой верой сейчас даже сильнее ее самой, поэтому в обществе понимается также неизбежность компромисса. Надеюсь, что терпимость к проявлениям Другого возрастет, когда заработают наши же собственные законы и у отдельных лиц исчезнет соблазн судить и наказывать.

Культурным представляется мне сегодня тот, кто сумел сохранить дистанцию по отношению к болезненно-агрессивной социальности. В нынешнем московском контексте образованность перестала быть определяющим признаком культурности: часто интеллигенция представляется более нетерпимой, чем среднестатистический гражданин, более готовой поставить свою образованность на службу новому мессианству (точнее, одной из его, к счастью многочисленных, разновидностей).

В целом нынешнюю ситуацию при всех ее издержках нельзя однозначно оценить как неблагоприятную, в том числе и в культурном отношении. Да, имеет место высокая степень агрессивности, но, в отличие от недавнего прошлого, это наша собственная, не предписанная сверху агрессивность. Она все же лучше, чем покорность, являвшаяся результатом репрессии. Общество более открыто внешнему миру. И хотя эта открытость служит источником повышенного травматизма, едва ли можно считать альтернативой ей возвращение к предшествующей закрытости, превращавшей культуру в простое орудие противостояния "капитализму".

Одним из симптомов того, что кризис позади, будет признание, что рынок не является врагом культуры; для этого нужно, чтобы, с одной стороны, сам рынок стал менее анархичным, а с другой — чтобы культура десакрализовалась, одновременно перешагнув через национальные границы. Это случится не завтра, но основания для осторожного оптимизма есть.

Большие маневры
(май 1996 г.)

Сейчас, в преддверии президентских выборов, особенно чувствуется, насколько нынешний политический климат отличается от настроений, господствовавших в Москве в разгар перестройки, в 1987-1991 гг.. Надежда на соединение демократизации с быстрой и эффективной модернизацией, сильная еще несколько лет назад, теперь практически улетучилась, оставив в обществе горький привкус неудачи. Оптимизм перестроечного периода сменился апатией, вызванной растущей раздробленностью социальных субъектов, которые осознают, что их интересы непримиримо различны и не могут быть подведены под общий знаменатель. Группы, еще недавно выступавшие от имени и в интересах всего общества, — шахтеры, "зеленые", активисты независимых профсоюзов, — ныне борются за собственное выживание. Крепнет сознание того, что свои материальные интересы можно реализовать только за счет других. Интеллигенция, традиционный в русском обществе "рупор всеобщего", в ситуации социальной анархии и раздробленности дезориентирована, отодвинута на задний план и поставлена перед каждодневной необходимостью заботиться о собственном выживании.

В то же время закулисная, не регулируемая законом часть жизни непомерно разрастается; уже целые сегменты общества управляются негласными договоренностями о разделе сфер влияния.

За полтора месяца до главного события года, президентских выборов, чувствуется, насколько же еще централизована хозяйственная жизнь России, как мало в ней независимых от президентской власти людей и институтов, способных работать несмотря на результаты выборов. Банки выдают минимум кредитов, откладывается заключение сделок, выплата гонораров. Политическая жизнь приобретает несколько апокалиптический оттенок: или "жизнь вечная"(победа нынешнего президента), как уверяют нас средства массовой информации, или же "геенна огненная" (победа коммунистов).

Если ответственность, которую налагает на западных политиков служение обществу, выражается в максимально регламентированном речевом поведении, особенно в официальных "протокольных" ситуациях, в России все обстоит иначе. Фрустрированное население диктует своим избранникам психотический стиль поведения, который все более определяет политический профессионализм последних. Исцеление от наносимых изменяющейся реальностью травм ищут в их разыгрывании: при этом рациональные компоненты, связанные со строгостью аргументации, умением убеждать, наличием продуманной программы, отступают в политике на второй план. Первый же план, повторяю, заполняется тяжелым актерством психотического типа и принятием на себя *нечеловеческой* ответственности за судьбу вверенного политику народа. Но у такого рода ответственности есть обратная сторона, ее смеховая, как сказал бы Бахтин, изнанка: нечеловеческая ответственность с логической неизбежностью оказывается синонимом тотальной безответственности.

Полномочия президента России огромны: гарант Конституции, Верховный главнокомандующий, он назначает и смещает большинство высших должностных лиц государства, при определенных условиях может распустить Думу и т. д. и т. п. На практике же, если президент совершает ошибку, политологи и журналисты винят в ней не его, а некомпетентность помощников, советников и т. д.. Президенство получает здесь квазимонархическую санкцию (я употребляю слово "квазимонархическая" потому, что, в отличие от традиционного монарха, посткоммунистический президент не отвечает перед трансцендентной инстанцией, Богом) .

Здесь возникает постоянно дебатируемый в московской прессе вопрос о цене демократии. Насколько эффективна демократия, отстаивающая себя диктаторскими методами? И что нового могут добавить к арсеналу таких методов коммунисты? Опасность их прихода к власти может быть сведена к минимуму, если не к нулю, за счет опережающей реализации их основных программных положений президентскими структурами.

Но, парадоксальным образом, чем больше это происходит, чем выше становится "цена демократии", тем больше сами коммунисты рисуются в качестве политических монстров, а их приход к власти заранее — что уж совсем недемократично — объявляется равносильным

национальной катастрофе. Тем самым риторически они заблаговременно ликвидируются в качестве политических противников, с которыми можно вести диалог и конкурировать за голоса избирателей, провозглашаются врагами, символизирующими одновременно темное советское прошлое и мрачное национал-социалистическое будущее. Выборы тем самым аннулируются в дискурсе власти, приравнивающей свое возможное поражение то к возрождению ГУЛАГа, то к Гражданской войне. Такое манихейское видение мира оставляет без выбора всех рядовых граждан, в том числе и не сочувствующих коммунистам. Впрочем, превращая политическое противостояние в религиозное (правда, силы добра в этой картине стыдливо выступают в качестве сил "наименьшего зла", что не совсем религиозно), выбор делают невозможным уже логически. В ситуации выбора сакрален только сам выбирающий, — назовем его народом, электоратом или как-то еще — только ему принадлежит суверенитет, создающий пространство выбора. Силы же, из которых выбирают, не обладают окончательной суверенностью, что и дает им возможность конкурировать между собой профанными политическими средствами. Между тем нам как избирателям активно навязывается несовместимая с демократией ситуация двойной, тройной и т. д. суверенности. Суверену абсурдным образом предлагают выбрать другого суверена — квазимонархического (Ельцин), эгалитаристского (Зюганов) или право-националистического (Жириновский) типа. А силы, которые настаивают на эффективности политического измерения (Явлинский, Гайдар), объявляются обреченными на поражение, так что и на этом пути избирателя ожидает тупик.

В стране, где банальная выплата заработной платы объявляется "эффектным предвыборным ходом", для большинства людей проблемой является элементарное выживание. Вместо поисков выхода из этой ситуации политики все чаще прибегают к имитации травмы, ее психотическому воспроизведению. Отказываясь себя десакрализовать, говоря о своих просчетах возвышенным языком фрустрации, а не более конструктивным языком программы, они сами прокладывают путь к власти прокоммунистически настроенным силам, а также крайним националистам. Самодержавно-патерналистская система поведения нынешних властей еще не является верхом агрессивности. На смену ей может прийти куда более продуманная стратегия провокации. Ло-

зунг "они все скушают" активно воплощается, к примеру, Владимиром Жириновским, который грозит превратить третирование Запада в дежурное блюдо для травмированного российского обывателя.

Глава созданного по его настоянию в Думе Комитета по геополитике (это произошло после победы его партии на выборах в декабре 1993 г.), Жириновский мало обогатил националистическую теорию. Ведь геополитика была обязательной дисциплиной во всех высших учебных заведениях фашистской Германии. Именно геополитика с 1934 по 1945 гг. вытесняет из учебных программ политическую экономию, географию, историю, право и т. д.; она объявляется в 1935 г. "одним из основных источников национал-социалистического воспитания".

Но если геополитические теории Жириновского с соответствующими изменениями заимствованы из арсенала национал-социализма, то его поведение в качестве политика отличается существенными новациями и местами кажется просто беспрецедентным.

В начале этого года я совершенно случайно оказался свидетелем того, до какой степени он и в частной жизни способен довести пренебрежение образом политика. Это было в центре Москвы, на открытии нового ночного клуба. Вечер был задуман как воспоминание о 1969 годе, который является перевернутым образом нового, 1996 года, и пришелся на православное Рождество. Но ностальгического настроения, которое устроители стремились создать — показывая, в частности, фрагменты фильма "Брильянтовая рука", выпущенного на экраны в 1969 году, и предлагая бутерброды и напитки по ценам того времени, т. е. практически даром — не возникло. Основное внимание оттягивал на себя В. Жириновский, появившийся в клубе со свитой из депутатов от ЛДПР и охраны. Сначала он просто реагировал на реплики конферансье, напоминая собравшимся, какой хорошей и дешевой была жизнь в СССР в 1969 году ("Такси в любой конец Москвы — не дороже 5 рублей! Самая красивая женщина за 10 рублей и т. д."), а потом перешел к более решительным действиям. Когда на блюде под названием "Горячая дичь по-японски"(!!!) в зал внесли полуобнаженную женщину, обложенную фруктами, овощами, икрой и иной снедью (в этом зрелище было что-то одновременно купеческое и сюрреалистическое), лидер ЛДПР устремился к блюду и, сделав бутерброд с икрой, стал кормить женщину. Когда же она сошла с блюда, Владимир Вольфович

танцевал с ней под одобрительные возгласы своих коллег по партии. (В качестве служебной собаки за внимание публики с Жириновским конкурировал известный московский художник Олег Кулик, который изредка бросался на гостей клуба или же облизывал женщину на блюде сквозь намордник).

Надо сказать, что отношение Жириновского к своему имиджу было продуманным и вызывающе негативным (между тем, за месяц до этого его партия была второй на думских выборах, обойдя правительственную коалицию "Наш дом Россия"). Он прекрасно знал, что в зале присутствует телевидение и несколько корреспондентов и, надвигаясь на объектив с полуголой партнершей, специально делал "страшное лицо" и демонстративно хохотал. При этом он привлекал к себе так много внимания и, казалось, занимал так много места, что присутствующие, среди которых были банкиры, политики, артисты и журналисты, чувствовали себя сковано. Около часу ночи я вдруг глубоко и с облегчением вздохнул и, еще не видя, что Жириновский со свитой удалился, догадался об этом по чувству легкости, которую испытали я и мои друзья.

Негативный образ, создаваемый Жириновским, миллионами нищающих россиян, как известно, воспринимается позитивно, в том числе как форма протеста против коррупции и лицемерия чиновников и так называемых "новых русских". Этот политик завоевывает симпатии электората тем, что демонстрирует откровенно циничный, непредсказуемый, смыкающийся с криминальным дискурс, щедро сдобренный националистической риторикой, в противовес стыдливо-криминальному дискурсу значительной части официоза. Для многих отчаявшихся сограждан нет ничего хуже официальной лжи — даже неприкрытый цинизм, не говоря уж о неокоммунистической риторике, отрадно контрастирует с ней. В глазах рядовых граждан сладкоголосые, холеные господа, стабилизирующие рубль за счет невыплаты зарплаты, более циничны, чем самый последний циник и демагог.

Из виденного мною за последние месяцы по московскому телевидению меня больше всего поразили две программы, отражающие пропасть, которая отделяет в нашей стране самых богатых от самых бедных. Во-первых, это был странный сюжет о московском ночном клубе "Up and Down". Прежде я слышал о нем только в связи с тем, что Чиччолина исполнила там за сказочное вознаграждение стриптиз, после

чего сфотографировалась с вездесущим Жириновским. И вот уже телевидение приподнимает завесу над жизнью завсегдатаев клуба. Сначала показали автомобили с пуленепробиваемыми стеклами, медленно подъезжающие к клубу; пока люди в форме ОМОН'а проверяли документы, голос за кадром невозмутимо сообщал, что они вооружены лазерными винтовками. "Вечером, — продолжал комментатор, — огневая мощь клуба усиливается за счет личной охраны клиентов и гостей клуба". Появившийся на экране метрдотель заявил, что средний, без особых изысков ужин в его клубе на двоих стоит не менее двух тысяч долларов. Его сменила официантка: "Недавно один из постоянных клиентов справлял у нас день рождения, который обошелся ему в двадцать тысяч долларов, и это далеко не предел". Камера, бегло скользнув по столикам, остановилась на блюде, приготовленном, как уверяли нас, из семенников быка, обложенных листьями салата. Его цена также была астрономической. Затем последовал рассказ о девушке, которой посчастливилось заполучить клиента, заплатившего за ночь пять тысяч долларов, и прочие "чудеса" в таком же роде.

Назвать это рекламой не поворачивается язык: упоминавшийся порядок цен отпугнет посетителя даже со средним достатком. Зачем показываются такие глубоко приватные вещи по общественному телевидению и что хотят сказать таким образом тем, чьей годовой зарплаты, даже если бы ее выплачивали регулярно, не хватило бы на один ужин в клубе "Up and Down"?

А, может быть, такие передачи нужны для того, чтобы лишить среднего гражданина последней надежды на правовое разрешение ситуации. "Мы есть, — как бы хочет сказать заказчик, — мы защищены сверхсовременным оружием, и ничто не помешает нам проводить время так, как мы хотим". Отдых здесь становится метафорой соперничества — кто больше даст, кто унизит другого еще большей расточительностью, – он еще не имеет собственной формы: последняя наивно заимствуется "новыми русскими" из сферы "бизнеса" и лучше всего говорит о характере этого бизнеса.

Второй поразивший меня сюжет — тела умерших от дистрофии матросов Тихоокеанского флота на Русском острове и рассказ одного из таких "доходяг" о судьбе его только что умершего товарища: "Когда его призывали, он весил 70 кг., а перед смертью его вес ровнялся 42 кг.". (Восстание на броненосце "Потемкин" началось из-за того, что

матросов хотели накормить червивым мясом. А видят ли вообще мясо нынешние призывники, которых сводят в могилу воровство и "дедовщина"?)

Посмотрев эти два сюжета, начинаешь понимать, почему приход к власти любой не связанной с режимом силы внушает государственным чиновникам и разбогатевшим не без их помощи частным лицам такой нескрываемый ужас, почему они дружно грозят на следующий же день собрать чемоданы и покинуть страну. Многим хотелось бы думать, что, пройдя период первоначального накопления, эти люди остепенятся и станут похожими на обычных буржуа. Но это маловероятно.

Наиболее перспективной профессией в России ближайшего будущего, если ситуация стабилизируется, представляется не профессия юриста или финансиста, которые так популярны в среде нынешней молодежи, а профессия психиатра и психоаналитика. России в скором времени может понадобиться целая армия таких людей. Но это — если ситуация стабилизируется, а пока...

Платье без короля
(август 1996 г.)

В период борьбы за президентское кресло в России накопилось множество проблем: практически неизбежный во время предвыборной гонки популизм заставлял обещать то, чего в данный момент нельзя исполнить. Короче, казна за последние несколько месяцев заметно опустела.

Хотя, видимо, исток победы Ельцина следует искать не в его предвыборных обещаниях, в которые мало кто верил, а в атмосфере медиального террора, с большими финансовыми затратами созданной средствами массовой информации, прежде всего электронными. В результате люди голосовали не за лучшее, а скорее из страха худшего — оправданного только, если принять навязанную альтернативу между "новым"(Ельцин) и "старым"(Зюганов).

Успех многочисленной пропрезидентской команды и заключался в поддержании этой бинарной оппозиции во всей ее чистоте, в недопущении в нее других, "посторонних" оттенков. Причем главным было даже не избрание конкретного лица, а наглядная демонстрация того, что бессознательное русского народа, в прошлом известное своей необузданностью и непредсказуемостью, теперь программируемо с помощью изображений, и в этом смысле необратимо современно.

О том, в какую сумму обошелся России этот эксперимент, можно только догадываться.

Культура, и раньше бывшая падчерицей власти, проиграла не только в финансовом отношении — продолжился, достигнув гигантских масштабов, процесс осознания властью самой себя как основного эстетического феномена, интериоризация ею функций искусства в себе как некого *Gesamtkunstwerk*. Причем эта внутренняя эстетизация проходит на фоне все более и более открыто провозглашаемого обнищания государства, так что если бы судьба культуры находилась в его исключительном ведении, она была бы более чем печальной.

К счастью, это не совсем так: существует известное число иност-

ранных и местных частных фондов и программ, которые финансируют книгоиздательство, проекты, связанные с современным искусством, гуманитарными науками, литературой и т. д. Я имею в виду фонд Сороса, программу Пушкин (финансируемую МИД Франции), Институт имени Гете, частные банки и фирмы как на Западе, так и в России. При этом западными экспертами высказывается недоумение, почему страна, у которой хватает денег на ведение широкомасштабной и крайне непопулярной войны в Чечне, страна, из которой частные лица ежегодно тайно вывозят многие миллиарды долларов, не может пустить даже незначительную часть этих средств на воспроизводство собственной культуры. В ответ чиновники бормочут нечто невразумительное и в очередной раз дают невыполнимые обещания.

Тем не менее книги выходят, конференции устраиваются, в Москву приезжают с лекциями социологи, философы, историки, теоретики искусства. Культурная жизнь не только не замерла, но в некоторых аспектах даже интенсифицировалась. Например, сокращается образовавшееся более чем за полвека отставание в переводах на русский язык ключевых текстов западной культуры: читатель впервые держит в руках книги Зиммеля, М. Вебера, Кассирера, Беньямина, Ясперса, Хайдеггера, Гуссерля, Делеза, Деррида, Хабермаса и многих-многих других авторов.

В результате местная гуманитарная культура интернационализуется, несмотря на сетования возмущенных националистов, многие из которых в советский период были монополистами в тех областях культуры, где сейчас возникает довольно жесткая конкуренция.

Русская религиозная философия, еще пятнадцать лет назад находившаяся под строгим запретом, теперь доступна в сотнях разных изданий, равно как и плоды работы, проделанной несколькими поколениями русской эмиграции.

В результате изменившейся ситуации студенты и другие читатели впервые за многие десятилетия получили возможность сравнивать и выбирать. И хотя их материальное положение скорее ухудшилось, что делает ситуацию выбора во многом виртуальной, выбор, тем не менее, существует. Культурные предпочтения нынешних носителей власти воспринимаются как их приватные склонности даже тогда, когда они делают их достоянием публичности. К счастью, у них уже нет средств навязывать эти представления другим. В этом плане истощение ре-

сурсов власти является фактором свободы. Стоит представить *эту власть* процветающей и богатой, как станет неизбежной ее очередная попытка распространить свои еще пока неразвитые культурные предпочтения на всех, сделать их всеобщими, что сейчас удается ей только в исключительных случаях. Парадоксальным образом мы вынуждены благословлять ее нынешнюю бедность как залог большего плюрализма в будущем, с приходом к власти политиков нового поколения.

Впрочем, даже сейчас предпринимаются попытки создать единую национальную идеологию. Недавно Президент — вопреки Конституции, объявляющей Россию плюралистическим государством — издал указ о создании в течение одного года общероссийской идеологии, а его вступление в должность на новый срок сопровождалось введением новых символов (особой президентской медали, президентского штандарта и президентской Конституции). В результате возрастет как сакральность, так и анархичность института президентства: будучи частью Конституции, он присваивает себе функции целого, делая его своим атрибутом.

Ситуации манипуляции с тождеством, с которыми мы все чаще сталкиваемся в России, хорошо проанализированы в работах Деррида: нечто, принадлежащее по определению всем, временно изымается, чтобы потом быть возвращенным как *то же самое*, но уже в виде дара. В результате право приобретает черты своеволия, поддающиеся присвоению и манипуляции. Так, право выбирать президента записано в Конституции и закреплено за гражданином России формально; вдруг какой-то чиновник, например, начальник президентской охраны требует это право ограничить, – и Президент своей волей возвращает его нам. Казалось бы, ничего не изменилось, но на самом деле то, что было чисто формальным правом, принадлежащим всем по определению, стало атрибутом доброй воли президента (тем самым нам недвусмысленно дают понять, что, если бы его воля была злой, право не могло бы быть реализовано вообще). Так формальные принципы незаметно превращаются в подарки, а граждане — в облагодетельствованных субъектов. Если нынешние власти виртуозно овладели техникой превращения права в дар, то это стало возможным по причине пока еще неразвитой правовой культуры народа, т. е. каждого из нас.

На фоне возрастающей плюрализации культуры некоторым архаизмом отдает альянс высших представителей власти с известными уже

в советский период деятелями культуры (художник Глазунов, скульптор Церетели, певец Кобзон и другие). Эти предпочтения носят все более приватный характер и свидетельствуют о том, что власть продолжает поддерживать культурный образ самой себя, совершенно не совпадающий с теми процессами "дикого капитализма", которые она развязала в обществе. Если эти процессы обладают собственным языком, приходится констатировать, что те, чьими усилиями они возникли и поддерживаются в экономической сфере, ничего не желают об этом языке знать. И тут им на помощь приходит слащавый культур-национализм,все более становящийся визитной карточкой политической элиты в области культуры.

Во всяком случае не будет преувеличением сказать, что современное искусство в западном смысле слова практически не пользуется поддержкой государства, провозглашающего себя демократическим. Недавно в этом смогли на своем опыте убедиться берлинские художники Х. Дельбрюгге и Р. де Моль, проведшие в Москве несколько месяцев в качестве *artists in residence* и озаглавившие свой проект "Substitut für Zeitgenössische Kunst Moskau"("Субститут современного искусства, Москва"). В результате своеобразной инспекции московских институтов современного искусства они отметили их виртуальный, по сути неинституциональный характер. Они существуют "благодаря названию, отдельным лицам и их коммуникативной активности" и поэтому заслуживают названия не институтов, а того, что их замещает: субститутов. В отличие от безличности и формального характера институтов, открытых публичности, субституты аморфны в формальном отношении и в высшей степени персонифицированы (одна из их основных функций — обеспечивать их основателей средствами существования и влияния). Но приватизированы они специфическим образом: механизмы приватизации остаются тщательно скрываемой тайной. Немецких художников удивило то, что в Москве институты современного искусства существуют вдали от света публичности, в заброшенных зданиях, мастерских и даже бункерах.

С местной точки зрения в этом нет ничего необычного: ведь пока продукты современного искусства, авангардной литературы и музыки потребляются в основном их производителями и узким кругом ценителей. Так что сами себя они прокормить не могут, а государство субсидирует их в мизерном размере. Остаются уже упоминавшиеся фон-

ды, гранты и частные контакты с западными институтами, спонсорами и коллекционерами.

В качестве модуля, парадигмы нынешней художественной ситуации в Москве Дельбрюгге и де Моль использовали уменьшенный макет мастерской известного художника Ильи Кабакова, в которой размещается ICA, Institute of Contemporary Art, Moscow. Лишив этот модуль окон, они превратили его в метафору герметичности современного искусства, его замкнутости на себя и привязанности к узкому кругу лишь по-видимости публичных, а по сути законспирированных собственных имен. И это, видимо, хорошо отражает механизм приватизации в России в целом.

Руководители московских "субститутов" стремятся получить институциональный статус прежде всего в глазах Запада. У себя же дома эти учреждения функционируют либо как клубы (места неформального общения), либо являются придатками политического *image-making*'а. Поэтому неслучайно, у многих художников — и не только художников — возникает ностальгия по временам, когда авангардное искусство репрессировалось не банальными экономическими, а политическими методами, обеспечивая его представителям ореол мученичества и известность практически независимо от качества самих работ. Теперь же это всего лишь одна из рубрик в бесконечном списке товаров, которые не находят спроса на внутреннем рынке.

Логика ситуации ясна: не общество органически взращивает современную культуру в своих недрах, а сама эта культура производится узким кругом энтузиастов в расчете на то, что в будущем общество станет потреблять ее в достаточных количествах. Она является не продуктом уже сформировавшейся потребности, но упованием на то, что такая потребность возникнет в не слишком отдаленном будущем (допущение, являющееся спекулятивным, т. е. предполагающее определенный гипотетический сценарий развития общества).

Однако было бы упрощением представлять дело так, что единственным вместилищем реальности является Запад, а уделом России остаются чистые мнимости. Это отбросило бы нас к популярной 19 веке точке зрения, классически выраженной де Кюстином. "Россия — империя каталогов: если пробежать глазами одни заголовки — все покажется прекрасным. Но берегитесь заглянуть дальше названий глав. Откройте книгу — и вы убедитесь, что в ней ничего нет: правда, все главы обозна-

чены, но их еще нужно написать". Или: "У русских есть лишь названия всего, но ничего нет в действительности. Россия — страна фасадов".

Стоит держаться подальше от эффектных банальностей такого рода. Надо приучить себя видеть в субститутах не пустоту, которую предстоит заполнить, а ту единственную *позитивную* форму, в которой здесь и теперь могут существовать институты. Более того, в менее прямом смысле "субститутность" присуща любому институциональному образованию, как бы близко оно не соприкасалось с публичностью. Институт представляет собой более или менее удачную интериоризацию субститута. Просто в России эта интериоризация до настоящего момента не состоялась.

За последние годы миллионы россиян побывали на Западе, и это изменило их отношение к капитализму. Если сразу после падения Железного Занавеса, символом которого была берлинская Стена, капитализм многим рисовался в качестве идеала, который во многом напоминал коммунизм и представлялся чем-то быстро достижимым, теперь ситуация изменилась. Во-первых, стало ясно, что Россия культурно не готова к быстрой капитализации. Во-вторых, сам этот процесс не только разрешает, но и создает проблемы: так, обществу изобилия (для большинства россиян это еще только греза) предшествует массированная криминализация и анархия, последствия которых уже ощущает на себе огромное большинство населения.

В самый разгар президентской компании и чеченской войны в Москве побывал Жан Бодрийяр. Главная мысль, которую он хотел донести до слушателей его лекции "Город и насилие", прочитанной в МГУ, сводилась к тому, что либеральная модель капитализма с "невидимой рукой"(Адам Смит), простертой над конкурирующими субъектами рынка, есть в лучшем случае мечта, которой мало что соответствует на современном Западе. Между тем, именно ее предлагают как готовый, прошедший испытания в западных условиях, продукт, который достаточно пересадить в новую почву. Если верить Бодрийяру, Восточной Европе предлагают "платье голого короля". При этом жителям этого региона важно не столько увидеть наготу короля (король не существует, его нельзя увидеть), сколько пристальнее вглядеться в само платье без короля: отсутствие короля только подчеркивает торжественность линий его платья. Надеть же его не можем не только мы, но и те, кто нам его предлагает.

Дзенский старик
(октябрь 1996 г)

В свое время Вальтер Беньямин в "Московском дневнике" определил революционную власть как такую, которая не может быть обменена на деньги. Впрочем, не только им социализм связывался с принципиальным отсутствием денежного эквивалента власти — такова же была официальная идеологическая доктрина, господствовавшая в СССР.

События последнего года — и особенно президентские выборы — показали, что деньги стали решающим фактором в политической борьбе; они покупают власть с почти математической неизбежностью. Возможно даже, что ныне в России власть является функцией от вложенных в нее денег в большей мере, чем в какой-либо другой европейской стране. Подлинно частных, независимых от государства денег в стране оказалось очень мало: доступ к ним пока еще прочно контролируется государством (прежде всего президентской вертикалью), которое может со своей стороны в случае нужды мобилизовать финансовые ресурсы своих клиентов, полуприватизованный капитал.

Эта новая форма централизации далеко не безопасна. Россия напоминает корабль, из которого по приказу капитана можно слить весь балласт, тем самым лишив его устойчивости. В западных демократиях, где гражданское общество выделяет из себя спектр политических партий как способ адаптации к меняющимся условиям существования, балласт практически несливаем. Анархической постсоветскую демократию делает практическое отсутствие молчаливого внутреннего консенсуса по поводу того, какие ресурсы считать в принципе неотчуждаемыми. Предметом борьбы становится даже физическое выживание значительных слоев общества, их право на жизнь. Поэтому едва ли стоит удивляться тому, что отчаяние охватывает не только травмированных ветеранов войн, — афганской и чеченской, — но и рядовых граждан, неуверенных в своем завтрашнем дне.

Многим критически настроенным наблюдателям, тому же Владимиру Набокову, СССР представлялся страной широкоплечих роботов,

стройными рядами идущих к намеченной Партией цели, политическим монолитом, который крайне трудно расколоть. Во всяком случае мало кто верил, что он даст трещину в обозримом будущем (которое люди инстинктивно связывают с пределами собственной жизни).

И вот монолит треснул и раскололся на множество фрагментов. Это случилось по причинам, которые не имели ничего общего с сознательным и осмысленным сопротивлением граждан. Просто сама его кажущая несокрушимость была свидетельством его хрупкости: к тому же он был таким дорогостоящим, что ресурсы, нужные для его поддержания, быстро истощились.

Образовавшиеся на его месте географические и политические фрагменты, в том числе самый большой из них, Россия, также не застрахованы от дальнейшего распада. Многих это пугает: ведь россияне привыкли веками жить в очень обширной империи (тот же Беньямин вспоминает крестьян на одном из московских вокзалов, с гордостью разглядывавших карту своей огромной страны, на западе от которой видны "невротические островки" европейских государств), чьи границы изменялись в основном в сторону расширения. Чеченская война многими трактовалась как отчаянная попытка противостоять распаду, впрочем, имевшая противоположный результат: "чеченский синдром".

Земля пока еще не понята большинством россиян как профанный экономический ресурс, который может быть хотя бы временно обменен на другие, более нужные в данный момент обществу ресурсы. Это не значит, что приватизация этого имперского ресурса фактически не идет полным ходом. Но, во-первых, она имеет место под бдительным оком государства, а во-вторых, осуществляется в пользу очень немногих банков, акционерных обществ и т. д. Интерес этих институтов и стоящих за ними лиц будет конспиративным и глубоко извращенным до тех пор, пока аналогичное право не будет признано за всеми гражданами. Понятно, что не каждый сможет воспользоваться этим формальным правом, но само его наличие было бы огромным шагом вперед.

Осуществляемая же пока "полуприватизация" за неимением безличных гарантий закона нуждается в безусловных личных гарантиях высших должностных лиц. Сквозь фигуру практически любого собственника в России еще проглядывает профиль Президента, стиль

правления которого — причем, не только по его воле ("тирания, — проницательно заметил маркиз де Кюстин, — это создание повинующегося ей народа") — становится все более "царским". Его личность занимает место отсутствующего закона и, кстати, делает последний невозможным. Такая власть вынуждена, отчасти искусственно, в целях олигархического самосохранения, культивировать в народе архаические черты "народа земли".

Но дело не просто в манипуляциях властей. Вековая имперская традиция отождествления с территорией, с ее сохранением любой ценой также способствует тому, что земельные и минеральные ресурсы оказались *de facto* втайне приватизованы узким кругом хищнически настроенных индивидов, в очередной раз прикрывающих свои действия "народнической" риторикой. Накопленное ими богатство скрывается за анонимностью институтов, не связываясь прямо ни с каким именем собственным. Такая тактика дает возможность "народам земли" продолжать тешить себя надеждой, что они еще принадлежат ей, так как обратное никем не декларируется явно. По мнению многих, формальное признание сложившегося положения дел возмутило бы народ больше, чем существующая ситуация, прямо вытекающая из недавнего конспиративного правления КПСС. С нелегальностью по привычке легче смиряются, даже догадываясь о том, что за ней скрывается. И именно эта привычка делает ситуацию немыслимой и пока необратимой.

Плохим политиком в России продолжает оставаться тот, кто артикулирует свои мысли в виде программы. В разных ситуациях говорятся совершенно разные вещи, и упрек в логической непоследовательности еще никому из русских политиков серьезно не повредил, а также не излечил упрекающих от их собственной непоследовательности, которая является условием политической деятельности, а не признаком ее несовершенства. Ведь в России неопределенна не только речь политиков, но и государственные границы, общественное мнение, завтрашний день. Разве неопределенность не является стихией, в которой плавает то, что существует при условии собственной непостижимости?

Философ, чьей профессией является мышление из определенных оснований, в этой ситуации обречен оставаться маргиналом.

Инстинкт удержания, страх перед даже временным обменом зем-

ли на другие, более нужные в данный момент ресурсы, объясняется не только исторически. Политики в своих интересах раздувают эти страхи. Многие из них прямо заинтересованы в том, чтобы представлять народ более архаическим, чем он есть на самом деле, чтобы блистать на его фоне собственной прозорливостью ("мы, мол, рады бы изменить ситуацию, но электорат против" — говорят иностранцам) и представлять сомнительные сделки в качестве чуть ли не исторической необходимости.

Короче, прошли коммунистические времена "прекрасной безответственности" — теперь за каждый выбор народу приходится очень дорого платить. Чтобы снизить эту цену, каждый должен приватизировать самого себя, выработать хоть какое-то понятие личного интереса, того, что хочет именно он. Но это длительный процесс, он займет не один день.

Недавно со мной произошел случай, при всей своей единичности бросающий свет на общую ситуацию в нынешней Москве и России.Я буквально на минуту остановился у метро "Павелецкая" и ждал, пока жена покупала пачку сигарет. Я стоял в нескольких метрах от ларька. Вдруг пожилой, плохо одетый человек, — таких бедствующих стариков в городе очень много, — в сумерках, не заметив ступеньку, споткнулся и упал на асфальт. Падая, он резким судорожным движением ударил меня своей палкой по лодыжке ниже колена. Сделал он это, естественно, ненамеренно, из-за потери равновесия. На землю полетели его очки, его падение было, думаю, более травматичным, чем полученный мной удар.

Вспоминая об этом эпизоде некоторое время спустя, я подумал, что логика этого эпизода — летящий на тротуар старик, как бы цепляясь за воздух, непроизвольно ударяет палкой случайного прохожего, — в чем-то походит на ситуацию, в которой мы все сейчас находимся. Бессмысленны все попытки увидеть в ней чей-то злой умысел, а тем более поставить ее кому-то в вину: падающий инстинктивно стремится смягчить удар и не его вина, что рядом оказался случайный человек. Полученный мной удар палкой можно сравнить с ударом посохом, которым дзенский учитель напоминает ученику, что данный им ответ на вопрос еще заражен смыслом, которого в вопросе нет.

Русские интеллектуалы в известном смысле остаются учениками имперского большинства. Оно лучше, более органично сращено с си-

туацией, специфика которой испаряется, когда ее пытаются осмыслить. Именно в состоянии распада имперского государства подсобная роль интеллигенции становится особенно очевидной — она выступает на сцену во всей своей бутафорской ненужности. Интеллигенция нуждается в ударе посохом как напоминании о том, что ситуация не непонята тем или другим из ее представителей (не хватило-мол ума, способностей и т. д.), но в принципе непостижима.

Конечно, в том, что масса наших сограждан пока отказывается действовать рационально, есть своя рациональность. Но кто сказал, что она доступна "пониманию" именно интеллигента, а не какого-нибудь удачливого психотика, который, будучи не в силах вылечить самого себя, осуществляет широкомасштабную терапию своего электората? Как в старину юродивый на Руси считался проводником божественной воли (пусть психиатр был бы на этот счет другого мнения), так и сейчас терапевтическую функцию выполняют люди психотического склада.

Это связано с тем, что сознание большой массы людей находится в конфликте с ее бессознательным. Хотя, на первый взгляд, масса стремится достичь степени материального благополучия, сравнимого с европейским, — во всяком случае, это декларируется — на более глубоком уровне она сохраняет (или позволяет себе навязать) ряд архаических черт в отношении к территории, к государству, к Президенту. И за все это, повторяю, теперь надо очень дорого платить — ведь "отеческая функция" разыгрывается властью во все более приватных целях.

Иногда достигший огромных размеров вакуум между властью и массой простых людей проявляется довольно гротескно. Так, несколько недель тому назад на Красной площади состоялся международный фестиваль цирков, и для этого было воздвигнуто множество дорогостоящих павильонов, символизировавших Египет, Грецию, Венецию, Русь и т. д. На фестиваль съехались артисты со всего мира. Было зачитано послание Президента к участникам фестиваля, кончавшееся словами: "Парад алле. Борис Ельцин". Наблюдая трансляцию этого события по телевидению, многие из месяцами не получающих заплату россиян (долг государства составляет уже десятки триллионов рублей и стремительно растет) не могли не спрашивать себя, почему бюджетные деньги должны расходоваться столь экстравагантным образом.

Пожалуй, это сочетание экстравагантности на одном полюсе и безысходности на другом составляет специфику настоящего момента в

России. В силу исторической неопытности в делах обрушившейся на них демократии низы не в меньшей степени участвуют в создании этой поляризации, чем сами власти предержащие. Они, например, слишком легко позволили навязать себе — как якобы единственно возможную — дилемму между демократом-президентом и коммунистическим ГУЛАГ'ом, проигнорировав ряд находящихся между ними возможностей, в том числе тех, которые предлагались демократической оппозицией.

Любопытно, что после выборов считавшиеся непримиримыми противники стали стремительно сближаться, и теперь по многим вопросам их позиции почти совпали. *Post factum* все кажется разыгранным по единому сценарию, единственными непрогнозируемыми элементами которого оказались непринятый во власть Григорий Явлинский ("Яблоко") и отторгнутый ею генерал Лебедь. В бессознательном рядового избирателя запечатлелось, впрочем, только недавнее изгнание Лебедя, которое обещает стать началом крупной политической карьеры.

Интеллигенция, как и другие слои населения, вышла из выборов изрядно потрепанной — давно ее державные инстинкты не эксплуатировались так жестко и со столь трагикомическим, почти фарсовым исходом. Средства массовой информации, провозгласившие, что они временно отрекаются от плюрализма ради недопущения нового ГУЛАГ'а в случае победы коммунистов, срослись с властью — прежде всего на финансовом уровне — настолько, что уже не могут возвратиться в прежнее состояние относительной свободы. Кроме того, они дезориентированы братанием президентской команды с коммунистами даже больше, чем сами эти силы, все более замыкающиеся на себя и на свои корпоративные интересы.

При этом зияющая на месте гражданского общества дыра — такая глубокая, что быстро заполнить ее невозможно даже при наилучшем стечении обстоятельств— осознается со все большей очевидностью как часть местной российской ситуации, а не как нечто, навязанное внешними силами.

Учительский посох анонимного старика, который через мгновение сам ударился об асфальт, напомнил мне о том, что основной удар приходится все-таки не на меня, его ученика, а на него самого. Жест падающего старика — это не агрессия, а тем более не намеренная бру-

тальность: ведь страдает прежде всего он сам. На мою же долю выпадает попытка понимания и со-страдания.

Часа через полтора на ноге у меня вздулась большая шишка, но боли, как это ни странно, почти не было. По сравнению по страданиями старика, которого увезли в больницу, мое страдание было скорее умозрительным.

Немая граница
(январь 1997 г)

Невостребованность в современной России зачастую принимает любопытную форму; целые слои людей фактически не могут проявляться профессионально, не утрачивая вместе с тем внешних атрибутов своей профессии. Они продолжают называться летчиками, хотя уже давно не летают (не хватает керосина), художниками, хотя уже не рисуют (не на что купить краски)... Многие институты затрачивают все отпускаемые им средства на самовоспроизводство, к которому и сводится вся их социальная значимость. Есть театры, где почти нет зрителей, издательства, которые не печатают книги, потому что им не по карману платить типографиям. И хотя этот дефицит востребованности — и, стало быть, воспризнанности — представляется явлением почти всеобщим, сами невостребованные постоянно стремятся установить между собой некое подобие иерархии, определить критерии успеха в новой ситуации, поделиться на более или менее удачливых.

Но проблема в том, что в нынешней России успех не проходит через сито воспризнания, его условием является скорее анонимность, поэтому выработать его общезначимые критерии нельзя. А из-за триумфа иллегализма в основных сферах постсоветской, в том числе и московской, жизни сам поиск открыто формулируемых принципов успеха рисуется симптомом уже состоявшегося поражения.

Россия еще не открылась, а всего лишь приоткрылась внешнему миру. Поэтому она еще нуждается в образах врага. Если внутренний враг крайне неоднороден и его образ постоянно распыляется (это и "лица кавказской национальности", и "новые русские", и "масоны"), то необходимость во внешнем враге ощущается особенно остро. Но его невозможно создать, потому что на официальном уровне потенциальный враг (тот же Запад) зачастую оказывается кредитором, а на неофициальном — хранилищем частных капиталов, многие из которых попали в западные страны нелегально. А враждовать с теми, в кого вы так много, хотя и тайно, инвестировали, как известно, неумно. Из-

за этого и внешний враг оказывается максимально бесплотным. Это не какое-то государство, а военный союз, НАТО, который в духе все той же амбивалентности объявляется одновременно стратегическим партнером и угрозой национальной безопасности. Это как бы парадоксальный друг-враг, с которым можно вести переговоры, превращая символическую ценность — национальную безопасность — в знаковую. Другими словами, оказывается, что нет такой ценности, на которой в принципе нельзя было бы заработать или которую по меньшей мере нельзя было бы выставить на продажу даже без желания ее реально продать. Объявляя ценность символической, часто стремятся лишь увеличить сумму сделки. Получается мир, лишенный каких-либо устойчивых необмениваемых ценностей и в этом смысле противоположный СССР, объявлявшему свои основные ценности необмениваемыми и "вечными". Таким образом, пока единственным "работающим" образом врага оказывается его экспортный вариант, играющий на страхах внешнего мира по отношению к России. Западные средства массовой информации буквально начинены сведениями о том, что происходит на никем не контролируемых просторах России, в том числе в обыденной жизни. При этом у миллионов читателей создается обоснованное впечатление высокой степени анархии, царящей в непонятной, огромной, нашпигованной ядерным оружием стране. Это делает возможной парадоксальную ситуацию, при которой в качестве образа врага экспортируется сама Россия, ее, так сказать, неофициальный образ. Если советский режим импортировал очень сильный образ врага и экспортировал столь же сильный образ друга, то теперь на официальном уровне импортируется крайне размытый образ врага, с которым по всем вопросам в любой момент можно договориться, а неофициально (частными лицами: художниками, писателями, журналистами) экспортируется образ врага, с которым нельзя договориться по той причине, что он себя не контролирует, будучи как бы невменяемым, непредсказуемым.

Не случайно этот последний образ принимает животную форму и проявляет признаки агрессивности. Но это уже не агрессивность существа, преисполненного сознания собственной праведности (как это было в эпоху существования СССР), а все тот же двусмысленный жест, превращающий агрессивность в шоу, в зрелище, в спектакль. По сути, демонстрация этого парадоксального образа врага-самого-себя-и-все-

го-мира есть приглашение западному зрителю самому убедиться в том, что газетный "черный юмор" в отношении России реален и может воплотиться в конкретное тело (прежде всего тело художника), которое ищет в метафоре животности признание своей человечности, право на вход в культуру.

"Я люблю Европу, а она меня нет" — так называлась акция московского художника Олега Кулика, устроенная им в Берлине в сентябре 1996 года. Художник стоял в центре площади, рядом со знаменем объединенной Европы, на котором были изображены двенадцать — по числу стран-участниц — звезд. Вокруг него располагались двенадцать берлинских полицейских со сторожевыми собаками в намордниках. Обнаженный, на четвереньках, Кулик двигался все более широкими кругами, пытаясь спровоцировать собак на агрессию. Это ему удалось: полицейские удерживали их с трудом, и в конце акции на черепе художника были видны следы от когтей. Видимо, акция должна была демонстрировать ту логику ситуации, какой она видится с московской стороны: "Мы являемся частью риторической Европы, но Европа реальная не спешит включить нас в себя, во всяком случае, делает это с большой неохотой".

Похожую акцию тот же Кулик проделал перед зданием Совета Европы в Страсбурге. А совсем недавно, в апреле 1997 года, он был ввезен в клетке в Нью-Йорк и выставлен в галерее Джеффри Дейча — опять-таки в виде собаки.

Да, географическая Европа не совпадает с Европой фактической — в том виде, в каком она запечатлена в бессознательном многих европейцев. Если центром первой является Варшава, а Россия занимает большую ее часть, то центром другой является Страсбург, и Россия остается за ее пределами.

Некоторые старые сторонники идеи европейского единства по крайней мере были откровенны и писали именно то, что думали. Так, считая Европу единым в цивилизационном отношении пространством, маркиз де Кюстин еще в первой половине XIX века проводил границу этой Европы по Висле, исключая из нее Россию. И там же, по Висле, нынешняя Европа хочет организовать свою военную границу. Но если де Кюстин и не скрывал, что географическая Европа не имеет ничего общего с культурной, то нынешние сторонники европейского единства на уровне политически корректной дипломатической речи

этого не признают: здесь доминирует риторика единой "Европы до Урала". Но военные спонтанно и без указания действительных причин проводят границу в другом месте. И в этом плане культурное, стратегическое бессознательное де Кюстина не потеряло своей актуальности до сих пор. Две Европы, географическую и реальную, пока разделяет невидимая и прочная немая граница — просто за прошедшие полтора века политики научились не говорить о ней прямо (отторгая ее в область здравого смысла, который всегда прав потому, что никогда не знает собственных оснований).

И эту скрытую, внешнюю ей Европу Россия продолжает сладострастно культивировать внутри себя, также проводя риторическую границу в одном месте, а реальную — в другом.

При этом правила политической корректности усвоили обе стороны, так что на поверхности все выглядит весьма приглаженно, но именно этой политической приглаженности, вероятно, и стоит опасаться.

Если внутренние границы Европы благодаря Шенгенскому соглашению стали прозрачными, то ничего похожего нельзя сказать о внешних границах, напряжение на которых даже возросло, — и нет уверенности, что эти два процесса не связаны между собой и что Европа не собирается объединяться за счет России и некоторых других европейских стран. В последнем случае даже самые опытные риторы не смогут убедить миллионы людей, оставшихся за новым Железным Занавесом, в том, что они являются гарантом европейской стабильности и мирового стратегического равновесия. Нет также никакой уверенности, что они согласятся быть европейцами второго сорта и не откажутся от этого наименования в пользу туманного евразийства или какой-то новой разновидности славянофильства.

Но это, конечно же, не значит, что механизмы исключения России из Европы образуются только извне и что сама Россия не делает многое для того, чтобы исключить себя из сообщества цивилизованных народов. И диапазон тут огромен: от обнищания целых слоев населения, которым поездка за границу просто не по карману, до непредсказуемости русской почты, доставляющей письма иногда с опозданием на несколько недель.

А чего стоит та "визовая война", которую развязало российское чиновничество, затрудняя европейцам въезд в Россию, чтобы увели-

чить собственные ряды, но страдают от этого чаще всего самые обычные люди, а не "мафиози", против которых эти меры, якобы, направлены.

Мало кто из жителей Западной Европы знает, какие очереди выстаивает обычный гражданин России для того, чтобы получить визу, например, в Германию, на какое число не всегда понятных вопросов ему надо ответить и как часто результат зависит от случайного стечения обстоятельств. Не стоит тешить себя иллюзией, что это пережитки "холодной войны": многие из этих барьеров были введены или усилены совсем недавно. Так, на оформление визы в Германию более чем на три месяца теперь уходят два-три месяца.

Немая граница не исчезнет по мановению волшебной палочки: Европе еще долго предстоит быть разделенной на "большую" и "малую", географическую и реальную. Граница все чаще принимает форму конкретного бюрократического запрета, барьера, иногда столь мелкого, что его было бы странно обсуждать на высоком политическом уровне. Но значит ли это, что о подобных вещах нужно молчать, делая вид, что они не существуют?

В свое время Мишель Фуко показал, из каких мелких запретов, асимметрий и умолчаний складывается жизнь заключенного, конституируется его тело. Сделав эту речевую обыденность, совокупность незамечаемых деталей предметом анализа, он способствовал не столько их искоренению (все они имеют длительную историю, и искоренить их не так-то просто), сколько признанию их значимости. Благодаря чему стало очевидным, что их не анализировали не в силу, как всегда вежливо пояснялось, незначительности, а, напротив, в силу существенности, которую им бессознательно придавали.

Видимо, настало время создавать дискурс проходящего по Европе водораздела, заставлять немую границу говорить, от чего, думаю, выиграет большинство европейцев по обе стороны внешней границы.

Опасная зона
(август 1997 г.)

Я не стал бы называть это музеем под открытым небом — для этого бывшая военная база советских войск в ГДР, во-первых, слишком велика, а во-вторых, не содержит объектов, как принято выражаться, "музейного уровня".

Сначала мы с женой увидели высокий забор с пущенной поверху колючей проволокой, а потом нашли в нем огромную дыру, через которую попали на засаженное молодыми соснами стрельбище. У нас появилась редкая возможность осмотреть и сфотографировать остатки быта обитателей этого теперь заброшенного военного объекта, символические репрезентативные сооружения, гигантские циклопические постройки военного назначения, лишенные былой "начинки", но все еще дающие представление о масштабах мирового военного противостояния.

Территория базы делится на три зоны: военную, командно-идеологическую, оформленную советскими символами, и частную — с домами, в которых не так давно жили офицеры и прапорщики. Все эти зоны разделены бетонными заборами и сообщаются через проходные, вернее, через то, что осталось от контрольно-пропускных пунктов.

Собственно военная зона поражала своей огромностью. Бетонные бункеры, заросшие мхом блиндажи, огороженные колючей проволокой склады, уходящие под землю шахты и т. д. Надписи в этой зоне были выдержаны в повелительном наклонении и отличались краткостью и деловитостью: "Не приближаться!", "Объезд через 300 метров", "Стоять здесь!". Это пространство можно назвать максимально асимволическим, хотя воинская часть существовала для того, чтобы его обслуживать. От существования подобных пространств зависело глобальное равновесие эпохи сдерживания, основывавшееся на гипотетическом равенстве средств взаимного уничтожения.

Командно-идеологическая зона, напротив, была насыщена всевозможными символами, ставящими целью связать эту воинскую часть с

жизнью страны, дать установки на ближайшее время, напомнить о служебном долге. В самом центре этой зоны располагалось большое панно, изображающее Красную площадь, мавзолей, Исторический музей практически без соблюдения перспективы, как если бы эти здания стояли рядом друг с другом. Перед этим главным символом СССР, как раз на месте поверок и торжественных смотров за несколько лет образовала огромная помойка. А в одном из зданий неподалеку нас встретили символы сухопутных войск, военно-морского флота, военно-воздушных сил. Там же висели лозунги: "Красная Армия — форпост мира", "Крепите боевую мощь нашей Родины!". Обращал на себя внимание стенд с постоянными рубриками: "Форма одежды на завтра", "У нас в женсовете", "Что, где, когда?". К этой же зоне относятся спортивные сооружения с соответствующими эмблемами ("Мастер спорта", "ГТО") и большое стрельбище с ржавыми тележками для поднятия мишеней.

В одноэтажном здании, выкрашенном в яркие цвета, которое мы вначале приняли за детский сад, оказалась сауна. На стене предбанника входящих приветствовал улыбающийся широкоплечий блондин с веником в руке, а рядом две похожие на матрешек бабы кокетливо выглядывали из деревянных бадей. Но самое интересное панно, также выполненное в стиле примитив, мы застали в самой сауне: три обнаженные гурии — с пепельными волосами, блондинка и брюнетка — сидели за круглым столом с самоваром. Одной стеной сауна выходила на официальное, другой — на частное пространство, так что связанное с пребыванием в ней эротическое удовольствие, видимо, носило пограничный характер и свидетельствовало о переплетении частного и идеологического в едином порнографическом лубке. В подобном оформлении сауны воинской части было что-то вызывающее, предвещающее скорый распад некогда грозной системы.

В третьей — частной — зоне стояло несколько трех- и четырехэтажных домов, в которых жили офицеры с семьями. Появившуюся у нас возможность документировать вкусы обитателей этих квартир можно считать уникальной. Обычно частная жизнь незнакомых людей покрыта завесой тайны. Представшую перед нами картину логично было бы поделить на две части: освоение западного образа жизни (естественно, ГДР рассматривалась как часть Запада) и оформление своего быта в привычном неурбанистическом и фольклорном стиле.

Один офицер создал в коридоре настоящий коллаж из журнальных вырезок: там были изображения культуристов, красоток в бикини и без, бутылок с экзотическими напитками, шикарно сервированных столов, этикеток от шампанского и кремов. В целом коллаж смотрелся как наивный поп-арт.

Вкусы некоторых из его сослуживцев поражали своей скромностью: они наклеивали на кухнях коллекции этикеток от иностранных консервных банок (венгерский "Зеленый горошек" рядом с болгарскими томатами и польскими огурцами) или же наклейки от пивных бутылок. Ванные и кухни часто отделывались разноцветными пластиковыми имитациями кафельной плитки; особым шиком считалось набрать как можно больше пластиковых квадратов разных цветов и разместить их наиболее прихотливо. Иногда они украшались цветочным орнаментом или небольшой коллекцией зайцев, уток или мышат.

Заметно преобладало стремление украсить свой быт (причем не только детские комнаты) персонажами "Веселых картинок", пейзажами родной природы. Одна квартира была полностью расписана камышами, стилизованными волнами и парящими над ними птицами, любимыми насекомыми и цветами (божьими коровками и колокольчиками). В одном случае многочисленные животные были нарисованы и скомпонованы вполне профессионально. В другом — во всю стену был изображен силуэт Москвы.

Бросалось в глаза отсутствие политических мотивов, за исключением настенных календарей перестроечного периода. Только один украинский патриот вырезал из журнала и повесил на стену конную статую Богдана Хмельницкого,

Создавалось впечатление, что в этих квартирах жили несколько инфантильные и милые существа, что резко контрастировало с их работой в первой зоне. Ведь эти "эльфы" поддерживали глобальное стратегическое равновесие и могли участвовать в катастрофе мирового масштаба. Поэтому они нуждались в посреднических услугах второй зоны. В выполненных там произведениях идеологического искусства художники как бы стеснялись своего недостаточного профессионализма (того, что Илья Кабаков когда-то назвал "жэковским уровнем" и чему он придал концептуальную форму) и неудачно пытались его замаскировать. В этой стыдливости прочитывается принципиальное разли-

чие частных и идеологических пространств последнего периода СССР.

Как военнослужащие солдаты и офицеры Энской части участвовали в поддержании глобального противостояния, определявшего границу между Западом и Востоком, а как люди были носителями лишь частично урбанизированной локальной культуры, не затронутыми противостоянием (иначе чем объяснить их наивное стремление "европеизоваться"?). Вероятно, отсюда возникала необходимость "накачивать" их символами державности в командно-идеологической зоне, которая, в свою очередь, к концу 80-х годов и сама дала трещину, о чем на рубеже идеологического и частного свидетельствует фольклорное пространство сауны. Это пространство не создает новую, четвертую зону, но размывает границы между второй и третьей, а без них не способна выжить вся система.

О том же — выделенности частной жизни как особой, не подчиненной идеологической сфере, отчасти ориентированной на Запад, — говорят настенные росписи и коллажи советских офицеров, выступавших в качестве дизайнеров своих жилищ. Но на тот момент, когда глобализация их культурных навыков только началась, глобализация разрушительного потенциала, который они обслуживали, достигла высокой степени. Глобальное никогда не бывает равным самому себе, источники, из которых оно питается, всегда локальны. Так что, говоря о глобализации мировых процессов, мы всегда незаметно для себя имеем в виду что-то вполне конкретное, локальное, местное (визуализированную американскую культуру, книжную французскую, речевую русскую, которые взаимно ограничивают одна другую, создавая каждая свой глобальный эффект). У каждой из этих культур есть своя командно-идеологическая зона, где необходимость противостояния обосновывается на уровне воображаемого, вводятся фигура врага и правила поведения в условиях противостояния, которые очень опосредованно связаны с устройством частной жизни. Если пространство собственно военного противостояния (первая зона) асимволично, а командное пространство перенасыщено, засорено глобальными символами, то сфера частной жизни конца 80-х годов организовывалась по более или менее автономным законам и почти лишена идеологической подоплеки. Поэтому сигналы, посылаемые из командной зоны, до нее практически не доходили (в отличие от сталинского времени, когда они доходили практически мгновенно и утверждали свою эф-

фективность с помощью насилия), а вязли в промежуточных пространствах, вроде описанной сауны. Быт офицерских семей также образует "плохую" проводящую среду для этих приказов: и в "прозападной", и в фольклорной разновидности он созерцателен, не агрессивен, не способен впустить в себя образ врага в требуемой второй зоной степени. Инфляция командно-идеологической зоны и ее символики представляется в данном случае достаточно очевидной. Саму ее можно рассматривать как экзотический, циничный вариант частной жизни.

Уникальный опыт, который мы с женой имели возможность провести, поставил проблему самоинсталлирования. Концептуалисты создали жанр инсталляции, сделанной как бы не художником, а его героем, с которым художник благородно делится авторством. Хотя в этом случае уместнее говорить об удвоении авторства. Во-первых, художник — акт во многом литературный — изобретает героя-персонажа (первое авторство), а во-вторых, от его имени создает произведение, становясь автором в обычном смысле. Считается, что удвоение авторства помогает его окончательно стереть, и на самом деле "говорит" голос персонажа, а подлинные признаки авторства формируются на уровне подписи, права на произведение и ряда других инфраструктурных параметров.

В случае самоинсталлирования мы имеем ослабленный вариант авторства: автор задокументированных нами инсталляций неизвестен, он не оставил подписи, более того, он утратил право собственности на занимаемое им пространство — оно теперь не принадлежит никому. Другими словами, то, что художник более или менее искренне провозглашает, здесь реализуется буквально. "Искусством" самоинсталляцию делает исключительно апроприатор, становящийся автором не инсталляции, а всего лишь ее фотоизображения. В каком-то смысле к этому стремились и этого опасались и симуляционизм, и концептуализм, и критическая постфотография... Они хотели принести автора в жертву в символическом смысле, но опасались потерять реальное инфраструктурное авторство; уступая, как говорят дети, понарошку, они, что вполне естественно, стремились удержать свой реальный статус и даже усилить его кажущейся уступчивостью.

Похожие смысловые ловушки связаны, конечно, и с практикой документирования самоинсталляции. В некоторые из них она неизбежно попадется.

Итак, мы посетили кусочек СССР в Пруссии, с его Москвой, Кремлем, мавзолеем и другими известными символами. Но теперь это собственность земли Бранденбург, предупреждают нас развешанные повсюду таблички, и эта земля объявила территорию бывшей военной базы "опасной зоной" — *Gefährdungsgebiet*. Там нет жителей, она никак не используется. Все имеющиеся строения (уже после нашего первого визита) пометили какими-то цифрами, как будто провели инвентаризацию, и только из окон, лишенных рам и превращенных в "естественные картины", по-прежнему открывались чудесные виды...

Объект охраны
(ноябрь 1997 г.)

Поговорка "На всякого мудреца довольно простоты" пришла мне в голову, когда я читал мемуары отставленного в июне 1996 года начальника охраны Президента России генерала А. В. Коржакова. Книга под названием "Борис Ельцин: от рассвета до заката" интересна не тем, что представляется интересным ее автору, не сенсационными разоблачениями, компроматами на конкурентов, разгадками тайн новейшей русской истории, в которые генерал был посвящен. Все это в записках Коржакова есть, хотя он постоянно держит руку на информационном кране, сортируя то, что уже созрело для придания публичности, и то, что откладывается на будущее или вообще не будет разглашено. Он балансирует на острие обычной для "посвященного" дилеммы: не сказать слишком мало (что сделает книгу неинтересной для читателя), не сказать слишком много (это могло бы навлечь обвинение в разглашении государственной тайны).

Но для меня в книге всесильного фаворита Ельцина интересно то, что ему самому представляется не имеющим отношения к политике, тривиальным, само собой разумеющимся и поэтому ускользает от цензуры, проговаривается как бы автоматически. Эта зона невинности содержит куда больше сюрпризов для внешнего наблюдателя, человека со стороны, чем тщательно дозируемые "разоблачения" и "тайны", ценные разве что для их носителя и его ближайшего окружения. Нерефлексивное поле властвования, в центре которого находится тело президента, описывается в "Борисе Ельцине" с удивительной непосредственностью. Неформальный момент явно доминирует в нем над формальным: формально генерал отвечает за личную безопасность президента, а неформально является его "кровным братом". Комментируя свою вынужденную отставку летом 1996 года, Коржаков роняет странную на первый взгляд фразу: "Одной размашистой подписью Ельцина я был освобожден от тех *обоюдных* [курсив мой — М. Р.] клятв и присяг, которые мы давали друг другу." [1] Эта фраза не является опис-

кой: генерал явно считает, что президента их частные "клятвы и присяги" связывали не в меньшей степени, чем его самого. Ельцин являлся для него президентом лишь формально, "при посторонних", а неформально, "наедине" превращался в "кровного" брата. "Если мы оставались наедине, Ельцин никаким президентом для меня не являлся. Друг друга мы считали "кровными" братьями — в знак верности дважды резали руки и смешивали нашу кровь. Ритуал предполагал дружбу до гробовой доски. При посторонних же я всем своим видом показывал, что Борис Николаевич — президент при любых обстоятельствах."[2] Неформальный уровень настолько важнее формального, что Коржаков, отвечающий за личную безопасность президента, сплошь и рядом действует так, как если бы *ему* была вверена безопасность государства. Он пребывает в уверенности, что ритуал обмена кровью, в правовом отношении совершенно произвольный, защитит его от президентской немилости и отваживается взбунтоваться после того, как убеждается в неотвратимости падения.

Здесь он повторяет ошибку тех, кого сам же яростно упрекает в "предательстве" президента: все эти люди вошли в политическую игру на столь односторонне продиктованных условиях, что их политическую смерть не в силах заметить никто, кроме ближайших друзей. Политическая незначительность была условием их вхождения в политику, но протестовать они начинают лишь после того, как их изгоняют, т. е. всего лишь делают изначальное условие явным. Обижаться этим лицам стоило значительно раньше, но им почему-то казалось, что именно они будут исключением из общего правила. В результате бунт приобретал черты мести, становясь следствием разочарования в том, что не должно было очаровывать изначально. Удивительно ли, что среди изгнанных не оказалось ни одного стоика?

В случае Коржакова отождествление с президентом было максимальным, "ножницы" между формальным и неформальным статусом — беспрецедентно огромными. В приказном тоне он требует от политиков, впавших в немилость соратников президента, писателей и т. д. воздерживаться от негативных высказываний в адрес "шефа", заранее квалифицируя их как "вранье". Политическая жизнь России последних лет предстает непрерывной цепью предательств. Оказывается, Ельцина предали политик Явлинский, бывший пресс-секретарь Костиков, министр обороны Грачев, писатель-сатирик Задорнов и мно-

гие другие. Всех их начальник охраны причисляет к стану своих личных врагов. При этом ответственность самого президента символически бесконечно возрастает, но в каждом отдельном случае ликвидируется в фигуре "предателя" (за чеченскую войну отвечает Грачев, за развал экономики Гайдар и Чубайс и т. д.). Сам генерал в конечном счете не в силах выдержать то неформальное доверие, которое оказывает ему "кровный" брат, и также становится "предателем". Просто для себя он находит оправдания, в которых отказывает другим. Нет ничего более по-человечески понятного: как и многие другие до него, генерал не готов принести себя в жертву собственной стратегии и верит в магию ритуала, который с точки зрения права является не более как капризом. Вслед за президентом он ощущает себя не служителем существующей независимо от него, внутри себя дифференцированной идеи государственности, а ее уникальной персонификацией, неотъемлимой частью тела государства. Поэтому отторжение, отвержение вовне воспринимается им так болезненно.

Президент Ельцин предстает в мемуарах своего близкого друга колоритной, непредсказуемой и необузданной личностью. И дело не просто в его пристрастии к спиртному. В сложной ситуации перехода от известного (советский образ жизни) к неизвестному (местный вариант рынка) президент выбрал чисто миметическую стратегию: он буквально воспроизводит в своем поведении травмы, которые переживает страдающее коллективное тело, и в этом смысле является народным президентом. Даже его капризы по-своему закономерны (например, он дирижировал в августе 1994 года оркестром берлинской полиции потому, что уход русских войск из Германии многими интерпретировался как поражение, и Ельцин из-за этого переживал). Но акты мимезиса делают институт представительства ущербным, а проявляемое президентом непосредственное сочувствие само вызывает сожаление своей необузданностью. Искренность, как известно, является врагом формы. К тому же, мимезису подлежат не все, а лишь наиболее архаические слои постсоветского бессознательного, которые таким образом консервируются. Между тем смысл реформ состоит в прогрессирующем преодолении, освобождении от этих слоев.

Коржаков восхищается западными лидерами, чье поведение значительно более предсказуемо, чем поведение его шефа. Точнее, отношение его двойственное. С одной стороны, западных коллег русского

президента значительно легче охранять, но с другой — руководитель охраны занимается только их личной безопасностью. За разговоры, которые ведет с политиками, журналистами и чиновниками автор мемуаров, другой начальник охраны наверняка лишился бы своей должности. Впрочем, в развитых странах такую ситуацию трудно себе вообразить.

Уверен, что читатель не истолкует воспоминания Коржакова как акт предательства, вероломства по отношению к президенту. Напротив, написание этой книги, какими бы мотивами ни руководствовался ее автор, представляет собой по всей вероятности самый гражданственный поступок в его жизни. Печально то, что пока этот от природы неглупый человек осознает себя гражданином лишь инстинктивно, под влиянием нанесенной ему личной обиды.

В мемуарах создается целая мифология "простого мужика" с рабочими руками, явно унаследованная от советского периода, когда она была официальной. Слово "мужик" неизменно наполняется позитивным смыслом и возникает, когда генерал чувствует свою близость с кем-то, будь то канцлер Коль ("этот мужик никогда и ни в чем не уступит нашему президенту"), выпившие по семьсот грамм водки руководители охраны американского президента ("Возникло ощущение, что мы сидим за столом с русскими мужиками, только разговариваем через переводчика") или его собственные друзья и сотрудники. Его умиляет скромность обстановки в доме немецкого канцлера, а по поводу резиденции американских президентов в Кэмп-Дэвиде у него вырывается неожиданное признание: "Скромность и простота резиденции повергла меня в уныние...Видимо, ни одно поколение россиян должно вырасти в достатке, прежде чем к власти придет президент, способный без жадности воспринимать материальные блага, сопутствующие восхождению на престол." При этом он не понимает, что в США нет "престола" в привычном для него смысле: разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную ставит каждую ветвь власти в строго определенные, в том числе и материальные рамки. Это непонимание имеет активный характер: именно то, что восхищает генерала на Западе, с яростью искореняется им и ему подобными в России. Никто иной как его заместитель, "седой, жилистый русский мужик", предлагает план расстрела из танков здания парламента в октябре 1993 года. План удивляет даже видавших виды ар-

мейских генералов. Расстрел Белого дома по этому плану послужил прологом к принятию конституции, которая *de facto* ограничила демократию в России, сосредоточив основную власть в руках президента, вновь воссоздав покачнувшийся было "престол". Почему то, что восхищает наших консервативных соотечественников на Западе, так раздражает их у себя на родине? Почему пока они воспринимают демократию лишь как экзотическое зрелище, чарующее издалека, но смертельно опасное вблизи?

Пример Коржакова показывает, что он *наслаждается* колоссальным избытком сосредоточившейся в его руках неформальной власти (при развитой демократии просто немыслимой). В качестве тайного "брата" президента он чувствует себя вознесенным над простыми "соратниками", пусть даже имеющими более высокий формальный статус. Когда, впав в немилость, те пытаются протестовать, он первый угрожающим тоном приказывает им этого не делать. Презрение Коржакова к этим людям вряд ли оправдано. Прежде, чем судить их, ему надо поставить себя в их положение. А этого, даже утратив власть, автор воспоминаний сделать не хочет (хотя фактически, повторяю, действует точно так же, как они и даже хуже — частная жизнь президента известна ему лучше других, стало быть и его "предательство" больше). Впрочем, кое-что меняется. Теперь уже он, Коржаков, упрекает за "лакировку" тех самых мемуаристов, которым еще недавно угрожал карами за "очернение" личности президента. Повторяется старая как мир история: в свете личных обид былое "очернение" предстало "обелением", а собственное "предательство" — желанием, наконец-то, сказать народу всю правду о президенте. Сама возможность это сделать свидетельствует о том, что в нынешней России есть свобода слова. *Post factum* можно порадоваться, что генералу не удалось воплотить в жизнь былые угрозы: они остались частными капризами начальника охраны. Иначе книга "Ельцин: от рассвета до заката" не была бы опубликована в России.

Если верить генералу, Ельцин почти не смотрит телевидение и редко читает газеты. Создается впечатление, что Коржаков делает это еще реже. Он обеляет своих друзей — Сосковца, Тарпищева, Барсукова и других. Тарпищев в мемуарах только играет в теннис и волейбол, Сосковец — по-стахановски работает и т. д. Между тем, судя по многочисленным публикациям в российской прессе, отношения друзей пре-

зидента с властью были опосредованы немалыми финансовыми вливаниями (вспомним хотя бы право беспошлинного ввоза алкоголя, дарованное возглавляемому Тарпищевым Госкомспорту). Просто эти вливания оказались менее рентабильными, чем в случае их противников. Драматически это обстоятельство обнажилось в период президентской избирательной компании 1996 года. Приводимые Коржаковым слова Ельцина, — сказанные им по случаю отставки генерала и его друзей, — видимо, надо понимать буквально:" ...они много на себя брали и мало отдавали". Как показали выборы, рентабильность денежных вложений оказалась более важным фактором безопасности президента, чем высказывания о нем Явлинского, юморески Задорнова или мемуары Костикова. Этот-то фактор начальник охраны, занятый поисками малейших признаков антипрезидентской крамолы, и проглядел. Серьезная политика его по сути дела интересовала мало.

В книге воспеваются трудовые мозолистые руки простых мужиков, даже если это премьер-министр ("У вас нормальные руки," — говорит Коржаков Черномырдину), генерал или посол. Зато достается тем, чьи руки не соответствуют высокому идеалу. Особенно раздражают мемуариста руки банкира В. Гусинского. Впервые увидев его в Кремле, генерал заметил что-то неладное: "...я сразу обратил внимания на его пальчики — почти детские, коротенькие, с маникюром. Мужскими такие руки никак не назовешь". И уж совсем по-расистски отнеслись к рукам банкира жена и теща генерала: "Это поганые руки для мужика". Не устраивают Коржакова и руки директора одного из московских телеканалов И. Малашенко — на них также он не обнаруживает трудовых мозолей.

Представляю себе результат столкновения мозолистой руки Коржакова с изящной рукой Брюса Ли... Что-то подобное, собственно, и случилось летом 1996 года. Трудовые мозолистые руки оказались бессильны перед пухлыми, детскими ручками господ Гусинского, Малашенко и других "служителей капитала". Неформальная приватизация власти кланом "друзей" уступила место приватизации более формальной, опосредованной деньгами.

Рухнула еще одна советская мифологема.

Проповедь равенства и безудержная роскошь; сознание символического величия России и компрометирующее ее поведение; благие намерения и их неуклюжее проведение в жизнь (здесь приходит на ум

крылатая фраза премьера Черномырдина: "Хотели как лучше, а получилось как всегда"), — описанием всего этого изобилуют мемуары человека, которого еще недавно называли вторым лицом в государстве. Демократические институты Европы и США уже не представляются их автору враждебными, но вся книга свидетельствует о том, насколько политическая реальность современной России далека от них.

Некоторые ритуалы отдают глубокой древностью. Меня по-человечески расстроил бравурный рассказ генерала о том, как по приказу президента его пресс-секретарь был сброшен приближенными в Енисей с верхней палубы корабля. На следующий день этот немолодой человек пришел в ресторан с распухшим лицом и пил из чайника коньяк, чтобы как-то привести себя в чувства. Коржаков демонстративно презирает его, потому что тот, по его мнению, — "голубой" (т. е. гомосексуалист). Когда "шута" назначают послом в Ватикан, всесильный фаворит дарит ему фигурку монаха — если приподнять сутану, из-под нее выскакивает огромный половой член. Намек более чем прозрачный, но покорный пресс-секретарь сносит и это. После чего следует грозное предупреждение: "В твоей будущей книге о президенте не должно быть ни слова "вранья". Как будто не ужасна рассказанная генералом правда?

Название книги имеет аллегорический смысл. Генерал был свидетелем расцвета политической карьеры Ельцина, после его отставки, намекает он, начинается ее закат. Последняя глава так и называется "Осень патриарха". Заканчивается она словами: "Наступила глубокая осень в вашей жизни, Борис Николаевич".[3] Трудно назвать это словами друга. Да и как может считаться чьим-либо другом человек, не видящий середины между слепой, животной преданностью и вероломством?..

Примечания:

1. Александр Коржаков. Борис Ельцин: от рассвета до заката, М., "Интербук", 1997, с.20
2. Там же, с.223
3. Там же, с.394

“Черная книга”: полвека спустя
(январь 1998 г.)

Ровно полвека тому назад, в январе 1948 года, в Минске погиб председатель Антифашистского еврейского комитета, знаменитый актер и режиссер Соломон Михоэлс. Хотя официально причиной смерти был назван несчастный случай, теперь достоверно известно, что это было спланированное органами госбезопасности убийство. В конце того же года было арестовано руководство Антифашистского еврейского комитета, а в августе 1952 года арестованные, пятнадцать поэтов, писателей, ученых, журналистов (за исключением одной женщины, биолога Лины Штерн), были расстреляны по настоянию Сталина.

Большинство подсудимых обвинялось в причастности к составлению книги. Причем книги, которая создавалась с разрешения и под руководством идеологического отдела партии, неоднократно редактировалась, но по окончании работы была, тем не менее, признана идеологически вредной, противопоставляющей евреев всем другим народам СССР, к тому же своевольно опубликованной в Америке при содействии “еврейских националистов из США и Палестины”. Не были казненные и авторами этой книги — она была задумана как сборник документов и свидетельств очевидцев и жертв геноцида евреев, систематически проводившегося нацистами в 1941-45 годах на оккупированных территориях Советского Союза. Более того, редакторы книги, И. Эренбург и В. Гроссман, не были привлечены к суду.

Пришел момент назвать фатальную книгу – это созданная в 1944-47 годах по инициативе Альберта Эйнштейна “Черная книга”. В основном она состоит из рассказов жертв и свидетелей геноцида, дневниковых записей (некоторые из авторов погибли), допросов исполнителей массовых убийств, свидетельств советских военных, заставших превращенных в живые трупы людей уже после освобождения и т. д. Илья Эренбург недоумевал, когда от составителей потребовали “хорошей”, “правильной” книги: “Так как авторами книги являемся не мы, а немцы, а цель книги ясна [собрать свидетельства очевидцев —

М. Р.], я не понимаю, что значит "если будет хорошей": это не тот роман, содержание которого неизвестно". Объявляя немцев авторами "Черной книги", писатель несколько упрощает ситуацию: фашисты были "авторами" геноцида (что в данном случае означает "авторство" нуждается в обширных пояснениях), а не связанного с ним архива. Более того, они, как и другие репрессивные режимы, сделали все для того, чтобы уничтожить максимальное число следов. К тому же и "Черная книга" редактировалась, свидетельства систематически прореживались там, где их фактичность противоречила советским идеологическим постулатам; например, безжалостно вымарывались все упоминания соучастия местного населения в уничтожении евреев, подробности немецких зверств, "натурализм" которых воспринимался как трансгрессивный, если не как порнографический и т. д.

Я не припомню книги, из-за которой погибло бы столько людей. Несколько купюр в "Цветах зла" и небольшой штраф за "Мадам Бовари" не идут в сравнение с той ценой, которую *за простую причастность* к этой книге (а не за авторство) заплатили члены Антифашистского комитета. Поразительно и другое: "Черная книга" не опубликована в России до сих пор, даже после исчезновения всех цензурных барьеров, когда, казалось бы, уже издано все — от "120 дней Содома" до "Тропика Рака". Почему же, спрашиваю я себя еще и еще раз, сталинский режим с такой жестокостью карал за рассказ о преступлениях, которые совершил *не он, а враги*, с которыми он ожесточенно боролся и которых победил? Почему прекрасный материал для антинацистской пропаганды обернулся против его собирателей? Конечно, подобный эффект не планировался национал-социалистами, отождествлявшими — по крайней мере на официальном уровне — коммунизм, как и капитализм, с интригами мирового еврейства. По их логике, советская коммунистическая власть, державшаяся прежде всего на евреях, должна была предать особенно громкой огласке именно этот геноцид; поэтому в конце войны они лихорадочно заметали следы содеянного. Ничего подобного не произошло: сталинизм *в соответствии со своей внутренней логикой* сделал все от него зависящее, чтобы не признавать уничтожение миллионов евреев (и тысяч цыган) на своей и сопредельных территориях. И, если вдуматься, это не так уж непостижимо. Рассказывая о геноциде, пострадавшие евреи, субъективно в основном чувствовавшие себя советскими людьми, совершали *идео-логическое*

преступление — впервые создавали архив, неподконтрольный господствующему режиму и уже поэтому неприемлимый для него. Сколько бы ни пытались этим архивом манипулировать, как бы его не прореживали, СС, полиция и их помощники из местного населения (скрытые за эвфемизмом "полицаи") продолжали уничтожать в гетто, лагерях, местечках и т. д. пусть не исключительно, но прежде всего евреев. За невозможностью "отредактировать" это обстоятельство, составлявшее суть архива, его собирателей репрессировали — фактически за то, что посредством совершенных немцами преступлений из монолитного советского народа выделялась в качестве аллогенного элемента его часть, грозившая разрушить стройную картину мира. Тоталитарные системы оказались абсолютно непрозрачными друг для друга, так как вектор и логика террора в обоих случаях были совершенно разными. Их роднил разве что одинаково сильный запрет на натуралистическое изображение насилия. Создание "Черной книги" в последние годы войны было уступкой мировому, прежде всего американскому общественному мнению, от которого зависела помощь воюющему СССР. С началом холодной войны необходимость в этой уступке отпала, и аллогенный элемент стал неприемлем. Любопытно, что и тогда враг не назывался с национал-социалистической прямотой евреем, скрываясь за ярлыком "безродный космополит". Возникшая в результате мифология войны послужила настолько фундаментальным механизмом легитимации советского строя, что пережила его и в некоторых своих фрагментах длится до сих пор. Только ее "расколдовывание" сделает войну событием, относящимся к историческому, а не к "вечному" времени.

"Черная книга" показывает, что уничтожение евреев было продуманным, упорядоченным (везде прослеживается одна и та же последовательность действий) процессом и вместе с тем сопровождалось постоянными и непредсказуемыми капризами палачей. Никакие законы и предписания не в силах объяснить наслаждение от мучений и издевательств, которым подвергали жертв агенты террора. Это наслаждение — в лакановском смысле: предполагающее крайнюю степень страдания — образует чистый избыток, *неподвластную закону* изнанку его самого. На наших глазах измышляется закон, законом становится малейшая прихоть последнего охранника или полицая. Любой произвол тут же освящается именем закона. Трудно свести этот вид террора к

извращению технической рациональности, плодящей "обыденность зла", бюрократов умерщвления. Газовая камера является одним из многих механизмов уничтожения наряду с другими, а не вершиной строго упорядоченной, иерархизованной пирамиды. Чтение этой книги наводит на мысль, что на протяжении всего периода войны существовало огромное количество не поддающихся глобальному обобщению видов массового истребления: сотни тысяч жертв геноцида были расстреляны в противотанковых рвах и вырытых ими же могилах, умерли от непосильного труда или были "добиты" охраной; тысячи погибли по капризу палачей (в соответствии с "логикой уничтожения" их смерть наступила бы позднее); десятки тысяч в "душегубках"; миллионы в газовых печах лагерей уничтожения. Эти и многие другие виды смерти одинаково существенны, и я не стал бы превращать наиболее индустриальные формы в модель для всех остальных. Создается впечатление, что палачи испытывали столь же сильную потребность в прямом телесном контакте со своими жертвами, в театрализации убийства, как и в ее постановке на конвейер. На всей территории СССР, где погибло около миллиона евреев, не было ни одного "лагеря уничтожения", оснащенного газовыми камерами. Многочисленность жертв также не может служить критерием иерархизации, потому что механизмы уничтожения качественно отличны один от другого, а при их соподчинении как раз качество пропадает.

В "Черной книге" вовсе не отрицается ужасное обращение с военнопленными — иногда им приходилось даже хуже, чем обитателям гетто — и жесткость в отношении других народов. Просто эта жестокость была более избирательной, направленной на сопротивляющихся, а не на *любых* представителей этих народов. Еврей — женщина, старик, ребенок, православный, католик — автоматически приравнивался к коммунисту и подлежал уничтожению, тогда как в других случаях это нуждалось в доказательстве (часто достаточно произвольном). Растворяя евреев в "мирном советском населении", сталинский режим полностью менял логику нацистов, настаивавших на примате "крови". Расовый вектор заменялся вектором политическим: людей, в соответствии с этой новой логикой, убивали за то, что они были советскими гражданами, поголовно сопротивлявшимися оккупационным властям. Гитлеровцы, стали утверждать, убивали этих людей потому, что советское было в их глазах синонимом коммунистического. Тем самым

качество советскости *post factum* приписывалось огромному числу людей, которые в 1941-45 гг. имели все основания быть недовольными советской властью. Вменяемая им "идеальность" была эффективной в том смысле, что служила основанием для дальнейших репрессий. И это понятно: когда принадлежащее людям по праву — достаток, семейная традиция, национальность, принадлежность к сословию — объявляется фикцией, тем самым одновременно выдается санкция на приведение их прошлого в соответствие с этой фикцией, становящейся единственной реальностью. Раскулаченный крестьянин имел основания мстить тем, кто отнял его собственность. Провозглашая его просто советским человеком, мы превращаем его месть, имевшую достаточно прозрачную причину, в акт Великой Измены, которую ничто не способно объяснить. И хотя мстил этот крестьянин не тем, кто его ограбил, а тем, на кого указывал повелевающий перст оккупационных властей, т. е. в той ситуации зачастую евреям, из этого не следует, что у него не было реального мотива для мести. Идеологическая хитрость состоит в том, чтобы его этого мотива лишить. Воспользовавшись фашизмом как алиби, советская власть задним числом ликвидировала самую кровопролитную эпоху в *своей собственной* истории, начало которой кладет коллективизация. Независимо от субъективных намерений информаторов и составителей, "Черная книга" оказалась препятствием на пути тотальной мифологизации, давая социологически более достоверную и идеологически неприемлимую картину событий. Поэтому она не только не была напечатана, но и послужила основанием для репрессий против ее вдохновителей. Постоянно ретушируя и переиначивая собственную историю, сталинская идеология не могла допустить и какой-то независимой от нее истории нацистской Германии. Ликвидацию этой истории постепенно приучились рассматривать как военный трофей, как право народа-победителя.

Уже "Черная книга" содержала ряд важных идеологических мутаций. Если верить одному из напечатанных в ней рассказов, в минском гетто не только существовала разветвленная партийная организация, связанная с партизанами, имевшая свой радиопередатчик, доставлявшая в гетто оружие, но также, оказывается, многие обитатели гетто знали наизусть речи Сталина и Калинина. Это плохо сочетается с предыдущим документальным текстом: описываемые в нем масштабы сопротивления значительно скромнее, а связь с идеологической Роди-

ной — куда слабее. В "Черной книге" есть и художественные тексты. Если И. Эренбург считал авторами этой книги немцев, участвовавших в геноциде евреев, другой ее редактор, В. Гроссман, полагал, что главная задача книги — "говорить от имени людей, которые лежат в земле и не могут ничего сказать". Его очерк "Треблинка" и "Дети с черной дороги" В. Апресьяна представляют собой основанные на документальном материале повести, где черты немцев подвергаются сильной типизации, создаются "характеры". Можно сказать, что в этих текстах закладывается основа того, что с некоторыми (существенными) изменениями станет каноном советской литературы о нацизме. Апогеем этой ветви соцреализма является "Молодая гвардия" А Фадеева, окончательная версия которой вышла в 1951 году, незадолго до расправы с членами Антифашистского еврейского комитета.

СССР оставил после себя сложнейший *антиархив*, в котором кропотливым исследователям предстоит осторожно снимать один пласт за другим, чтобы в конечном счете обрести контуры первоначального архива (далеко не исчерпывающегося "Черной книгой"). Только тогда "новая историческая общность" станет действительно исторической и одновременно будет дописана одна из глав в истории Третьего Рейха.

Подведу некоторые итоги. Хотя почти все хронисты "Черной книги" симпатизировали советской власти и ждали прихода Красной армии как освободительницы, именно созданный ими архив *помимо их воли* оказался систематическим вызовом, брошенным советской мифологии изнутри. В формирование советской истории вмешались неподконтрольные сталинскому руководству силы. Рассказ о действии этих сил был признан фиктивным и вместо него под контролем партии сформировалась новая "ортодоксальная" версия происшедшего. Конечно, сталинская идеология скрыла расовый вектор нацистских репрессий не из любви к поверженному гитлеровскому режиму, а в соответствии со своей внутренней логикой, не допускавшей выделения из единого советского народа некой абсолютной жертвы, тем более выбранной по признаку "крови". Более того, пролитая в войне кровь должна была послужить основанием для еще более тесного объединения советского народа в единую семью. В силу этого врага надо было не только победить, но и ликвидировать логику его действий в сознании победителей, заменив ее своей собственной, придуманной позднее, но

объявленной изначальной. Победа должна была завершиться насилием дискурса, формированием приемлимого образа врага.

Пятьдесят лет тому назад решение об окончательном запрете "Черной книги" было принято в Москве человеком (тогда только что назначенным секретарем ЦК), которому предстояло сыграть огромную роль в брежневский период — М. А. Сусловым. Впоследствие под его руководством вычеркивалось множество других событий советской и зарубежной истории. Жертв фашистского режима заставили пережить еще одно унижение — то, что побуждало их страдать, было объявлено фикцией и заменено другой, "правильной" причиной. Только деконструкция конкретных механизмов создания вторичной советской мифологии из первичной нацистской позволит нам если не восстановить историческую справедливость, то по крайней мере еще на один шаг приблизиться к пониманию собственной истории.

Просветление препарата
(март 1998 г.)

В последние годы в русскую литературу вошел новый герой. Его нельзя назвать положительным или отрицательным; ему нельзя приписать каких-либо определенных свойств, хотя он сам наделен способностью вызывать у героев изменчивые свойства, называемые "состояниями". Причем веер этих "состояний" простирается от эйфории до депрессии. Новый герой активно взаимодействует с компьютерным миром на том основании, что оба они виртуальны, и с разными видами мистического опыта по той причине, что он так же, как и они, претендует быть средством достижения просветления. Героя, как вы, наверное, уже догадались, зовут *галлюциногенный препарат.* В качественной русской литературе последних лет наркотическая тема нередко соседствует с компьютерной и интеллектуальной. Герои попеременно галлюцинируют и рассуждают о том, как достичь просветления (у Пелевина) или по крайней мере постоянно сохранять эйфорический настрой (у Пепперштейна). В "Dostoevsky-trip" Владимира Сорокина разрабатывается тема "литературы в таблетках".

В чем отличие этой прозы от известных западных эквивалентов? На Западе такого рода литература по традиции либо относилась к жанру "признания" (де Квинси, Бодлер, Берроуз), либо замаскировывалась под научный эксперимент (Хаксли, Маккена), либо соединяла оба эти признака (Кастанеда). Во всех случаях создавались условия для рассмотрения этого опыта извне и соответствующего морального суждения. Интенсивность галлюцинирования рассматривалась как отличная от обычной творческой способности, а иногда даже — как в случае "Искусственного рая" Бодлера — прямо противопоставлялась ей как поэтически стерильная. Другими словами, принцип реальности в соответствующих западных текстах сохранял свой приоритет, а контролируемой поэтической грезе отдавалось явное предпочтение перед неконтролируемыми, хотя и чрезвычайно интенсивными состояниями наркотического транса.

Наиболее четко все три темы (галлюциногенная, компьютерная и "интеллектуальная") проработаны в работах Виктора Пелевина, который, не будучи, в отличие от Сорокина и Пепперштейна, связан с концептуальной традицией, упорно создает свой жанр и формирует своего читателя. Населяющие его прозу существа либо существуют вегетативно (их много в "Жизни насекомых"), либо стремятся разрешить некую Загадку и измениться настолько, чтобы понять, что смысл жизни состоит в отсутствии смысла и ответа нет ни на один вопрос. Возникает оксюморонный жанр — *эзотерическая проповедь*: к большому числу читателей обращаются с тем, что в соответствии с традицией полагалось знать немногим. В отношении проповедующих нечто эзотерическое никогда до конца не рассеивается подозрение, связанное с их собственной причастностью к тайне; ведь в условия посвященности необходимо входит молчание. Пелевин понимает, что просветленный человек — в глубоком смысле умерший, и ему нет нужды что-то доказывать другим. Но в то же время его тексты агональны, полны споров, возражений и контрвозражений, связанных с самыми эзотерическими сюжетами. В этом просматривается влияние Кастанеды и околокастанедовской литературы.

Для в недавнем прошлом коллективистской культуры галлюцинирование опасно тем, что его нельзя маргинализовать. Ведь само ядро социальности не менее бредово, так что речь идет не о возвращении к принципу реальности, к некой гипотетической нормальности ("где было Оно, должно стать "я", как выражался Фрейд), а о перебегании из одного вида бреда в другой, с иной переменной интенсивностью. В истории России уже был "кокаиновый эпизод" — первое послереволюционное десятилетие, когда "марафет" с наслаждением вдыхали рабочие, мелкие совслужащие, красноармейцы и революционные матросы".[1] Он продавался даже в обычных чайных. Со второй половины 20-х годов кокаин начал вытесняться дешевой водкой, "рыковкой", а коллективизация может быть также названа алкоголизацией всей страны, длившейся до исчезновения СССР (неслучайно этому исчезновению предшествовала массированная и безрезультатная антиалкогольная кампания). Начинается галлюциногенный период, когда в определенных читательских слоях ценится не воображаемая мощь "я", раздуваемая кокаином, и не приверженность традиции, связанная с потреблением водки, а интенсивность "отлетания" от социальности, вос-

принимаемой как чье-то глубоко приватное дело. Можно назвать эти слои *несостоявшимся* средним классом России. Галлюциногены оказываются в зазоре, где русская культура приоткрывается мировой, в зоне перекрестного осеменения. В отличие от московских концептуалистов, утверждающих незначимость социальности символически, исключительно в пространстве речи, Пелевин утверждает эту незначимость, свой вариант "пустотности", буквально. Если у медгерменевтики галлюциноз или, как они выражаются, онейроид является убеганием внутри убегания, у автора "Чапаева и Пустоты" это бегство вовне, к внешнему, *которое в каком-то смысле существует*. Для него существует нечто внешнее социальности, т. е. так или иначе артикулированному языку. И хотя это внешнее зачастую является фикцией, само его наличие интригует читателя, заставляя предположить существование миров, в которых он может скрыться от становящегося невыносимым *и гиперреальным* принципа реальности. Правильное рассуждение у Пелевина выше препарата, его Чапаев, опрокидывающий водку стаканами, проговаривает серию коанов, предполагающих его абсолютную причастность к высшей галлюциногенной реальности за пределами жизни и смерти.

Пелевин лучше других авторов репрезентирует и виртуальность новейшей прозы. Его герои (особенно в повести "Принц Госплана") играют в компьютерные игры, одновременно являясь их персонажами. Презрение к социальности достигает такой интенсивности, при которой любое "отлетание" от нее, какими бы средствами оно не достигалось, автоматически наделяется свойством позитивности. Ничего похожего мы не найдем ни у де Квинси, ни у Бодлера, ни у Хаксли — ведь каждый из них *маргинализован* своим наркотическим экспериментом: опиумом, гашишем, мескалином. Для Бодлера этот опыт "стерилен" и "асоциален", для Хаксли — "невербален". Обладая всеми внешними признаками просветления, он является его антиподом; творчество, будучи зачастую менее ярким, связанным с рутинным трудом, тем не менее, имеет тот же вектор, что и просветление (у Пруста идея спасения с помощью знаков искусства вообще доминирует). На постсоветском литературном пространстве имеет место обратный процесс, который можно обозначить как *маргинализацию социальности*. Ее способность объединять людей стремится к нулю. И вот возникает теория, согласно которой в самом заднем, обшарпанном вагоне мчащего-

ся в никуда поезда ("Желтая стрела") есть очень узкое отверстие, через которое специально подготовленный человек, разрешивший коан бытия, может выбраться наружу, достичь внешнего. Если западное внешнее (достаточно почитать Мориса Бланшо) нейтрально, то у Пелевина оно еще исполнено пафоса. Это парадоксальное пророчество наоборот, утопия для каждого отдельного человека, благая весть о том, что в глухой стене есть дверь, из которой возвращаются преображенными. Изменение отношения к жизни здесь не связывается, как в традиционных религиях, с отречением от мира (монашеством) и длительным аскетизмом, оно проходит через бои, компьютерные игры, ухаживание (влюбляясь в Анну, Петр Пустота постигает Чапаева, так как это его женская ипостась). Столь радикальная позиция чревата многочисленными регрессиями, число которых в текстах Пелевина действительно велико. Местами, взяв слишком высокую "мистическую" ноту, он скатывается к общим местам куртуазности, национализма или запоздалого антибольшевизма. Здравый смысл настигает его там, где, как ему кажется, он от него раз и навсегда оторвался. Он прекрасно знает, что тайный опыт не может принять форму повествования, тем более художественной прозы. Патетика его книг связана с желанием преодолеть наррацию, совершить литературно невозможное и выйти в иное измерение.

Это привлекает к нему читателей, которые движутся в том же порочном кругу, что и он сам. Они также хотят перебежать из социального бреда в иной, виртуальный мир. У них также есть интеллектуальный интерес к текстам Юнга, Кастанеды, Маккены, Грофа, определенный запас галлюциногенного опыта и многие сутки путешествия в интернете. Так как нельзя (так уже она сейчас устроена) влипнуть в социальность, а не влипать вообще люди не могут, они влипают в виртуальность. Намечаются пока еще туманные контуры новой местной ортодоксии. Маргинальные эксперименты западного авангарда сдвигаются в русский "пустотный центр", делая, в свою очередь, маргинальным все то, что должно хоть как-то объединять людей. Создается своеобразная община одиноких, которые не выносят собственного одиночества и взыскуют нового коллективизма, пусть относящегося к порядку виртуального. При этом они не всегда отдают себе отчет в том, что так понятое виртуальное и есть реальность в ее традиционном определении, т. е. субстанция или то, что способно создавать свя-

зи (независимо от природы этих связей).

В отличие от московского концептуализма, который в обширном корпусе текстов отрефлексировал свой групповой характер, здесь новое коммунальное тело складывается спонтанно и во многих принципиальных отношениях еще не является телом дискурса. Оно попеременно декларирует свою неприязнь и безразличие к политическому, утверждая "посвященность" как нечто бесконечно более важное (барон Унгерн фон Штернберг является мистическим двойником Чапаева, хотя в презренной реальности они находятся на разных полюсах политического спектра; аналогичные метафорфозы происходят в романе с самим Пустотой, но это не затрагивает его пути к Отгадке). Завышение акций виртуального порядка связано с тем, что именно в нем новое сообщество надеется обрести свое спасение. С этой надеждой сопряжен парадокс: ведь спасение в виртуальном — это всегда только *репетиция* спасения, потому что число таких миров неопределенно велико. И хотя в принципе каждый может найти свое "окошко в последнем вагоне", нет никакой гарантии, что качество реальности, в которую он через него попадет, будет сколько-нибудь существенно отличаться от той, из которой он бежал. Ведь так глубоко отвергать можно только уже непоправимо гиперреальную реальность. Когда не от чего бежать, сомнительным становится сам вектор бегства, бегство как задача.

Из этой конкретной социальности бегут *не потому, что в ней скучают, а потому что ее не могут вынести.* Просто это самый невыносимый из всех возможных миров — поэтому и бегство из него как естественно, так и невозможно, ведь он с огромной скоростью убегает сам от себя. Терапевтически вектор бегства, конечно, абсолютно оправдан, чего нельзя сказать о более "высоких" притязаниях беглецов. Более того, я отважился бы на следующий парадокс: настоящие атлеты виртуального в нынешней ситуации остаются в социуме именно из-за его невыносимости. Объявляя наиболее невыносимое банальным, на первый взгляд, убивают сразу двух зайцев: во-первых, маскируют более чем естественную, по-человечески понятную капитуляцию перед невыносимым; во-вторых, придают романтический флер акту бегства. В результате нынешнее состояние замораживается, становится вечным. В этом ничего особенно нового нет — невыносимое всегда крайне банально, слишком банально, чтобы быть выносимым.

В любом из возможных виртуальных миров мы, видимо, родились и умрем социальными существами. Только ясное осознание этого обстоятельства сделает наше одиночество поистине лучезарным.

Примечания:

1. Н. Лебина. В социализм— под кайфом. – "Аргументы и факты", №40, 1995, с. 9.

Кризис государства-пирамиды
(август 1998 г.)

За шесть с лишним лет ельцинского правления в России выковался новый тип человека – *homo postsovieticus*. Казалось, государство ничем уже не может его удивить – после стольких обманов он научился видеть в нем своего заклятого врага. Но хотя он привык ждать худшего, начиная с 17 августа ему – и чем дальше, тем больше – стало ясно: он вновь беззастенчиво обманут. Причем, если прежние финансовые пирамиды строились частными лицами, пусть и при косвенном попустительстве государства, и носили локальный характер, теперь пирамидой оказалось само государство. К такому повороту событий большинство граждан оказалось не готово – отсюда шок и оцепенение последних недель. На этот раз обман носил тотальный характер. Кроме того, если раньше (в 1994 году) пирамиды разоряли почти исключительно рядовых граждан, на этот раз затронутыми оказались интересы тех, кто, заработав на предыдущих витках финансовой экспроприации, считал себя неуязвимым. Богатство в России стало необратимо иллегальным; похоронена надежда на введение его в правовые рамки, на формализацию статуса предпринимателя, банкира, менеджера. Богатейшие люди возглавляют разорившиеся предприятия, частично скупленные государством, которое само находится на грани банкротства, а свои состояния они держат в иностранных банках, и только это спасает их самих от разорения. На месте распавшихся социальных связей практически не образовалось ничего нового, если не считать неразборчивой, вязкой пустоты, которую одни путают с патриотизмом, другие с либерализмом. Смысл этой пустоты пока, к сожалению, неясен и не покрывается никакими рационализациями. И, как это обычно бывает в кризисные эпохи, число интерпретаций резко возрастает. 17 августа всеобщий кризис доверия обострился еще и потому, что исчез, как кажется многим, последний островок стабильности – им парадоксальным образом был американский доллар. Миллионы россиян видели защиту от спекуляций в конвертации рублей в доллары, и вот дол-

лар так резко подпрыгнул в цене, что его стало невозможно купить. Теперь его можно только продать. В отчаянии люди бросились покупать западные товары, чтобы потратить рубли, но и на них цены быстро поднялись.

Перед самым кризисом Москву наводнили полчища людей, предлагающих разного рода товары и услуги, ссылаясь на имена известных западных фирм. Они сплошь и рядом оказывались мошенниками и исчезали вместе с полученными от редких простаков авансом. Большинство москвичей защищало от их набегов одно: отсутствие свободных денег. Недавно газеты опубликовали письмо находящего в розыске Мавроди, в котором тот поздравляет правительство России с построением успешно работавшей около пяти лет пирамиды. "Вот и вы кое-чему у меня научились" – пишет он. Спекулятивный капитал нуждается во все новых и новых жертвах. Теперь стало неясно, из кого же их можно рекрутировать в дальнейшем. Разорив более мелких спекулянтов, государство-спекулянт само оказалось на грани разорения. Его искушенность работает против него же. Ведь если акции МММ и других частных финансовых пирамид покупались добровольно, то ГКО (государственные кредитные обязательства) во многом навязывались банкам, фондам и предприятиям самим же правительством под гарантии, оказавшиеся блефом. Особенно пародийным выглядит на этом фоне возвращение премьера Черномырдина, символа предыдущего периода, настоящего создателя рухнувшей пирамиды.

Исчезновение доллара как якоря спасения в море экономической неопределенности нервирует достаточно широкие слои москвичей, не знающих, как в новой ситуации страховать себя против своего главного врага – государства. Разговоры о "дедолларизации экономики" воспринимаются как вторжение в наиболее интимную сферу их экономического поведения. В провинции "дедолларизация" переживается менее остро, так как там уже давно царит натуральный обмен, бартер, и люди месяцами живут не только без долларов, но и без рублей.

Кризис выходит далеко за пределы экономики: он порождается катастрофическим дефицитом доверия, отсутствием какого-либо общественного договора. При этом я, несмотря на видимость противоположного, не стал бы идеализировать ни одну из борющихся сторон: ведь если правила игры создаются правительством, *условия* этих правил коренятся в способе жизни среднего человека. Рационализуя это-

Кризис государства-пирамиды
(август 1998 г.)

За шесть с лишним лет ельцинского правления в России выковался новый тип человека – *homo postsovieticus.* Казалось, государство ничем уже не может его удивить – после стольких обманов он научился видеть в нем своего заклятого врага. Но хотя он привык ждать худшего, начиная с 17 августа ему – и чем дальше, тем больше – стало ясно: он вновь беззастенчиво обманут. Причем, если прежние финансовые пирамиды строились частными лицами, пусть и при косвенном попустительстве государства, и носили локальный характер, теперь пирамидой оказалось само государство. К такому повороту событий большинство граждан оказалось не готово – отсюда шок и оцепенение последних недель. На этот раз обман носил тотальный характер. Кроме того, если раньше (в 1994 году) пирамиды разоряли почти исключительно рядовых граждан, на этот раз затронутыми оказались интересы тех, кто, заработав на предыдущих витках финансовой экспроприации, считал себя неуязвимым. Богатство в России стало необратимо иллегальным; похоронена надежда на введение его в правовые рамки, на формализацию статуса предпринимателя, банкира, менеджера. Богатейшие люди возглавляют разорившиеся предприятия, частично скупленные государством, которое само находится на грани банкротства, а свои состояния они держат в иностранных банках, и только это спасает их самих от разорения. На месте распавшихся социальных связей практически не образовалось ничего нового, если не считать неразборчивой, вязкой пустоты, которую одни путают с патриотизмом, другие с либерализмом. Смысл этой пустоты пока, к сожалению, неясен и не покрывается никакими рационализациями. И, как это обычно бывает в кризисные эпохи, число интерпретаций резко возрастает. 17 августа всеобщий кризис доверия обострился еще и потому, что исчез, как кажется многим, последний островок стабильности – им парадоксальным образом был американский доллар. Миллионы россиян видели защиту от спекуляций в конвертации рублей в доллары, и вот дол-

лар так резко подпрыгнул в цене, что его стало невозможно купить. Теперь его можно только продать. В отчаянии люди бросились покупать западные товары, чтобы потратить рубли, но и на них цены быстро поднялись.

Перед самым кризисом Москву наводнили полчища людей, предлагающих разного рода товары и услуги, ссылаясь на имена известных западных фирм. Они сплошь и рядом оказывались мошенниками и исчезали вместе с полученными от редких простаков авансом. Большинство москвичей защищало от их набегов одно: отсутствие свободных денег. Недавно газеты опубликовали письмо находящего в розыске Мавроди, в котором тот поздравляет правительство России с построением успешно работавшей около пяти лет пирамиды. "Вот и вы кое-чему у меня научились" – пишет он. Спекулятивный капитал нуждается во все новых и новых жертвах. Теперь стало неясно, из кого же их можно рекрутировать в дальнейшем. Разорив более мелких спекулянтов, государство-спекулянт само оказалось на грани разорения. Его искушенность работает против него же. Ведь если акции МММ и других частных финансовых пирамид покупались добровольно, то ГКО (государственные кредитные обязательства) во многом навязывались банкам, фондам и предприятиям самим же правительством под гарантии, оказавшиеся блефом. Особенно пародийным выглядит на этом фоне возвращение премьера Черномырдина, символа предыдущего периода, настоящего создателя рухнувшей пирамиды.

Исчезновение доллара как якоря спасения в море экономической неопределенности нервирует достаточно широкие слои москвичей, не знающих, как в новой ситуации страховать себя против своего главного врага – государства. Разговоры о "дедолларизации экономики" воспринимаются как вторжение в наиболее интимную сферу их экономического поведения. В провинции "дедолларизация" переживается менее остро, так как там уже давно царит натуральный обмен, бартер, и люди месяцами живут не только без долларов, но и без рублей.

Кризис выходит далеко за пределы экономики: он порождается катастрофическим дефицитом доверия, отсутствием какого-либо общественного договора. При этом я, несмотря на видимость противоположного, не стал бы идеализировать ни одну из борющихся сторон: ведь если правила игры создаются правительством, *условия* этих правил коренятся в способе жизни среднего человека. Рационализуя это-

го человека в качестве жертвы, мы снимаем в него ответственность за происходящее и способствуем бесконечному воспроизведению одного и того же. Любопытно, что даже молодые политики-технократы – Кириенко, Немцов, Чубайс – говорят о кризисе доверия как о чем-то второстепенном и производном, добавляя, что в России имеет место *всего лишь* кризис доверия, а не *настоящий* кризис. В то же самое время в экономически процветающих США полномасштабный кризис вызывает признание президентом "неподобающих" отношений с практиканткой Белого дома. В России, утверждают газеты, на такую мелочь никто не обратил бы внимания. Но тем не менее и в этой стране есть такая степень дефицита доверия, которая делает невозможным функционирование социальной системы, и, похоже, ельцинская Россия вплотную подошла к этому порогу. Она буквально распадается, крошится под воздействием анархии как снизу, так и сверху, под давлением миллиардов невыполненных обязательств. Если предыдущие витки спирали затрагивали, повторяю, прежде всего рядовых граждан, вместе с тем консолидируя все более узкий правящий класс, то на нынешнем витке банкротство грозит всем крупнейшим банкам страны (на неадекватном экономическом языке это именуется "кризисом ликвидности"). Непонятно, на кого можно опереться на следующем спекулятивном витке.

В эпицентре этого порочного круга находится президент Ельцин, избранный с колоссальными финансовыми затратами всего два года тому назад усилиями банкиров-олигархов, которые считали, что тем самым они покупают мандат на контроль над Россией еще, как минимум, на четыре года. Теперь они видят, что просчитались, но не в силах что-либо изменить.

Впрочем, одно изменилось необратимо – кризис доверия затронул фигуру президента. Наделенный Конституцией огромной властью, он многие годы ни за что конкретно не отвечал. Прежде в кризисные моменты всплывала формула "его подставили", кого-то снимали с должности, и на этом дело кончалось. 17 августа этот механизм явно не сработал. Более того, фигура президента впервые стала привилегированным местом инвестиции фрустрированных, нереализованных желаний массы людей. Можно говорить в связи с этим о феномене ярко выраженной десублимации. Окружение президента не поняло логику символического: чем больше эти люди отрицали вину своего хо-

зяина за конкретные провалы, покорно повторяя "это мы его подставили", тем больше они раскручивали бумеранг символической вины. В конце концов он угодил прямо в того, кого привычно стремились выгородить. Невиноватый ни в чем конкретном, он – в согласии с логикой символического, которая свалила в XX веке не одного монарха – стал виноват во всем. Тон прессы, столь угодливой еще полгода назад, резко изменился. О президенте стали писать как о наркомане, "подсаженном на иглу власти", как о марионетке своего семейного клана, как о безответственном и асоциальном существе, озабоченном исключительно собственным политическим выживанием и ради этого готовым принести в жертву интересы всех остальных. Промахи, которые раньше ретушировались, теперь стали подчеркиваться, служить предметом насмешки. Всего за три дня до кризиса Ельцин заверил сограждан, что девальвации не будет, а в самый его разгар заявил, что он чувствует себя счастливым и т. д. и т. п.. Несколько дней тому назад он, появившись на телевидении, не нашел ни слова сочувствия для миллионов фрустрированных соотечественников, не дал анализа ситуации, зато непреклонным тоном озвучил мысль, что власть отдавать не собирается, а отнять ее у него, "зная его характер", невозможно.

Такое поведение представляется особенно неадекватным на фоне охватившего общество кризиса. В маленьком сельском магазине я заметил, как стоящие в очереди люди нервно, как бы инстинктивно, вынимали из кармана деньги, чтобы через мгновение, – как бы убедившись, что они существуют – снова засунуть их в карман. Один мужчина несколько раз повторил своей дочери, что купит ей мороженое. Они действительно купили буханку хлеба и два мороженных. Выходя из магазина, мужчина сделал рукой жест, который в России означает "эх, была не была!", снова подошел к прилавку и сказал продавщице, что хочет взять еще ... четыре сосиски. Решившись купить ребенку вторую порцию дорогого западного мороженого, он, видимо, внутренне отказался от этих сосисок, но потом передумал и купил их на последние деньги. Вообще очередь растаяла на удивление быстро: покупали ограниченный набор самых необходимых продуктов.

В этой напряженной ситуации, к созданию которой они прямо причастны, и Дума, и остатки правительства, и "президентская вертикаль" борются исключительно за сохранение и расширение своих полномочий, стараясь перевалить ответственность на других. Не в си-

лах поставить диагноз, они уже озабочены тем, кто будет лечить и кто будет отвечать за последствия лечения (это не должно быть одно и то же лицо: таким образом можно действовать радикально и одновременно безответственно). За скальпель готовы взяться даже такие одиозные фигуры, как В. Жириновский. Говорят о продолжении курса реформ, не замечая, что для громадного большинства это словосочетание уже стало пустым звуком. Оно как никогда остро чувствует себя объектом эксперимента, который не сулит ничего хорошего.

Иногда недоверчивость людей принимает гротескные формы. Несколько дней назад в метро я пришел на помощь старушке, которая с трудом поднимала вверх по лестнице тяжелую тележку. Мой поступок, казалось, застал ее врасплох: пожилая женщина не выпускала тележку из рук, все время повторяя " Спасибо, сынок". Так мы и поднимались – я тащил за собой тележку вместе с ее обладательницей. Очевидная растроганность не мешала старушке все время держаться за тележку, наполненную дешевыми овощами; ее слова благословляли, но руки не отпускали сокровище – она явно боялась, что я убегу с ее картошкой.

Возможно мы присутствуем при конце непродолжительного, но очень интенсивного периода в русской истории. Что же впереди? Возможно возвращение России к большей опоре на собственные ресурсы, даже к автаркии. Этот шаг может найти поддержку у тех – а их немало – кто хочет что-то производить в условиях относительного протекционизма (несравнимого, конечно, с агрессивной замкнутостью коммунистического периода). Этот шаг вероятен при приемнике Ельцина, так как возможности развития спекулятивного капитала в этой стране, похоже, исчерпали себя. Этот капитал выполнил важную разрушительную работу, но не породил ничего похожего на средний класс и гражданское общество. В свете русского опыта вера в универсальность рыночной модели так же наивна, как и предшествовавшая ей вера в научность плановой экономики. Воцарение автаркии, возможно, будет сопровождаться националистической риторикой, но после финансового террора последних лет новый режим может ввести более щадящие правила игры.

Крушение ставшего финансовой пирамидой государства в числе прочего преподносит и нравственный урок. Нельзя называть либеральным режим, при котором олигархи возглавляют учреждения-банкро-

ты и держат свои деньги в западных банках, анархия и озверение стремительно нарастают, при котором значительная часть населения находится за гранью нищеты – нельзя, даже если при нем существует относительная свобода прессы, собраний и дискуссий. В своих крайних проявлениях экономический террор по последствиям вполне сравним с террором политическим, и неприятие первого вовсе не означает неизбежную регрессию ко второму. И чем больше будут навязывать эту альтернативу, тем упорнее общества (не только русское) будут искать третьего пути.

Рыбки в мутной воде.

(ноябрь 1998 г.)

После обвала 17 августа московские средства массовой информации не устают повторять, что главной жертвой разразившегося кризиса стал нарождавшийся российский средний класс. Концентрировался он прежде всего в Москве и Петербурге и состоял из "челноков", мелких торговцев, банковских служащих, брокеров, журналистов, имиджмейкеров, специалистов по рекламе, менеджеров и представителей ряда других специальностей. За последние два с половиной месяца его ряды катастрофически поредели – импорт стал невыгоден из-за падения курса рубля, банки, газеты, журналы, рекламные агентства проводят массированные сокращения штатов, если не закрываются вообще. Во многом этот класс обслуживал "новых русских", западных предпринимателей и политический истеблишмент. Сейчас нужда в его услугах резко сократилась и десятки тысяч его представителей пополнили ряды безработных. На Западе средний класс является синонимом гражданского общества, гарантом того, что оно будет ориентироваться на разрешение конфликтов с помощью права. В русском же понимании средним этот класс являлся исключительно по уровню доходов и стилю потребления; его правосознание было приблизительно таким же, как и правосознание других слоев общества, как более, так и менее обеспеченных. К тому же способность этой относительно узкой прослойки людей влиять на остальную часть общества была крайне ограниченной. Этот слой так или иначе обслуживал богатых и зависел от них; у него не было автономной этики и экономической самостоятельстности. Если развитое гражданское общество уничтожить очень трудно, если вообще возможно, то российское государство обрушило свой средний класс в один день как карточный домик.

Все это не значит, что обвальное падение этого класса обошлось без последствий для общества. Ведь именно средний класс был главным достижением и опорой ельцинского режима и отстаивал его позитивный образ. Первым заметным следствием резкого сокращения его ря-

дов стало дальнейшее ослабление и так рыхлых правовых механизмов, нарастание анархии, оголение всех властных структур и прежде всего президентской вертикали. Образовавшийся вакуум быстро заполняется многочисленными экстремистами. Растет число откровенно профашистских изданий. Раньше считалось, что вокруг них группируется небольшое число психически неуравновешенных людей, не играющих в общественной жизни никакой роли. Теперь это явно не так. В интервью газете "Завтра" бывший начальник охраны Ельцина Александр Коржаков, которого три года назад считали вторым человеком в неформальной политической иерархии, пытается объяснить пристрастие дочери президента Татьяны к банкиру Березовскому. Ларчик, по его мнению, открывается удивительно просто -- ее мать, жена Ельцина, оказывается, тайная еврейка: "Когда произошло сближение Березовского, Смоленского, Гусинского, Ходорковского, Юмашева, Филатова – все это люди одной национальности – я сначала не мог понять Таню: как она часами может выслушивать того же Бориса Абрамовича [Березовского -М. Р.]. Меня от его запаха только выворачивает наизнанку, а она его часами слушать готова. Увы, материнские гены. Родное окружение".[1] Если такое можно говорить о дочери президента, официально являющейся его советником, то что же ожидать рядовым гражданам, если их "запах" покажется невыносимым этому или другому генералу? Думаю, ничего хорошего.

Недавно генерал Альберт Макашов на многолюдном митинге заявил, что в случае чего "утянет с собой не менее десяти этих жидов, по списку". Этот генерал – член коммунистической фракции Государственной Думы. Другие члены Думы обвинили его в разжигании межнациональной розни и обратились в прокуратуру. Но для привлечения к суду требуется лишить Макашова депутатской неприкосновенности, к чему нынешняя Дума явно не готова. Более того, тринадцать других депутатов поддержали его, обратившись с открытым письмом к прокурору и министру юстиции. Оказывается, виноват не генерал, а "международные сионистские круги", стремящиеся к развалу России. "Проанализируйте настроения в обществе, – призывают они прокурора и министра – и убедитесь, как ежедневно с экрана телевидения журналисты, сатирики, актеры и литераторы, в основном одной национальности, ерничают над страной, над культурой...коверкают русский язык, издеваются над традициями и национальными особенностями

народа".[2] Знакомые фашистские мотивы, по которым нетрудно судить об уровне правосознания самих законодателей. Что же говорить о тех "патриотах", которые не отягощены депутатством? "Браво, генерал! Держитесь. Враги в панике. Вот что значит называть вещи своими именами!"[3] Я не удивлюсь, если при такой поддержке Макашов в ближайшее время разразится еще более оскорбительной бранью в адрес тех, кого он считает своими врагами.

Другая иллюзия относительно современных расистов и антисемитов в России – представление о том, что они действуют вне правового поля. Это не так. Все процитированные мной газеты зарегистрированы в Комитете по печати Российской федерации, и если продаются из-под полы, то скорее по финансовым, чем по политическим соображениям. Тем самым государство делит с ними ответственность за публикуемые материалы экстремистского содержания. А в таких материалах нет недостатка. "Мировой иудейской закулисой" в них именуется кто угодно, от мэра Москвы Лужкова до Жириновского. Если кого-то нельзя прямо назвать евреем или "полукровкой", прибегают к аллегориям. Например, коммунист Зюганов, по утверждению газеты "Я – русский", является марионеткой...Ротшильдов: "Тут уместно вспомнить, что еврейский банкирский дом Ротшильдов (Ротшильд по-английски значит "красный щит") активно финансировал международное революционное движение и, более того, дал ему символ – красный флаг (красный щит). Зюганов демонстрирует верность коммунистов знамени Ротшильда". С помощью подобных аллегорий оказывается возможным "доказать" что угодно.

Поэтому глубоко ошибаются те, кто полагает, что от недееспособности президента Ельцина можно отмахнуться как от назойливой мухи – оно-де не влечет за собой серьезных последствий. Правовой нигилизм растет в российском обществе чрезвычайно быстрыми темпами, более того, власти начинают этот нигилизм культивировать из-за своей неспособности разрешить социальные проблемы правовым способом, выполнить свои обязательства перед гражданами. Вчера один 15-летний "skinhead" заявил с экрана телевизора, что своим патриотическим долгом он считает выдворение из Москвы всех чернокожих, желтых, кавказцев любыми средствами, включая насилие. А буквально через пару часов, как бы иллюстрируя эти заявления, чернокожие студенты Университета дружбы народов им. Лумумбы рассказывали по

радио "Свобода" о том, как банды подростков безнаказанно избивали их прямо в автобусах и около общежития, в непосредственной близости от стражей порядка, которые никак на это не реагировали.

Итак, о среднем классе неслучайно стали активно говорить после резкого сокращения его численности. В России появился новый тип пострадавших от реформ, который еще не нашел своего места в политическом спектре страны. Пока он не спешит объединяться с другими пострадавшими, но это вовсе не значит, что нанесенная ему травма пройдет без следа. С его разорением власть лишилась возможности сколько-нибудь убедительно говорить от имени общества, обрести хотя бы видимость всеобщности. В кризисной ситуации правительство пытается вести дела с брежневской неторопливостью потому, что, имея исключительно поддержку политиков, не решается действовать и принимать решения, которые обречены быть непопулярными. Цены пока падают по причине крайне низкого платежеспособного спроса. Многие товары, например книги, продаются в убыток или в лучшем случае по себестоимости. Но это означает, что инвестировать скоро будет просто нечего и производство остановится.

В этой ситуации люмпенизация представителей разорившегося среднего класса очень опасна – она может открыть экстремистам путь к власти. Социальные связи в данный момент настолько слабы, что параноидальная связность идеи всемирного заговора банкиров-сионистов может соблазнить значительно большее число людей, чем еще пару месяцев тому назад. Логика отчаяния иногда канализуется именно наиболее безответственными маргиналами, берущимися "объяснить" буквально все. 16-летняя девочка из Рыбинска недавно покончила жизнь самоубийством. В предсмертной записке она попросила своих родителей похоронить вместе с ней собранную ей коллекцию вещей, связанных с именем Майкла Джексона и написать на могиле "Я люблю тебя, Майкл". Вот какое объяснение дает этому одно из "патриотических" изданий: "... русская девочка убила себя из-за преклонения перед негром – выродженцем и педофилом, который заживо разлагается после операций по изменению цвета кожи (природу-то не обманешь!). Еврейский режим при помощи своего окаянного "телеящика" сеет в сознании русской молодежи семена безумия, стремясь лишить Россию будущего". Я так много цитирую потому, что если я буду пересказывать своими словами, мне просто не поверят – подума-

ют, что я придумываю или преувеличиваю. Увы, в этом нет необходимости... Мы не знаем, почему погибла поклонница Майкла Джексона – возможно, ее кумир тут не при чем. Но "патриотам" все и так ясно: причина – американский "педофил", первопричина – "еврейский режим", пропагандирующий "педофила".

В стабильной социальной ситуации простота экстремистских конструкций неопасна – какое-то количество подобных людей найдется на периферии даже самых благополучных обществ. Проблемы начинаются тогда, когда общество катастрофически плохо выполняет обязательства перед своими гражданами, и сколь угодно неправовое и анархическое действие может сойти за социальный протест. Если президент упорно уклоняется от исполнения своих обязанностей, если правительство не платит бюджетникам зарплату, если банки обирают вкладчиков и иностранных кредиторов, считая себя обобранными государством (все это неправовые действия), то почему нельзя оскорблять достоинство других людей? В глазах иных это может сойти за социальный протест. Другие скажут, что на фоне грандиозных спекуляций и коррупции на всех этажах власти человеческое достоинство – такая мелочь, что из-за него не стоит поднимать шум. Тем более что добиться страведливости в таких делах по суду в России вещь почти невозможная – не только для рядовых граждан, но и для "олигархов": умыкнуть миллиард оказывается легче, чем защитить свое человеческое достоинство. Маркиз де Кюстин не знал, что такое "оккупационный режим" или "мировая иудейская закулиса", но уже 160 лет тому назад он писал: "В России всякий бунт кажется законным, даже если это бунт против разума...Ничто из того, что служит угнетателям, не считается здесь достойным почтения, даже то, что в других странах именуют святым. Там, где порядок лежит в основе угнетения, люди идут на гибель ради беспорядка; там все, что ведет к мятежу, принимается за самоотверженность".[4] Там, где в основе угнетения лежит беспорядок, возникает соблазн противопоставить ему полную анархию. Тут на помощь приходят упрощенные объяснения и старые травмы.

Россия платит в последние годы огромную цену за зоологическое хищничество и некомпетентность своих элит, которые являются патриотическими только на словах. Национальность вовлеченных в этот процесс лиц не имеет значения. За последние годы у расистов не появилось ни одного нового аргумента – все проповедуемое ими извест-

но со времен сфальсифицированных "Протоколов сионских мудрецов". Но одни и те же аргументы в разных ситуациях воздействуют по-разному, и в России сейчас они особо опасны, потому что все шире становится правовая "черная дыра". Только ленивый не оскорбляет сейчас президента России, только ленивый не обвиняет в коррупции российское правительство, только наивный верит, что сможет отстоять свои права в суде. В такой ситуации здравый смысл не срабатывает, а логика отчаяния, подсказывает нам история, в том числе не столь уж давняя, иногда толкает людей на такие опрометчивые поступки, что сами они потом долго раскаиваются, не понимая, как они могли совершить такое.

Примечания:

1. "Завтра", №43 (256).
2. "Русский вестник", №41-42, 1998.
3. "Я – русский", №17, X, 1998.
4. А. де Кюстин. Россия в 1839 году, М., Издательство им. Сабашниковых, 1996, том II, с.172.

Дед Мороз запаздывает
(февраль 1999 г.)

Как это ни парадоксально, именно провалы и неудачи последних лет косвенно указывают на то, что в России существует *негативная демократия*, состояние, исключающее навязывание воли одного или немногих всем остальным. Число сил так велико, что они нейтрализуют друг друга, не приходя к согласию или подобию общественного договора. Общество напоминает внезапно ставшего бессильным и тощим человека, который еще не научился управлять новым весом и по инерции продолжает вести себя как силач. В ослабевшем теле продолжают жить инстинкты мощной имперской державы, но при малейшем их проявлении тело властно указывает на свои новые, ограниченные возможности. В этой ситуации неслучайны постоянные поиски равновесия, компромисса – ведь баланс так хрупок, а за каждый рецидив имперскости приходится дорого платить. *De facto* равновесие обусловливается тем, что никто не в силах воплотить свои агрессивные намерения в жизнь. Законодательная и исполнительная ветви власти примиряются, но условием примирения является паралич политической воли; в результате никакие проблемы не решаются. А стоит взяться за решение проблем – исчезнет хрупкое равновесие.

Бросающаяся в глаза особенность негативной демократии заключается в сосуществовании в едином пространстве еще недавно строго иерархизованных социальных слоев. Символом этой ситуации представляется мне Евгений Примаков, поющий "Катюшу" на экономическом форуме в Давосе перед аудиторией, состоящей в основном из русских банкиров, чиновников и журналистов, робко подпевающих своему премьер-министру. Если вспомнить недавнее стояние на мавзолее членов Политбюро и "железных наркомов" во время массовых демонстраций, зрелище поющего главы правительства покажется даже трогательным, явным признаком либерализации.

Все договариваются, все хотят согласия, но никто не хочет уступать, считая другую сторону более слабой или менее легитимной. Мно-

гочисленные политологи и журналисты, еще недавно обвинявшие Ельцина во всех грехах, теперь усматривают в его постоянных болезнях высшую политическую мудрость, глубокий смысл, как если бы болезни эти были исключительно дипломатическими и придумывались специально для того, чтобы соответствовать послекризисной ситуации. Причина и следствие меняются, таким образом, местами, и, самое главное, многие начинают верить в совершившуюся подмену. Последние недели президент появлялся в кадре одетый по-домашнему, в шерстяной кофте и рубашке с расстегнутым воротом, всем видом изображая неформальность и виртуальность своего правления. При этом камера нервно пробегала его лицо, стараясь на нем не задерживаться и предпочитая дальние планы. Контрастом этой "домашности" Ельцина служит строго-официальная одежда премьера, главы администрации и других приезжающих с докладом чиновников. Телеаудитории хотят внушить мысль о том, что главе государства и не надо делать резких движений; все, мол, пройдет само собой, без особых усилий с его стороны. Расчет здесь, конечно, на традиционный русский фатализм, но, кажется, новые имиджмэйкеры президента склонны его переоценивать, и у многих телезрителей такие "успокаивающие" кадры отбивают и так слабый интерес к политике (впрочем, возможно, и это входит в их рассчеты, о которых можно только догадываться). Правительство подражает президенту. Два дня тому назад Дума приняла бюджет на 1999 год, составленный, как отмечают наблюдатели, так, как если бы из-за рубежа в Россию устремлялось множество Дедов Морозов с подарками: если хоть один из них не успеет вовремя, бюджет можно будет выкинуть в корзину. Излучаемое членами правительства спокойствие и их "терапевтическая" установка по отношению к общественному мнению приносят разве что кратковременный результат. Тем более что недавняя попытка Примакова достичь общественного согласия за счет замораживания на ближайшие полтора года части полномочий президента, парламента и правительства вызвала явное раздражение президента и Думы. "Ввиду безнадежности, – сказал как-то Адорно, – нам дана надежда". В Москве 1999 годы мы присутствуем при настоящем цветении надежд, которые, соединяясь, превращаются не в разноцветный рождественский шар, а в серую безнадежность. "Ввиду слишком большого числа надежд, – можем, перефразируя франкфуртского философа, сказать мы, – нам дана безнадежность".

Примаков перенес в политику приемы дипломатии и достиг относительного успеха, успеха, который омрачает лишь одно обстоятельство: удержание достигнутого хрупкого равновесия поглощает все силы правительства. Но скоро ему придется выбирать между кредитами МВФ, заложенными в бюджет, и поддержкой коммунистического большинства Думы, которое будет противится любому "монетаризму", особенно в преддверии выборов, и тогда заботливо выстроенный премьером карточный домик подвергнется суровому испытанию.

Нынешняя Россия – и в этом ее специфика – живет как бы в двух телах: исключительно мощном *воображаемом* теле имперского типа, усилившемся в результате эксцессов советского периода, и в крайне хилом, негативном, но *реальном* теле демократии, которым она пока еще к тому же очень плохо владеет. Имперское тело пребывает в постоянной истерике, оно вопит о свалившихся на него несчастьях, клянет весь мир и жаждет реванша, даже не подозревая, что является воображаемым. Находясь в полуобморочном состоянии, которое успешно имитируют президентская и парламентская вертикаль, оно ошибочно представляется себе единственной реальностью. Последние месяцы в Москве слышны почти исключительно голоса представителей имперского тела. Что же касается тела демократического, то после кризиса 17 августа оно совершенно онемело. Выяснилось, что за гладкими речами представлявших его реформаторов скрывался разгул анархической, не знающей удержу в своем хищничестве стихии, имеющей мало общего с цивилизованным рынком. Из того, что слово "демократы" в России мало кто сейчас употребляет без кавычек, правые и левые (в местном контексте эти названия крайне условны) экстремисты сделали вывод, что пробил их час. Единственным плацдармом демократических сил, не утратившим влияния на электорат, остается блок "Яблоко", давно размежевавшийся с командой Ельцина и предсказывавший провал ее экономического курса даже более энергично, чем коммунисты. Основной слабостью коммунистов является то, что их программа предполагает полнейшую автаркию России от всего остального мира, не достижимую даже в сталинский период; ее следствием будет быстрый коллапс.

Пока же негативная демократия существует в форме анархии, допускающей весь спектр возможностей: от фашизма до левого сталинского экстремизма и их многочисленных симбиозов. Средняя часть

спектра развита слабо. Недавно все телеканалы показали марш сторонников профашистской организации РНЕ. Затем опросили прохожих, как они относятся к фашизму в России. Большинство было против, но приводило один-единственный аргумент: противно смотреть на парней со свастиками в стране, более полувека тому назад победившей немецкий нацизм. Как будто победа в войне обеспечивает постоянный иммунитет, как будто сталинизм не был не менее опасным вирусом, нежели нацизм! Никто не сказал, что фашизм неприемлем на принципиальных основаниях, что он противоречит конституционному устройству государства. К тому же сами русские фашисты отмежевываются от своего немецкого и итальянского прототипа.

Значительная часть людей в нынешней России предполагает главным определением своей свободы свободу от государства. Это косвенно доказывает, что государство не выражает всеобщую волю, что это не более как огромная полуприватизованная корпорация, преследующая во всех сферах жизни свой частный интерес. Государство, не верящее в собственную легитимность, не может убедить в этом своих граждан. Периодически им овладевает эпидемия самоочищения, и тогда несколько чиновников и бизнесменов перекочевывают в следственный изолятор по обвинению в коррупции. Но все уверены, что они попали туда потому, что лишились высоких покровителей и стали слабым звеном в системе; поэтому над ними устраивают что-то вроде показательных процессов. Да, они совершили преступления, в которых их обвиняют, но почему же арестовали именно их – ведь другие делают и не такое, а находятся на свободе.

Россия во многом остается страной тайн, непроницаемых для внешнего наблюдателя. Например, как можно жить, когда тебе месяцами не выплачивают мизерную зарплату, которой при самых скромных потребностях хватает на 4-5 дней? Едва ли люди могут жить только от приусадебных участков. Понятно, что бартер, натуральный обмен доминирует в русской провинции, но понятно и то, что он невозможен без большого числа скрытых денежных потоков, которыми, не декларируя этого, пользуется большинство живущих там людей. Зарплата – один из таких потоков. К ней надо прибавить черный рынок; "вторую экономику", составляющую почти половину первой и в отличие от нее работающую; западные гранты, от которых зависит значительная часть интеллигенции; доходы от нелегальной торговли и т. д.

Россиян не просто поделить на хороших и плохих; часто очень бедные (не в упрек им будет сказано) люди прибегают в целях выживания к тем же самым средствам, что и богатые, и отличаются от последних только куда более скромными возможностями.

Парадоксальными образом в России нет ни криминальности, ни коррупции. Но нет их не от недостатка, а от избытка; став структурными, они не могут рассматриваться как периферийные явления, нуждающиеся в искоренении. Достаточно почитать газеты, чтобы убедиться, что огромное большинство фирм ведут двойную, если не тройную бухгалтерию, потому что им надо вводить в заблуждение не только государство. Если своеобразные критерии честности в таком бизнесе и существуют, то они вырабатываются за пределами закона. Короче, статус правовых получают неправовые нормы. Крайне редко встречается несчастный мелкий бизнесмен, задавленный налогами; огромное большинство умеет уклоняться от налогов. Только описав эту систему изнутри, поняв управляющие ею негласные нормы, имеющие силу закона, можно пытаться ее реформировать. И только на очень продвинутой стадии реформирования системы мы сможем говорить о коррупции, криминальности, лоббизме и уклонении от налогов (а следовательно, и невыплате зарплаты) как о более или менее маргинальных явлениях.

Пока же определить природу государственного строя России довольно сложно. Президент наделен огромными полномочиями, которыми он не решается пользоваться ввиду шаткости своего положения, чтобы, как стало принято говорить, "не раскачивать лодку". Но поступиться ими он также не готов. *De facto* часть этих прав переходит к лидерам региональных элит. Дума не принимает ряд ключевых законов (например, о приватизации земли, допущении иностранных банков). Уже принятые законы плохо выполняются из-за слабости судебной системы. Бюрократия лишь по видимости всесильна; на самом деле она всего лишь способна хорошо обеспечить себя материально, в том числе за счет связанных с ней предпринимателей; но этого она достигает в ущерб основной части населения, которую почти не контролирует. Богатея, она утрачивает остатки морального авторитета, теряет лицо. Значительная часть населения также пребывает в сфере нелегальности, где после 17 августа резко обострилась борьба за скудеющие ресурсы. Заработки упали в среднем в три раза.

Опросы устойчиво показывают, что около половины россиян хотят, чтобы их страна двигалась в сторону Европы. К сожалению, за последние месяцы они "онемели", лишившись большей части старых лидеров, так что можно говорить о них как о *great silent majority*. Западные финансовые институты, в частности руководство МВФ недавно признали, что под видом реформ деньги вкладывались в борьбу с политической оппозицией, т. е. фактически эти институты были силой во внутриполитической борьбе. Неслучайно прекращение финансирования совпало с уходом реформаторов. Демократия чрезмерно отождествлялась с фигурой Ельцина и с его окружением. Реформаторами называли тех, кто боролись с коммунизмом... по-коммунистически. В течение восьми лет им удавалось убеждать Запад в том, что Россия является полем великой борьбы между свободой и тоталитаризмом. На самом деле реформаторам следовало сначала доказать свою внутриполитическую жизнеспособность, а потом уже претендовать на кредиты.

Весной 1993 года я жил в Итаке, университетском городке в штате Нью-Йорк. Когда началось противостояние Ельцина и парламента, местное телевидение захотело взять у меня интервью в связи с событиями в Москве. К тому времени Клинтон уже твердо встал на сторону российского президента. Я сказал в беседе с журналистом, что не связываю особых надежд ни с парламентом, ни с президентом, и вообще полагаю, что ельцинское поколение слишком связано с советским периодом, чтобы провести радикальные преобразования, что свои надежды на изменения я возлагаю на значительно более молодых политиков. Журналист удивился моей точке зрения, похвалил мой английский и сказал, что завтра интервью будет показано в его программе. Я, конечно, включил местный канал в нужное время, и что же я там увидел? Конгрессмен от штата Нью-Йорк озвучивал точку зрения, почти по всем пунктам совпадавшую с официальной. Интервью так и не было показано. Я понял, что даже в такой демократической стране, как США, ради "высших соображений" чьей-то позицией вполне можно пренебречь.

Логика войны: вид из Москвы
(май 1999 г.)

Если раньше тему для письма я находил или выдумывал сам, то на этот раз меня посетило неприятное ощущение, что выбора нет, тема автоматически навязывается извне. Избери я что-то другое – это будет выглядеть ненатурально.

Бомбардировки Сербии стали важнейшим фактором во внутренней политике России. Из множества тупиков – невыплата зарплат, распад банковской системы, коррупция, спад производства – с началом войны наметился фантомальный выход. Столь же дружно, как отцы и деды нынешних россиян клеймили "банду Тито", сами они, включая тех же отцов и дедов, почувствовали в себе готовность встать на защиту "сербских братьев". И пусть мало кто из них видел серба, пусть большинство является православным разве что по названию – это не только не вредит экзальтированно переживаемому братству, но и впервые делает его возможным. Под видом мифического древнего братства Россия переживает полное овнешнение недавней незалеченной травмы. Как и сербы, русские были ядром распадающейся империи, еще недавно казавшейся монолитной. Поэтому лозунг "Сегодня Белград, завтра Москва!" повторяется многими как заклинание. По той же причине о геноциде в Косово говорится меньше, чем о воздушных налетах НАТО на Сербию и Черногорию.

Конечно, мало кто здесь верит, что Москву действительно будут бомбить, но сама возможность такого поворота дел переживается как национальное унижение. Парадоксальным образом нападение НАТО на Югославию, а не на Россию или Турцию указывает на ее принадлежность к Малой Европе, которую следует отличать от Большой, пока чисто риторической, Европы до Урала.

В современном русском языке есть трудно переводимые для западного европейца слова. Так, "иномаркой" называется любая машина иностранного производства от новейшего "Ролс-Ройса" до подержанного, двадцатилетней давности "Фиата". Евроремонтом называ-

ется ремонт с перепланировкой, сносом стен, установлением новой сантехники, окон и т. д. На первой стадии евроремонт действительно напоминает бомбардировку: клубы пыли, обломки стен, выбрасываемые трубы. И хотя Запад описывает эту войну в терминах политической хирургии – "оперативное вмешательство", "точечные удары", – в ней можно также усмотреть наиболее болезненный этап евроремонта, за которым, возможно, последуют другие, более "престижные" стадии, которые навсегда отдалят Сербию от России. Если будет реализовываться этот сценарий, нынешнее фантомальное отождествление с Сербией продлится в России недолго.

Но уже сейчас ясно одно: первыми жертвами начавшейся войны становятся демократически настроенные люди как в Сербии, так и в России. Теперь им предстоит защищать Запад от совершенной им политической ошибки. И чем дольше продлится война, тем сложнее будет положение именно этих людей. Чем больше случайных ракет будут попадать в поезда, колонны с беженцами и посольства, поражая сербов, албанцев и даже китайцев, тем мощнее будет звучать припев крайних националистов: "Мы же говорили, что так называемые демократы ради идеалов свободы не остановятся ни перед чем. Сегодня Сербия, завтра Россия!" Надеюсь, понятно также, на кого они будут натравливать дезориентированные массы. Уже сейчас этнические чистки в Косово проводятся, насколько можно судить, в масштабах, которые еще полтора месяца тому назад трудно было себе вообразить. Официальная Россия выступила бы против Милошевича, затей он что-то подобное до начала бомбардировок Югославии. Политики типа Зюганова и Жириновского извлекают из новой ситуации преимущества, превращая неразрешенные внутренние проблемы в псевдоразрешимые внешние.

Очень важны и методы, с помощью которых ведется эта война. Это первая попытка чисто технологической, электронной войны в Европе. НАТО само определяет, что считать военными объектами, что подлежит уничтожению с воздуха. При этом, как выясняется, неизбежно, во-первых, большое число ошибок, а во-вторых, даже если поражается то, что намечено, неизбежны жертвы среди мирного населения. Возникает вопрос о цене человеческой жизни. То, что США и его европейские союзники ценят жизнь своих граждан так высоко, что стремятся обойтись без потерь, само по себе хорошо и является свидетель-

ством гуманизма, если не вступает в силу двойной стандарт, способствующий пренебрежительному отношению к жизни сербов, албанцев, китайцев и других людей. Чем более гуманны провозглашаемые намерения, тем в большее противоречие приходят они со средствами их достижения, и замечать в результате будут *только средства*, рискующие стать собственной целью. Не "хорошие парни" убивают "плохих парней" на экране компьютера, а гибнут люди, вина которых никем не установлена. Т. е. ради предотвращения преступления *и* избежания жертв среди своих военных совершаются преступления, на которые *post factum* безуспешно – потому что речь идет о правовых обществах, для которых должны быть приемлимыми далеко не все средства —пытаются закрывать глаза. Мы присутствуем при очередном —после Вьетнама – провале американской концепции электронной войны, когда нападающая сторона в идеале не несет и не причиняет мирному населению противника никаких жертв. Воевать без жертв среди "своих" (при всей подозрительности этого разделения для истинных демократов) пока можно лишь причиняя плохо контролируемые разрушения и многочисленные мирные жертвы. "Чистая война"(термин Вирилио) остается фантомальной конструкцией, укорененной в определенном типе воображаемого; технически современный Запад к ней не готов.

Средний класс постиндустриальных стран проявляет признаки того, что Славой Жижек удачно назвал "интерпассивностью": не меняя привычный образ жизни, хотят заставить торжествовать справедливость на расстоянии, с помощью безличной силы, совершенного технического устройства. Национализм при этом трактуется как экзотическая болезнь, от которой надо лечить, если необходимо, посредством хирургического вмешательства. Ни о каком единоборстве врача и больного не может быть и речи; подобное уравнивание шансов было бы высшей несправедливостью (большей, чем та, которую хотят ликвидировать) – опасности подвергалась бы тогда жизнь врача. Т. е. справедливость хотят восстановить, не прибегая к высшей несправедливости, какой был бы поединок больного и врача. Это радикально меняет традиционные представления о войне как жертвенном противостоянии воинов и народов (представьте себе, к примеру, Ахилла, поражающего Гектора на расстоянии с помощью лазерного оружия, – что было бы в таком случае предметом повествования в "Илиаде"?). Если зло крайнего национализма должно быть обезврежено еще до сопри-

косновения с ним, то в не до конца виртуализованном мире – а наш мир именно таков, – это означает, что очень низко оценивается жизнь не только носителей этого симптома (даже если реально они не совершили никакого преступления), но и жизнь тех, кто оказался рядом с ними (например, китайских журналистов и дипломатов). Следующий шаг: снимается ответственность, все списывается на техническую ошибку. Но попытка анестезировать чужую смерть только вызывает дополнительное раздражение у тех (а их миллионы), кто не готов принять концепцию войны как превентивной хирургии опасных социальных заболеваний. Когда одна часть мира закрывает глаза на темные стороны своего бессознательного, другая – что несправедливо, но и неизбежно – начинает видеть *только* их.

Возникший после 1945 года мировой порядок позволял избегать столкновений, признавая суверенитет государств над своей территорией (хотя мы прекрасно знаем, что некоторые из них на ней вытворяли) и необходимость мандата ООН на вмешательство в случае международного конфликта. Югославская война отменяет этот мировой порядок и открывает опасное пространство импровизации, в которое могут внедриться самые разные силы.

С началом бомбардировок русская внешняя политика приобрела черты явной шизоидности: одновременно ведутся переговоры о кредитах МВФ и создаются союзы против Запада, говорится о перенацеливании ракет и принимается гуманитарная помощь от Европы и США. Ожил много месяцев болевший президент Ельцин. Сегодня он отправил в отставку правительство Примакова. Завтра в Госдуме начнутся слушания об импичменте самого Ельцина, импичменте, который теперь имеет все шансы на успех (особенно по пункту обвинения о развязывании войны в Чечне). Но если Дума трижды отвергнет кандидатуру нового премьера, она по той же Конституции может быть распущена Президентом. У всех ветвей российской власти есть возможность поставить друг другу мат, хотя по правилам политической игры это, конечно, невозможно. Начинается игра без правил, первым заложником которой оказался Генеральный прокурор: он отстранен от должности Президентом, но оставлен в ней Федеральным Собранием. В результате в стране есть два Генпрокурора, ни один из которых не легитимен. И тот же процесс в ближайшее время рискует охватить всю государственность России, сделав ее недееспособной.

В этой обстановке фантом русско-сербского православного братства особенно опасен, потому что он – едва ли не единственное, что цементирует общество. Неважно, что более полувека Югославия находилась за железным занавесом и была связана с Европой куда теснее, чем с СССР. В крайних ситуациях народы доверяют галлюцинациям больше, чем историческим фактам. На материале югославской войны Россия уже сейчас пытается изживать собственный чеченский синдром и сложные отношения с другими мусульманскими регионами (например, с Татарстаном). В итоге снижается ее внутренняя стабильность, возникает угроза распада на региональные княжества. Изживаемая с помощью фантомов реальность возвращается в виде усугубляемой травмы, вызывающей к жизни более радикальный фантом и т. д. На примере Югославии Россия прозревает в форме будущего свое недавнее прошлое: она страшится не только того, что может совершиться, но и того, что уже совершилось.

Недавно я прочитал в московской "Независимой газете" статью Жижека о Югославии. Она начинается историей о человеке, который посылал другим письма-бомбы. И вот одно такое письмо случайно вернулось к нему и он его вскрыл; письмо взорвалось в руках его изготовителя и он погиб. Именно это, продолжает Жижек, произошло с сербским президентом Милошевичем: много лет он рассылал смертоносные письма другим, и вот одно из них возвратилось к нему и может стать причиной его смерти.

Это сравнение неправомерно, если, конечно, мы не отождествляем Милошевича со всем сербским народом и даже со случайно оказавшимися на сербской территории людьми. Письма-бомбы разрываются над головами обычных людей, "вина" которых состоит в том, что им не повезло оказаться в этом месте. Создавшуюся ситуацию нельзя персонифицировать и ликвидировать в имени собственном сербского президента – она намного сложнее. В Югославии цивилизованный мир воюет против самого себя, против принципов, запрещающих достигать целей (пусть самых благородных) любыми средствами. Если аморально приводить в исполнение вынесенный судом смертный приговор, то насколько же аморальнее исполнять невынесенный приговор случайному человеку и задним числом оправдывать его? Достойно ли это правовых обществ?

В отличие от Жижека, я не считаю, что сербов надо было бомбить

раньше и больше. Я не могу назвать ни одной проблемы, которая была бы решена с помощью бомбардировок широко понимаемых военных объектов. Зато многое в мировой политике за последние пятьдесят дней оказалось безнадежно запутанным. Она стремительно лишается нравственных ориентиров, за которые на риторическом уровне ведется война. Посредством новейших технологий фактически утверждается древнее право сильного властвовать над остальными: то, что мотивацией действий становится гуманизм, не делает гуманными сами действия.

Просчитать все последствия изменения мирового порядка сейчас, думаю, не возмется никто. Ясно, что они будут достаточно глубокими для всех вовлеченных в конфликт сторон и для многих наблюдателей, в том числе и для России.

Понятно нежелание НАТО терять лицо перед лицом заурядного диктатора, чей режим совершил множество преступлений. Но вопрос о цене победы над режимом Милошевича нельзя игнорировать как несущественный – ведь пирровы победы бывали не только в древности. Жертв геноцида нельзя отделять от большинства жертв бомбардировок – это то же мирное население. Отсутствие намерения убивать служит слабым оправданием.

Я всегда полагал, что политики имеют в виду условность используемого ими языка, невозможность его буквального понимания. Фактически сверхдержавой является страна, обладающая достаточным потенциалом уничтожения. Она может при этом быть коррумпированной, аморальной, с большинством населения, балансирующем на грани нищеты. При Горбачеве этот критерий был изменен под всеобщие аплодисменты, при полном согласии самой России. Но времена меняются. Сейчас в России все чаще раздаются голоса, обвиняющие Горбачева и Ельцина в предательстве национальных интересов, развале армии и т. д. Они же напоминают, что и в нынешнем бедственном состоянии Россия в узком смысле слова является великой державой, страной с огромным ядерным потенциалом. Опасно оставлять ее наедине с этим единственным козырем, который разыгрывают и Ельцин, и его противники. Пока мы еще, к счастью, не находимся на грани большой войны, но язык политики становится все более простым, не исключающим возможности прямого противостояния. И это самый неприятный итог последних полутора месяцев.

Kremlinlove – Kremlingate
(август 1999 г.)

Вглядываясь в нынешнюю московскую политическую сцену, невольно констатируешь: политика, которую президент Ельцин проводил начиная с 1991 года, к настоящему моменту прошла полный круг и обернулась против него. Ее можно назвать политикой контрастов. Неспособные сформулировать содержательные цели, кроме туманных заверений в необходимости демократических реформ, президент и его окружение постоянно нуждались в ком-то, кто их оттенял бы, играя "партию дьявола". В 1993 году, после расстрела Парламента, эту роль сыграл В. Жириновский, а заодно была принята Конституция, наделявшая президента квазимонархическими полномочиями; во время выборов 1996 года ту же роль отвели Г. Зюганову и коммунистам, по контрасту с которым Ельцин представал почти демократическим и уж во всяком случае умеренным лидером. Но к августу 1998 года набор кандидатов на роль "дьявола" окончательно истощился, и ее приходится разыгрывать самому Ельцину. Теперь другие политические карьеры строятся на том, что впадают в немилость к президенту и, будучи отправлены в отставку, набирают максимальное число очков. Премьерам стало важно, как показал опыт сначала Примакова, а потом Степашина, не совершать никаких резких движений, плывя более или менее по течению и дожидаясь отставки, которая окончательно делала их популярными политиками национального масштаба. Успешному исполнению "партии дьявола" способствуют многочисленные болезни президента. Каждое появление на телеэкране лидера, пытающегося жестами рук восполнить катастрофически тающий словарный запас, вызывает шок у большинства россиян, добивая жалкие остатки президентского рейтинга. Результатом является массовая деполитизация электората, на фоне которой под угрозой оказываются даже формальные демократические процедуры: все более настойчиво слышатся разговоры о возможной отмене президентских выборов, введении чрезвычайного положения, объединении с Белоруссией и т. д.

Прокрутим пленку на несколько лет назад. Заставляя других играть "партию дьявола", пугая возвращением ГУЛАГ'а своих сограждан, а обострением международной обстановки – западных политиков, команда Ельцина выбивала кредиты, которые, как теперь ясно, отчасти превращались во внутренний политический капитал, а отчасти расхищались. Теперь почти вся западная пресса пестрит сообщениями о том, что президент меняет премьер-министров в интересах узкого семейного клана. Но стоило ли оказывать моральную и материальную поддержку этому клану три года назад и объявлять демократическими выборы, во время которых один кандидат, Борис Ельцин, обладал тысячекратно большими финансовыми возможностями, чем все его противники вместе взятые и при этом полностью контролировал газеты, радио, телевидение, осуществляя настоящий масс-медийный террор? И стоит ли удивляться, что теперь Кремль хочет повторить сценарий 1996 года и заранее стягивает в один кулак все средства информации и финансовые потоки?

Понятно расположение публичных фигур Запада к тем из их российских коллег, чьи речи звучат по-демократически и чьи намерения представляются им благими. Но должна ли эта симпатия идти дальше, делая Запад активным игроком на постсоветской политической сцене, пусть даже через посредство международных финансовых организаций, подчеркивающих чисто экономический характер своих интервенций? Думаю, что нет. В противном случае Ельцины в России еще долго не переведутся. Превращать ядерную державу в "банановую республику" крайне опасно, в частности, и потому, что многие из ее обитателей начинают объяснять принадлежность своей страны к мировому сообществу плодом хитроумной интриги богатых государств, а не ее статусом как поставщика сырья на мировой рынок. Короче, инвестор, даже если его придется ждать долго, должен прийти в Россию по экономическим причинам. Для этого нужно принять законы, создающие благоприятные условия для инвестиций, и расстаться с унаследованными имперскими амбициями. "Ужастики" же, которыми умело запугивали Запад молодые реформаторы, были не более как эффектными пропагандистскими трюками. Ельцин стал Ельциным не тогда, когда он отправил в отставку Примакова или Степашина, а когда сработала его политика контрастов: когда ему удалось заставить внешний мир не замечать целый спектр российской политической

жизни, убедить мировое общественное мнение, что он является лучшим среди худших, наименьшим из зол. Короче, когда ему удалось навязать альтернативу: "Я или Жириновский", "Я или Зюганов" – он уже стал Ельциным, "гарантом стабильности", которую он на самом деле активно разрушал.

Не надо применять к России особые критерии: если ее президент в состоянии опьянения дирижирует в Берлине духовым оркестром, то к этому, видимо, следует относиться так же, как если бы это делал Билл Клинтон или Гельмут Коль. Ведь подобное поведение унижает граждан России не меньше, чем любой другой народ, даже если не все они осознают это уже сейчас. Относясь к подобным жестам якобы благодушно, – "Что, мол, возьмешь с русского медведя!" – этот народ унижают вторично, чего он не заслуживает.

Сейчас многие в России не уверены, состоятся ли вообще президентские выборы 2000 года. Недавно я видел телепередачу из провинциального города в двух часах езды от Москвы. Почти все опрошенные жители говорили, что вообще не будут голосовать; они не верят, что выборы что-то изменят в их нынешнем положении. Рефрен был таков: "Депутаты позаботятся о себе самих, своих семьях и друзьях, но не о нас." Если политика предполагает минимальную экономическую независимость граждан, в России еще нет политики. Поэтому постоянно слышатся разговоры о том, что Ельцин держится за власть мертвой хваткой и никому ее не уступит; его команда придумает что-что такое, что позволит ему остаться у власти. Сам этот страх множества людей перед волей одного является симптомом крайней слабости гражданского общества, его неуверенности в том, что на этот раз демократические процедуры сработают даже формально.

Никогда в истории России, за исключением нескольких лет перед Октябрьской революцией, хищнический частный интерес не проявлялся столь патологически, заменяя собой отсутствие политической энергии у огромного большинства. Социальная ткань рвется прямо на глазах. Каждое появление избранного царя перед народом имплицитно варьирует один и тот же мотив: я буду держаться за власть до конца. Эта поза, видимо, отражает настроения в президентском окружении, которое не видит для себя иной гарантии самосохранения. В этом смысле назначение на пост премьер-министра третьего подряд главы спецслужб весьма симптоматично. Репрессивный аппарат становится

последней соломинкой, за которую хватается ослабевшая "семья". В оппозиционной русской печати сейчас много пишут о семьях Чаушеску, Маркоса, Живкова и др., чье нелегально скопленное богатство оказалось хрупкой защитой от политических катаклизмов. Увы! нет бедных стран со сколько-нибудь стабильной демократической системой; есть бедные страны, которые хотят выдать себя за демократические, более или менее искренне заблуждаясь на этот счет. В России эта искренность минимальна. Просто львиная доля ее граждан пока не знает, что такое демократия, и либо наивно идеализирует ее (как это было в начале 90-х годов, когда от нее ждали практически мгновенного улучшения своего материального положения при сохранении "преимуществ социализма"), либо столь же наивно демонизируют (объявляя плодом тайного заговора против России). На постсоветском пространстве проходят выборы, но нет собственности на землю, пресса по сравнению с советскими временами независима (точнее, зависима от множества хозяев, а не от одной партии), но на всех этажах власти царит высочайшая степень коррупции, увеличилось число частных собственников, но большинство прозябает в унизительной нищете.

Несколько дней назад в Бишкеке Ельцин впервые открыто заявил, что будет бороться "против западников", имея в виду, конечно, западные страны. Я был удивлен такой откровенностью с его стороны – раньше он был более осторожен – но, когда через пару дней в "Corriere della Sera" и других газетах появились сведения о получении Ельциным, его семьей и ближайшим окружением денег от одной швейцарской фирмы, смысл этого воинственного заявления стал понятен.

Вспомним недавнее прошлое. Запад инвестировал деньги в свой, как теперь выяснилось, далекий от русских реалий сценарий будущего демократического развития этой страны, в течение семи лет закрывая глаза на то, что там действительно происходит. (Характерно в этом плане ругательство, которое вице-президент Гор начертал на досье, которое спецслужбы представили ему на Черномырдина, тогдашнего премьер-министра России.) Но когда эти реалии стало невозможно игнорировать, во всех грехах обвинили тех, кого еще недавно поддерживали. Как если бы раньше не было известно, что экономика в России неотделима от политики, что ни одно крупное состояние не было сделано в сфере легальности и не является в полной мере частным (скорее это достояние кланов). Коррупция и непотизм являются струк-

турными элементами экономик этого типа, а вовсе не случайно присосавшимися к ней паразитами. Специалисты по постсоветской России прекрасно знают то, как там обходятся или просто игнорируются законы, когда это выгодно сильным мира сего. Удивляться следует скорее тому, почему для того, чтобы открыто заговорить об этом, потребовалось так много лет. Не потому ли, что еще недавно нынешних коррупционеров считали единственным оплотом демократии в крупнейшем государстве с тысячами ядерных боеголовок?

Многие из представителей постсоветской элиты наверняка считают ее нынешнюю дискредитацию своеобразной местью за антизападную позицию, которую она заняла во время косовского конфликта. Разоблачая, ее фактически подталкивают в антизападной ориентации, что парадоксально, так как основная часть ее капиталов вложена в западные банки и предприятия и, кажется, она не собирается возвращать их в Россию. Т. е. по сути компрадорскую буржуазию вынуждают бунтовать против ее вчерашних союзников, отрекающихся от нее и перестающих понимать то, что еще недавно прекрасно понимали. С одной стороны, это хорошо, так как некоторые политики – те же "молодые реформаторы": Немцов, Кириенко, Чубайс и др. – впервые должны действовать на свой страх и риск, без гарантированной поддержки Запада, и таким образом доказать свою способность к публичной политике. Но, с другой стороны, еще лучше было бы, если бы это произошло на несколько лет раньше, и они не успели бы скомпрометировать идею демократии в глазах значительной части своих сограждан.

Теперь решается задача, которую можно уподобить квадратуре круга. Нужно найти лидера (желательно лидеров), который не был бы связан с олигархами, не был бы беспринципным лоббистом, не совершал бы незаконных финансовых операций и сделок... и при этом по крайней мере на словах был бы сторонником западной демократии. Решить эту задачу исключительно трудно. Официальные носители прозападных ценностей в России в огромном большинстве причастны к незаконному обогащению (как минимум, в содействии такому обогащению третьих лиц), а менее коррумпированная левая оппозиция и политики вроде генерала Лебедя не принимают западные ценности.

В последние дни Москву поразила эпидемия объединений. Негативная харизма, которой обладает ныне президент Ельцин, стала ос-

новным политическим товаром в нашей стране, а ее жертвы – желанными партнерами. Уволенного премьер-министра обхаживают, как правило, несколько партий, и тот, чьей единственной "заслугой" является нерасположение президента, повлекшее его отставку, придирчиво выбирает политических партнеров. Как Примаков, так и Степашин сделали правильный выбор, если учесть, что занятие политикой в России связано не с приверженностью определенным идеям, а с пассивным служением господствующим в данный момент силам. Оба экспремьера выбрали две таких силы – "Яблоко" и блок "Отечество-Вся Россия" – которые на думских выборах несомненно преодолеют пятипроцентный барьер. В результате немного обидно за "Яблоко", которое было именно политической партией, т. е. старалось бороться за голоса с помощью определенных идей, а не любой ценой. Принятие в его ряды "свадебного генерала" Степашина сделало эту партию похожей на блоки вроде "Отечества", которые сколачиваются под выборы с целью "выбивания" голосов и чьи программы являются, как правило, довольно невнятными. Видимо, идейная политика – это роскошь, которую в нынешней России уже никто себе не может позволить. А жаль!

Изменившееся положение значительной части местной элиты также не сулит россиянам ничего хорошего. Отрезая ей разоблачениями путь к отступлению на Запад – вариант, на который многие ее представители рассчитывали – фактически делают Россию платцдармом борьбы за ее выживание в ближайшие годы. Коррупционеры упрекают Запад в лицемерии, так как он-де знал о характере их деятельности раньше, чем начал открыто об этом говорить; и не только знал, но и помогал деньгами в борьбе против политических противников. Но эти запоздалые прозрения мало что меняют, и хищнической элите, образовавшейся в последние десять лет, в ближайшие годы предстоит вновь доказать "плебеям" свое право на место под солнцем. Так что не нужно удивляться, если деньги, которые три года тому назад щедро жертвовались бизнесменами на избирательную кампанию Ельцина, теперь окажутся в руках чеченских полевых командиров и других "боевиков", готовых отстаивать интересы своих заказчиков.

Второй чеченский синдром
(ноябрь 1999 г.)

В информационном отношении Вторая чеченская война существенно отличается от первой. В 1994-96 гг. информационные потоки шли по разным каналам, российским и иностранным, и хотя визуальный ряд интерпретировался по-разному, показываемое не дозировалось и не цензурировалось из единого центра. Сейчас война для россиян стала практически невидимой, так как монополия на информацию о войне принадлежит самой армии. Если на прошлой войне солдаты и младшие командиры перед камерой говорили о ее бессмысленности, то теперь они объясняют свое присутствие в Чечне необходимостью сохранения целостности России. Бросается в глаза и массивное присутствие на телеэкранах генералов, которые уверяют, что "точечно" поражаются исключительно базы и пункты сопротивления боевиков, а мирные жители не страдают.

Практически имеет место регрессия к советской информационной ситуации, когда важно было не то, что действительно происходит и может быть видимым, а правильная, ортодоксальная речь, с помощью которой объясняют то, что нельзя увидеть. Поэтому меня так шокировали увиденные недавно в Германии кадры обстрела Грозного: дымящиеся развалины домов, убитые и искалеченные люди, растерянные лица тех, кто случайно уцелел после ракетной атаки.

Москвичи, не говоря уже о жителях провинции, не видят *такой* войны. Вообще желание закрывать глаза на происходящее на Кавказе за последние десять лет не было в российском обществе таким сильным, как сейчас. На фоне охватившей миллионы апатии стирается граница между "чеченцем" и "боевиком", а так как средний россиянин не отличит чеченца не только от жителя Дагестана, но и от грузина, то стираются различия между понятиями "террорист" и "лицо кавказской национальности". И хотя не доказано, что теракты в Москве были совершены именно чеченцами, разделяемая многими молчаливая презумпция их виновности оказывается значительно эффективней, чем

любой судебный приговор. Скорее всего здесь срабатывает механизм компенсации: ухудшение своего экономического и социального положения миллионы людей по привычной имперской традиции персонифицируют в образе врага, сокрушение которого якобы устранит и сложную совокупность причин, ведущую к обнищанию, массовой безработице и т. д. Но с другой стороны, они предчувствуют в простоте предлагаемого ельцинским режимом рецепта некую западню, так как подобные решения в прошлом уже не раз оборачивались катастрофой. Люди ничего не хотят знать о Второй чеченской войне именно в силу хрупкости этого компенсаторного механизма, его ненадежности; они догадываются, что и малой части правды о войне будет достаточно для того, чтобы его разрушить. Но наивно считать имперскую установку просто навязанной гражданам России извне, неким злонамеренным правительством; нет, она интимно присуща им самим. Сейчас страна переживает этап истерического отождествления с имперским прошлым, отождествления настолько интенсивного, что захваченные им люди перестают задаваться вопросом о цене, которую надо платить за его сохранение.

В местной печати часто упоминается о том, что на методы ведения нынешней войны сильно повлияла операция НАТО в Косово: российские военные также стремятся минимизовать свои потери за счет массированных атак с воздуха и артобстрелов. Таким образом можно избегать прямых столкновений с чеченскими отрядами и сохранять живую силу, перекладывая основные потери на мирное население. Последнее возможно только в условиях полного информационного контроля, позволяющего армии постоянно выдавать желаемое за действительное: стирая границу между “чеченцем” и “боевиком”, она наносит удары по любым объектам, *post factum* объявляя их точками сопротивления боевиков.

Радикальное отличие чеченской войны от косовской заключено в том, что каждый удар НАТО подлежал многократной перепроверке из независимых источников, тогда как на внутрироссийском информационном рынке таких источников теперь нет. В результате намечаются контуры тотальной войны, ориентированной на победу любой (за исключением применения ядерного оружия) ценой. Тем более странно, когда в поддержку этих методов приводится аргумент, что война ведется Россией на ее собственной территории. Риторически объявляя чеченцев российскими гражданами, с ними в то же время

обращаются как с заклятыми внешними врагами. Другими словами, сходство между Косово и Чечней поверхностное, так как в последнем случае отсутствует внутренний информационный контроль за действиями наступающей армии. Тем самым ей выдается кредит доверия, который, впрочем, ограничивается одним существенным условием: в этой войне армия не должна нести крупных потерь. Если она отважится на действия, сопряженные с большими потерями, например, на штурм Грозного, кредит будет исчерпан. Тогда ей припомнят и неудачные действия в Первой чеченской войне и нынешнюю информационную монополию, в условиях которой неизбежно возникают завышенные ожидания. Результатом, в частности, может стать отказ многих регионов отдавать в армию своих солдат (Татарстан, являющийся лидером в отвоевывании у центра его конституционных прав, уже перестал отправлять в действующую армию своих призывников).

В любом случае информационная монополия не может не способствовать деморализации ее обладателей, которые начинают усматривать угрозу в любом внешнем взгляде на их действия.

Я далек от какой-либо идеализации политической системы Чечни, которая по сути является организованным беззаконием и произволом, простирающимся от практики взятия заложников до набегов на соседние области, кражи нефтепродуктов и т. д. Эта система сама сделала все, чтобы разрушить то сочувствие, которое внешний мир питает к малому народу, борющемуся против превосходящего по силе врага. Казни заложников, в том числе и иностранных, сделали отождествление с *de facto* независимой Чечней практически невозможным. Журналисты стали просто боятся туда ездить.

Но нельзя заставлять платить за явные несовершенства политической системы Чечни весь ее народ.

За последние месяцы стало ясно, что мы теряем единственное реальное достижение ельцинского периода – свободу средств массовой информации (пусть и относительную, как доказывает предвыборная компания 1996 года). Газеты становятся все менее информативными, а телеканалы попадают в прямую зависимость от политических целей их хозяев. В воскресенье вечером два ведущих телеканала, ОРТ Бориса Березовского и НТВ Владимира Гусинского в одно и то же время дают зеркально противоположную версию одних и тех же событий, вызывая у многомиллионной аудитории шизофреническое раздвоение. На

одном канале обвиняют в коррупции тех, кого восхваляют на другом и наоборот. В преддверии выборов постсоветская политическая элита проявила полную неспособность к компромиссу и встала на путь, ведущий в конечном счете к самоуничтожению. Едины они пока только в отношении войны в Чечне, в информационной блокаде которой принимают равное участие. Нынешней России настолько недостает реального единства, что она лихорадочно цепляется за единство фантомальное. Чем более патетично признают Чечню частью России, тем более обращаются с ней как с внешним врагом. Голоса из Чечни почти не слышны, например, заявления президента Масхадова о том, что чеченцы не причастны к взрывам в Москве или что телефонные разговоры и другие расходы наиболее радикальных чеченских командиров – например, Салмана Радуева – до недавнего времени оплачивались Борисом Березовским. Еще пару лет назад эти утверждения могли бы стать объектом журналистского расследования, но сейчас массмедийная империя Березовского так велика, что способна заглушить любые обвинения в адрес своего хозяина.

Явной является связь этой войны с выборами в России, в частности с планами Кремля любой ценой провести в президенты своего кандидата, а им на данный момент является премьер-министр Владимир Путин. Покорение мятежной Чечни становится основной частью его избирательной компании, тем, на чем он набирает политические очки. На этот путь толкает неспособность нынешнего режима разрешить внутренние проблемы России. Но мы по прошлому опыту знаем, чем кончались "короткие победоносные компании" такого рода.

Стремление не замечать происходящего, капитуляция перед стратегией Кремля не пройдет без последствий для миллионов россиян. Фактически мы имеем дело с репетицией чрезвычайного положения в одном из субъектов Российской Федерации, с приостанавливанием действия гражданских прав на его территории. И хотя нас монотонно уверяют, что никакого чрезвычайного положения объявлять не будут, фактически в зачатке оно уже существует и выражается в монополии на информацию о военных действиях, в прогрессирующей приватизации средств массовой информации двумя борящимися кланами – кремлевским (Ельцин, Путин, Березовский) и московским (Лужков, Примаков, Гусинский). Как только Запад стал разоблачать финансовые махинации постсоветской элиты, ей был отрезан путь к отступле-

нию и не оставалось ничего другого как любой ценой легитимировать свое положение в России. В случае "победы" в чеченской войне – т. е. создания впечатления успеха до лета следующего года, когда состоятся президентские выборы – у нынешних обитателей Кремля есть шансы провести туда своего представителя. В случае же поражения или существенных потерь возрастут шансы блока Примакова-Лужкова, который не выступает против войны, но и не отвечает за нее. Средний гражданин России не выигрывает ничего в обоих случаях, так как экономические программы конкурирующих команд одинаково туманны, а многие из их обещаний неисполнимы.

Аллергия на политику, созданная восемью годами ельцинского режима, является его главным козырем в борьбе за выживание. Обыватель должен быть совсем дезориентирован, чтобы он мог следующим летом проголосовать за наследника нелюбимого почти всеми "избранного царя". Избирательная компания 2000 года будет, уверяют уже сейчас, довольно грязной, так как демократия все реже декларируется в России в качестве примера для подражания.

Сегодня исполнилось 80 лет изобретателю знаменитого автомата Михаилу Калашникову. Он живет в городе Ижевске (Удмуртия), большая часть населения которого находится за чертой бедности. В связи с юбилеем изобретателя местные власти решили построить музей его имени: в нем будут экспонироваться не просто личные вещи Калашникова и другие реликвии; предусмотрены конференц-зал, тир и т. д. 10 миллионов рублей выделены из фонда Ельцина, 1 миллион рублей от Лужкова. Но этих денег явно не хватает; нужно еще где-то раздобыть многие миллионы.

Ситуация с музеем Калашникова показалась мне символичной для нынешнего положения в России. В измотанных реформами людях хотят пробудить веру в величие страны, чьим символом является "лучший в мире автомат". Таким образом, коллективно они должны пережить как торжество то, что индивидуально делает еще беднее каждого из них. В них в который раз пытаются пробудить имперский инстинкт.

Но разве не из-за подобных попыток в конечном итоге распался "нерушимый" СССР?

А памятник автомату Калашникова в одной из африканских стран уже есть.

“Европа начинается с Перми”?
(январь 2000 г.)

“Провинция, – часто слышишь в Москве, – это другой мир”. Но с этим трудно согласиться. Да, провинция беднее, ее жители менее информированы, в ней меньше театров, ресторанов, но не это главное: просто в провинции более явно видно, что советская страница русской истории еще не перевернута, что одного желания перевернуть ее недостаточно.

Недавно я побывал с лекциями в Перми и Соликамске. Меня поразила одержимость тех, с кем я общался, дореволюционным прошлым этих мест и их отражением в русской литературе. В первый же час пребывания в Перми мне показали дом, в котором доктор Живаго встретился с Ларой. Я побывал в музее-квартире Сергея Дягилева, который является частью гимназии с литературным уклоном, носящей его имя. Пермь в романе “Доктор Живаго” называется Юрятин; так же называлось и общество, в котором я читал лекции. Оно располагается в городской библиотеке, носящей имя бывшего владельца дома, купца-мецената Смышляева. В картинной галерее особо отмечались работы художников, как-то связанных с Пермью, даже если они жили в основном в Петербурге или в Париже, а в Перми владели винным заводом.

Если старина окружена ореолом святости, то к современности отношение совсем иное. Нынешний мэр города, как я узнал от таксиста и от студентов, связан с криминальными структурами; он - бывший комсомольский работник, спортсмен и владелец сети продовольственных магазинов. При этом таксист заявил, что мэр сделал для города больше, чем все депутаты вместе взятые.

Поражает пропасть между миром настоящего, в котором люди живут, и миром прошлого, который они идеализируют. Между ними явно не хватает посредствующих звеньев: о дореволюционном прошлом грезят именно советские люди, продолжающие жизнь по законам той власти, которую претендуют отвергать во имя мира, извест-

ного им лишь понаслышке. Отношение к прошлому принимает столь патетическую форму потому, что оно анестезирует травму настоящего. В культурах, где связь с прошлым не прерывалась так брутально и так надолго, где оно постоянно присутствует в настоящем, нет нужды окружать проявления прошлого таким благоговением.

А вот другой эпизод. Меня пригласили на местное телевидение выступить в еженедельной передаче "Лобное место". Ведущий был не только похож на Ленина, но, зная об этом сходстве, использовал его для воздействия на публику: обращаясь ко мне, он выбрасывал руку вперед в характерном ленинском жесте, энергично произнося при этом слова-команды. За четыре дня до парламентских выборов мне меньше всего хотелось говорить о политике, тем более, что эта сфера в нынешней России приватизирована и представляет во многом частный интерес самих политиков, к которым я не имею отношения. Я хотел говорить о философии и о ее пользе для осознания нашего нынешнего положения, и в конце концов это удалось.

Поездка из Перми в Соликамск занимает больше трех часов. Там нам с женой предстояло спуститься в соляную шахту, выступить перед студентами пединститута и посетить музей. На подъезде к Соликамску нас ждали две машины, в которых сидели ректор пединститута и депутат местного городского собрания. Директор шахты принял нас в просторном кабинете за длинным столом; обращал на себя внимание шкаф с образцами добываемых пород и огромный монитор с плоским экраном. Шахта успешно экспортирует калийные удобрения в Индию, Китай и Бразилию, создает большое число рабочих мест и платит налоги, на которые содержится местная инфраструктура. Бюджет города зависит от этой и еще двух-трех шахт. На поверхность в этом районе выбрасывается такое количество породы, что ландшафт состоит из холмов. Мы спустились в шахту на глубину около 400 метров, предварительно переодевшись в шахтерскую одежду, надев каски и вооружившись специальными фонарями и баллонами с кислородом. Соляные шахты очень красивы: голубые, белые, ярко-красные и желтые кристаллы соли искрятся даже при небольшом свете. После пятнадцатиминутной поездки на вездеходе мы увидели комбайн, который добывает калийные удобрения. Сопровождавший нас инженер рассказал о технологии добычи, стоя на покрытой толстым слоем соляной пыли машине. Кроме того, мы посетили музей народного художника Олей-

никова: свои картины он делает из размельченной смальты. Все его картины и объекты связаны с местными и мировыми событиями. Например, большой красный цветок с зеленым стеблем, окруженный сложной системой зеркал и подсвечиваемый снизу, занимал почетное место в центре одного из залов. Он был вдохновлен "Розой мира" Даниила Андреева. Все это время депутат рассказывал нам историю Соликамска. В сталинские времена это была часть ГУЛАГА; здесь и сейчас находится тюрьма для тех, кому смертная казнь была заменена пожизненным заключением, с поэтичным названием "Белый лебедь". Но лейтмотивом его рассказов было то, что Соликамск является центром земли, что именно отсюда после падения метеорита миллионы лет назад пошла жизнь. Если Пермь с населением в миллион жителей гордится своим местом в истории русской культуры, то в десять раз меньший Соликамск претендует быть центром мира. Исторических событий в этом районе происходило немного; это место, куда попадали недобровольно, куда ссылали, привозили под охраной. В поселке Чердынь недалеко от Соликамска совершил попытку самоубийства Осип Мандельштам. Художник, создающий работы на мировые темы, тоже, как выяснилось, бывший узник ГУЛАГА.

На лекцию собралось больше слушателей, в основном студентов, чем это бывает в Москве. Она прошла при молчании зала; в итоге был задан один единственный вопрос. Зато реакция на стихи, которые читала моя жена, Анна Альчук, была восторженной: зал взрывался аплодисментами после каждого стихотворения. По окончании вечера нас пригласили в кабинет ректора, где почти все участники застолья читали свои стихи. Оказалось, что их пишут депутат, директор пивного завода, главный хирург, жена хирурга и другие. При незамысловатости формы в стихах преобладало наивно-просветленное отношение к жизни: в основном это были стихи о любви. Вообще в воздухе провинциальной жизни разлит лиризм, характерный для советского времени. Несмотря на импорт калийных удобрений, наличие нефти, алмазов и других полезных ископаемых, люди живут бедно, но при этом они менее агрессивны, чем москвичи. Хотя часто декларируется приверженность вечным ценностям, над живущими в провинции властвует недавнее советское прошлое. В Перми нам объяснили, что шахтами в Соликамске владеет австрийская фирма. Наводнение в Китае, засуха в Бразилии или падение акций на европейских биржах могут лишить

работы тысячи местных жителей. Короче, зависимость от внешнего мира велика, но пока *язык* этой зависимости отсутствует. Его заменяет советский эпос о родном крае. В Соликамске нам подарили сборник стихов местных поэтов, а в Перми – брошюру "Европа начинается с Перми", выпущенную под эгидой мэра города. Каждая страница буклета была посвящена одной строчке из стихотворения местного поэта, помещенного на первой странице. Хотя многое и в Перми принадлежит московским и иностранным инвесторам, осознание этого обстоятельства, видимо, займет еще немало времени.

Был разгар избирательной компании, вся Пермь была завешена рекламными плакатами. По местному телевидению ругали одного нефтяного магната, который выставился в Думу; его обвиняли в том, что он поставляет нефть в Чечню, предавая тем самым национальные интересы России. Опросы говорили, что большинство жителей поддерживает войну, но умалчивали о том, как мало о ней известно. Изнанкой провинциального лиризма является деполитизованность людей, т. е. привычка одобрять любые действия властей, как если бы их последствия испытывал на себе кто-то другой. Последние десять лет власти, казалось бы, делали все , чтобы убедить их в обратном, но это им не удалось – слишком длительной является в России традиция нерассуждающего подчинения слугам государства, слишком непривычно пока думать, что и чиновники могут иметь перед рядовыми гражданами регулируемые законом обязательства.

К закону в Перми отношение более пренебрежительное, чем в Москве. Приведу пример. По центральному телевидению показывали "Барак", один из лучших фильмов 1999 года, а внизу экрана – прямо во время показа – постоянно бежала строка местной коммерческой рекламы: дубленки, шубы, куры, жевательная резинка. Кто-то на местном телевидении продает продукцию центрального канала и ни о чем не подозревающего режиссера, фильм которого в результате становится невозможно смотреть. В Москве или Петербурге ничего подобного нельзя себе даже представить.

В Москву я возвратился 20 декабря. В результате думских выборов страна стала другой: половина избирателей проголосовала за коммунистов и за блок "Единство", который не имеет никакой программы, зато ассоциируется с войной в Чечне. Почему люди, которые пишут стихи о любви, восхищаются "Доктором Живаго" и Дягилевым *de facto*

проголосовали за "сильную руку" и покорение Чечни? Дело в том, что ужас перед настоящим легко трансформируется не только в культ дореволюционного прошлого, но и в приверженность вполне реальной имперской традиции. Нынешняя ситуация слишком сложна для понимания среднего россиянина: собственность принадлежит иностранцам и "олигархам" из Москвы, чиновники берут взятки и нередко связаны с криминалитетом, местные власти обвиняют во всем центр и т. д. Главное же в другом: большинству эти перемены не просто непонятны, но явно невыгодны и, голосуя за "сильную руку", оно высказывается за "добрые старые времена", когда не было безработицы, вовремя выдавали зарплату, а представители номенклатуры ели свой паек не на глазах у всех, а за забором. Да, они голосуют за невозможное, но оно представляется им возможным, так как в результате ельцинских реформ их жизнь стала хуже.

Уже не в первый раз в России под лозунгом порядка чинится беззаконие: на глазах исчезает (пусть относительная) свобода прессы, единственное завоевание периода правления "царя Бориса"; в политике все чаще применяются методы спецопераций, что и неудивительно – вслед за Путиным в нее пришло большое число офицеров ФСБ.

Но это и не возврат к советским временам. Цены продолжают расти, а результаты приватизации, заверяют нас со всех трибун, не будут пересмотрены ни в коем случае. Под видом возвращения к прошлому, столь милому обделенному переменами большинству россиян, ситуация, существующая в настоящем, лишь усугубляется .

Тоталитаризм уже невозможен, но перспектива авторитарного правления вполне реальна и становится реальней с каждым днем.

После коронации

(май 2000 г.)

В сияющем свежей позолотой зале большого Кремлевского дворца 7 мая состоялась инаугурация президента Путина. Ельцин передал новому президенту роскошную орденскую цепь и подчиненный ему полк охраны Кремля. Над Кремлем был поднят президентский штандарт. На церемонии передачи власти подчеркивалось, что впервые в тысячелетней истории России власть передается демократическим, законным путем, что произошедшие в ельцинский период изменения необратимы. Несмотря на эту риторику, ритуал больше походил на коронацию, прижизненную передачу власти наследнику, а не самостоятельной политической фигуре. Позолота, лепнина, обилие зеркал и лейб-гвардейцев, одетых в форму начала XIX века, не будучи необычными сами по себе, удивляли контрастом с материальным положением большинства российских граждан. К тому же эта роскошь напоминала о деле швейцарской фирмы "Мабитекс", участвовавшей в реставрации дворца, и о Павле Бородине, бывшем главе Управления делами Президента, ордер на арест которого был недавно выдан щвейцарским прокурором. Не исключено, что многие россияне видят в этой демонстрации роскоши символическую компенсацию своего бедственного положения, подобно тому как их предки видели в дворцах московского метро компенсацию убогости своей жизни в перегороженных ширмами комнатах "коммунальных" квартир. Напутствие Путину Ельцин закончил словами: "Берегите Россию", – а тот, вторя ему, сказал: "В России президент отвечает за все". А как же тогда, хотелось спросить, парламент, судебная власть и другие структуры, обладающие собственной компетенцией? Неужели мы возвратились к абсолютной монархии?

На следующий день новый президент приехал в Курск на празднование Дня победы. Был выставлен почетный караул, расстелен ковер, музыканты готовились сыграть торжественный марш, с минуты на минуту ждали Путина...И вдруг перед строем по ковру с неболь-

шой свитой прошел Борис Березовский, известный бизнесмен и член ближайшего окружения Ельцина (называемого "семьей"); так же как и Бородиным, им интересуется швейцарское правосудие. При этом голос за кадром недоуменно прокомментировал: "Его имени не было в списке приглашенных". Тут я понял разницу между прошлым и нынешним правлением: ни при каких обстоятельствах Березовский не мог бы прошествовать впереди Ельцина в официальной ситуации, даже если бы последнего пронесли на носилках или провезли в инвалидной коляске. При новом президенте это стало возможным и даже прошло незамеченным. Ельцин начинал как самостоятельный политик, имевший поддержку огромного большинства россиян, и, хотя на второй срок он был избран с помощью денег "олигархов", отблеск былой популярности сопровождал его до конца. За Путиным не стоит ничего подобного. Премьер-министром он стал по совету все той же "семьи", на момент назначения он не имел политического опыта. Его популярность выросла на Чеченской войне, совпавшей с исключительно благоприятной конъюнктурой на нефтяном рынке; если прибавить к этому практически монопольную поддержку государственными СМИ и масс-медийной империей Березовского, картина будет полной. В его избрание было вложено значительно меньше денег частных лиц, чем во время кампании 1996 года, зато его избирательным ресурсом стали государственные деньги, потраченные на войну. Благодаря новогоднему "отречению" президента Ельцина, он повел президентскую гонку с таким огромным отрывом, что конкуренты даже не помышляли о победе. Сосредоточив в одном лице два важнейших государственных поста, не сходя с телеэкранов и страниц газет, играя на контрасте с физической немощью своего предшественника, меняя мундиры разных родов войск, летая на самолетах, спускаясь на подводных лодках, он выступал скорее в качестве наследника престола, нежели продолжателя какой-то политической линии. С кажущейся легкостью его победы связаны огромные проблемы. Он не предложил никакой политической и экономической программы, сделав граждан страны заложниками эксперимента со многими неизвестными. Некоторые полагают, что как выходец из спецслужб он будет бороться с коррупцией, снизу доверху поразившей Россию, забывая при этом, что он был продвинут на вершину власти "семьей", против которой как раз и были выдвинуты обвинения в коррупции.

Нынешняя Россия – страна кричащих парадоксов. “Семья” ненавидима большинством, а ее выдвиженец избирается президентом в первом туре. Борьбу с коррупцией мог бы начать тот, кто пришел к власти политическим путем, но кандидатура Путина была выдвинута именно для того, чтобы такую борьбу исключить.

Инаугурация прошла под звон орденов и медалей. За деньги налогоплательщиков в Москву съехались со всего бывшего СССР тысячи ветеранов войны 1941-45 гг.. 9 мая они прошли парадом по Красной площади, и Путин начал свое обращение к ним известными сталинскими словами: “Дорогие братья и сестры!” А через несколько дней, выступая в Туркмении перед диктатором Ниязовым, он заявил, что гордится тем, что в местном Университете учился Андрей Сахаров. Непонятно, в каком случае он говорил искренне. Скорее всего, слова не играют для нового президента особой роли: просто они должны соответствовать наличным обстоятельствам, а действия следуют своей особой логике. Путин понимает политику как словесный ритуал, как прикрытие, на фоне которого разворачивается сложная сеть спецопераций. За мягкой риторикой часто следуют никак не вытекающие из нее жесткие действия. Под прикрытием помпезных имперских ритуалов идет передел собственности. Слова президента Ельцина также часто разительно отличались от действий, которые за ними следовали, но в этом несоответствии не прослеживалось умысла и, главное, системы. Особенно вопиюще новая стратегия Путина проявила себя в деле Андрея Бабицкого. После того, как Путин взял это дело под свой контроль, последовала серия беззаконий, в результате которой журналист оказался в столице Дагестана с насильно врученным ему паспортом на чужое имя. Остается только уповать на то, что новый президент, приобретая политический опыт, осознает преимущества искренности.

Еще одним фактором, способствовавшим приходу к власти сотрудника ФСБ, была операция НАТО в Косово, настроившая миллионы россиян против Запада и прежде всего против США; по контрасту с этой операцией Вторая чеченская война стала рассматриваться как внутреннее дело России, а критика Запада – как лицемерие и вмешательство во внутренние дела суверенного государства, ведущего войну на своей территории.

Пока Путин делает ставку на централизацию власти и милитаризацию общества. Возобновляется система военных сборов, в школах

вновь вводится обязательная военная подготовка, идет перерегистрация всех военнообязанных. Закон об альтернативной военной службе не работает. И еще один парадокс: в стране, большинство населения которой, судя по опросам, поддерживает Чеченскую войну, к призыву в армию, кроме военных комиссариатов, массированно привлекаются милиция и ФСБ; по всей стране ведется настоящая охота за уклоняющимися от призыва молодыми людьми. Пышно расцветает эрзацпатриотизм, когда в качестве патриотов сплошь и рядом выступают люди, возлагающие исполнение патриотического долга на менее обеспеченных и социально защищенных сограждан. Наиболее циничные эрзацпатриоты, особенно из рядов ЛДПР, призывают вообще не считаться с потерями, добиваясь победы любой ценой; при этом они лживо уверяют, что так поступают во всех цивилизованных странах. Для самих же участников войны наиболее часто называемым мотивом возвращения в зону военных действий является месть за погибших товарищей; при этом даже заработок отходит на второй план. Политические цели этой войны неясны; никто не знает, что в данном случае означает победа, если не считать полного истребления всех сопротивляющихся чеченцев. В этих условиях любые переговоры с противником воспринимаются армией как предательство, как попытка в очередной раз украсть у армии добытую большой кровью победу, как это произошло в 1996 году.

Я не особенно верю рейтингам, связанным с этой войной. Среди тех, с кем общаюсь я, совсем немного эрзацпатриотов, поддерживающих войну. Зато в последние месяцы я заметил, что некоторые из знакомых, включая меня и мою жену, перестали употреблять в пищу мясо. Это представляется своеобразной формой раскаяния и ощущения вины перед тысячами погибших и изувеченных людей. Западные люди справедливо упрекнут нас в том, что наш протест не принимает активную форму. Но в посттоталитарных обществах люди настолько разобщены, поглощены выживанием, одолеваемы неизжитыми травмами, что эффективно сплотиться в интересах общего дела они пока не могут. Это, конечно, плохо, но такова наша история. В результате вместо цивилизованного, организованного протеста со временем может вспыхнуть "русский бунт, бессмысленный и беспощадный". Мы виноваты, но вину эту не просто вменить. Я участвовал в двух демонстрациях против Чеченской войны. Первая собралась у памятника Марксу и была

столь немногочисленной, что некоторых из стоявших рядом участников я знал лично. Еще менее впечатляющей была демонстрация на Пушкинской площади: на ней выделялись одетые в оранжевое и желтое буддисты и анархисты под черными знаменами.

Косово сыграло в этом свою роль, но это далеко не единственная причина: в России слишком много людей живут и работают в нелегальной и полулегальной сфере, чтобы сама мысль об открытом, организованном протесте могла прийти им в голову. Чтобы выжить, они вынуждены обманывать общество и бессознательно испытывают чувство вины. Власть максимально усиливает его, выводя на политический уровень (голосование за партию без программы, за анонимного президента). Если такой находящийся вне или почти вне сферы легальности человек успешно решает личные проблемы, например, откупает от армии своего сына, то он и доволен; в "высшие сферы" он не лезет, удовлетворяясь эрзацпатриотизмом. Так все чаще рассуждают депутаты, чиновники, дельцы и миллионы людей-винтиков, которым удалось пристроиться к крохам от того или иного полулегального источника дохода, каких в России тысячи. Они живут, изворачиваясь, и при этом считают себя "слишком умными" для того, чтобы проявить солидарность в отношении более обделенных сограждан. За этим скрывается страх в любой момент попасть в их число. В ельцинскую эпоху в России пышным цветом разрослась поэтика нелегальности, в рамках которой любые формы социальной солидарности заранее объявляются бессмысленными и ничтожными перед всепоглощающим "законом джунглей".

Информационное поле за последние месяцы неизменно сокращается. Раньше журналистское сообщество отрабатывало деньги владельцев, рекламодателей и других заинтересованных лиц; в итоге у него оставалось достаточное число важных для читателя тем, по которым он мог почерпнуть полезную, местами даже сенсационную информацию. Теперь государство пытается, пользуясь различными предлогами, подчинить себе средства массовой информации. Если это удастся, начнется отток частных и корпоративных денег, так как при новой ситуации вложения в СМИ потеряют экономический смысл. Это грозит безработицей большому числу журналистов и "дозированием" в прошлом более или менее свободно циркулировавшей информации. Государство при этом вовсе не возвышается над частным интересом,

оно пронизано им на всех уровнях. Просто один частный интерес молчаливо считается совпадающим с государственным, а другой — нет. В этом плане показательны массированные налеты спецслужб на структуры группы "Медиа-Мост", единственной крупнейшей информационной империи, не перешедшей под контроль Кремля. По мнению большинства журналистов, подоплека обысков в офисах "Медиа-Моста" является политической и служит устрашению единственного из крупных олигархов, Владимира Гусинского, чей телеканал и печатные органы еще оппонируют режиму Путина.

По всем каналам московского телевидения последнее время показывают местные сериалы о бизнесменах, бандитах и сыщиках. Бизнесменов в них трудно отличить от бандитов; они связаны друг с другом и действуют похожими методами. Положительным героем является, как правило, жестоко мстящий за "поруганную честь" мафиози. Мелькают сломанные носы, свернутые челюсти, выплевываемые с кровью зубы, бандиты мочатся на тела поверженных врагов. Массированный показ таких сериалов в *prime time* вызывает у аудитории настроение безысходности и упования на сильное государство, которое положит конец разгулу насилия.

События последнего времени показывают, что наиболее обделенные россияне хотели бы по привычке конвертировать свою униженность в величие подавляющего их (на правах справедливого отца) государства. Но этот механизм не может заработать, так как активные субъекты нынешней жизни из нелегальной и полулегальной сфер не только не заинтересованы в восстановлении сильного государства, но с ним несовместимы. Поэтому остается имитация величия, которая устраивает всех.

Недавно группу московских детей спрашивали, как они понимают добро, что это такое. Большинство сошлось на следующем определении: "Это когда человека бьют-бьют, а потом возьмут и пожалеют, перестанут бить". За что его бьют и почему пожалеют, значения не имеет: главное, что побои прекратились. В том, что дети не могут представить себе добро без побоев — наша вина.

Великая иллюзия
(август 2002 г.)

Капитализм в России строился во многом по тем же законам, что и предшествовавший ему коммунизм. За неимением гражданского общества и вызревшей изнутри потребности именно в этих изменениях, он должен был снизойти на россиян как благодать. В результате на глазах возникли очередные руины.

Недавно я прочитал в газете статью о глухой вологодской деревушке Шалочь, которую пять лет тому назад пытались превратить в "деревню будущего". За годы советской власти туда так и не провели электричество, деревня жила натуральным хозяйством. Раз в месяц завозили муку, почту и керосин. И вдруг в 1994 году в деревню привезли аккумуляторы солнечных батарей, лопасти ветрогенераторов и другое оборудование. "Ученые" из Москвы обещали, что деревня будет жить за счет солнечной энергии и энергии ветра – стало быть, и в линии электропередач нужды нет. Вдохновленные этой перспективой сельчане отдали "ученым" свои сбережения, а районная администрация – деньги, предназначавшиеся на электрификацию деревни, затерянной в северных болотах. Оборудование, видимо, скопилось на складах еще в годы советской власти, и его надо было сбыть. Придуманный Министерством сельского хозяйства проект "деревня будущего" – в его рамках аккумуляторы и ветряки должны были поставляться в глухие деревни Сибири и Архангельской области – отлично разрешал эту задачу. Вскоре "ученые" исчезли, а вместо обещанных телевизоров, стиральных машин и биотуалетов в особо солнечные дни под потолком одной из изб горит одна единственная лампочка. Таков итог обещанных эпохальных перемен, с помощью которых глухая деревня должна была одним махом перепрыгнуть в XXI век.

Самое простое объяснение: доверчивых сельчан обманули столичные и местные чиновники, которым за это заплатили "ученые". Ну а сами жители деревни? Неужели они не знали, что для работы батарей нужны, как минимум, палящее солнце и сильный ветер, которые в этих

краях бывают чрезвычайно редко?

Пейзаж "деревни будущего" характерен для нынешней России, страны недостроенных супермаркетов и дорогих магазинов, где почти нет покупателей. Жители страны ждали от капитализма реализации собственных фантазий, а когда этого не случилось, не на шутку обиделись. В сущности обиделись на самих себя, но свою аллергию на капитализм они назвали "капитализмом": пародия в их глазах оказалась оригинальнее оригинала и была решительно отвергнута. Обиженные не замечают, что за прошедшие двенадцать лет они стали другими, и возвращение к советскому состоянию для них невозможно. Президент Путин воплощает эти упования, наполняя оживший призрак советизма новым содержанием. Конечно, он не отказывается от реформ, так как это произвело бы неблагоприятное впечатление на кредиторов России, но где можно дать выход неприязни к капитализму, он это делает: встречаясь с могиканами тоталитаризма, посланниками диктаторов и играя на популярном антиамериканизме. Происходит зеркальное переворачивание внешней политики России начала 90 годов: если тогда интересы страны, якобы, во всем совпадали с западными, то теперь они не совпадают с ними ни в чем. Постсоветские элиты в поисках алиби за содеянное создают привычные образы внутреннего и внешнего врага. Если бы была отрефлексирована несовместимость этих элит со многими сторонами современного капитализма, они могли бы искать выход в сфере реальности, выработав политику, не нуждающуюся в демонизации врага. Но пока эта несовместимость столь велика и сопровождается к тому же столь огромной зависимостью от внешнего мира, что за решением обращаются к сфере Реального, где все амбивалентно, где ненавидят то, без чего не могут обойтись и претендуют любить то, чего не могут вынести. Поэтому между тем, что нынешний президент России декларирует как свою программу (в разных ситуациях она выглядит по-разному) и тем, что на уровне бессознательного реализуется через него, зияет бездна. Опасность политиков такого типа, как Путин в том, что они опираются не на программы, а на стечение обстоятельств, не на убеждения (приведшие их к власти силы столь различны, что убеждения становятся непозволительной роскошью), а на сильнейший в данный момент импульс, на импровизацию, последствия которой бывают непредсказуемы. Это дает ему возможность сочетать авторитарные методы с либеральной ритори-

кой, централизм с поддержкой "семейных" олигархов, обвинения против Запада в развале России с просьбами о списании долгов, культ армии с безразличием к судьбе конкретных военных (я не хочу пересказывать здесь историю подлодки "Курск", известную всему миру). Даже его тяготение к лидерам-изгоям преподносится Западу как акт посредничества и обуздания экстремизма.

Постсоветское общество нельзя сравнивать со странами Восточной Европы, куда советская модель зачастую экспортировалась. В своей оригинальной форме она существовала *только в СССР*, в силу чего попытки отказа от нее сталкиваются здесь с несравнимо большими трудностями, чем в других странах и отторгаются социальной тканью постсоветского общества. Россия вошла в фазу десублимации, когда без объяснения причин отвергается то, что еще недавно столь же беспричинно приветствовалось: при этом собственная роль России – и особенно ее хищнических элит – в крушении "капиталистического" эксперимента не просто преуменьшается, но все чаще отрицается.

В чем отличие России Путина от России Ельцина? Ельцин был еще настолько советским политиком, что постоянно нуждался в театрализации угрозы коммунистического реванша, позволяя разыгрывать советскую карту другому; борясь с этим другим, он "титаническими усилиями" сохранял демократию, естественно, в российском понимании этого слова. Путин же разыгрывает советскую карту сам, в силу чего вождь оппозиции, Зюганов, похоже, окончательно лишился своей политической ниши. Сам факт вознесения на вершину власти столь неопытного политика, как Путин, свидетельствует о колоссальном вакууме власти, образовавшемся в ельцинский период, и политика такого лидера не может не быть серией невольных реакций на обстоятельства его избрания. Рейтинг, набранный на кровопролитной войне, которой нет конца, ненадежен, так как для его поддержания требуется все больше и больше человеческих и других ресурсов. Особенность негативного рейтинга в том, что его можно быстро набрать, но очень трудно поддерживать на достаточно высоком уровне. Его обладатель напоминает шахматиста, который выиграл крупную фигуру противника, но резко ухудшил маневренность своих собственных фигур.

От россиян веками требовали жертв на алтарь постоянно расширявшегося государства; взывая к столь древнему инстинкту, можно на какой-то срок мобилизовать общество, однако длительное время удер-

живать его в этом состоянии трудно, так как для этого требуются огромные ресурсы, которыми общество не располагает. Если мимезис советизма потребует от граждан России жертв, которые окажутся им не под силу, они вспомнят о тех скромных свободах, которыми еще недавно пользовались и захотят их восстановления. К тому же уровень жизни среднего россиянина сейчас так низок, что даже его незначительное ухудшение обречено восприниматься крайне болезненно, какими бы популистскими лозунгами оно не прикрывалось.

Тогда и рассеется великая иллюзия – возвращение к временам «великого и могучего» Советского Союза. Уже сейчас этот фантомальный советизм мало чем напоминает свой исторический прототип. Недавно в самом центре Москвы прогремел взрыв, и прямо с места событий телевидение показывало миллионам зрителей, как на улицу из подземного перехода выползали окровавленные и обожженные люди в разорванной одежде, как они беспомощно барахтались на асфальте в ожидании помощи. Ничего похожего не показали бы в советские времена. Опасность нынешнего режима в России состоит в том, что он добивается архаизации отнюдь не архаическими, а вполне современными методами, что своей победой Путин обязан государственным средствам массовой информации и массмедийной империи Березовского. Ельцин был слишком близок к советскому опыту, чтобы ему поклоняться; относительно же молодой Путин пытается играть на обманутых ожиданиях масс и, что более важно, элит, на традиционный имперский манер отождествляя величие государства с полнотой своего контроля над подданными. В жертву этому коллективному имперскому величию пытаются принести интересы отдельных граждан и групп, но, как показывает гибель подлодки “Курск”, сделать это в современной, познавшей вкус свободы России не просто. Люди не только разучились молчать: их жизнь зависит от открытости страны, современной техники и их собственных усилий в значительно большей степени, чем они сами склонны предполагать. Сосредоточить в своих руках всю полноту власти, не отвечая за ее конкретные проявления, будучи верховным арбитром в спорах между различными категориями обвиняемых – об этом мечтал президент Ельцин, к этому стремится его преемник – сложно, но куда сложнее ее удержать.

Президент Ельцин пришел к власти на волне эйфории от начавшихся перемен и продолжал править в 1996-1999 годах благодаря вло-

женным в его избрание деньгам олигархов. Путина привело к власти разочарование в результатах реформ, охватившее после августа 1998 года даже тех, кто экономически от них выиграл. Эти новые богатые осознали маргинальность своего положения. Наверху оказались военные и, главное, офицеры спецслужб, которые все эти годы методично собирали досье на новых богатых и их покровителей (губернаторов и других чиновников) и теперь, вооруженные "компроматом", готовы поучаствовать в новом витке приватизации. Естественно, "компромат" будет использоваться избирательно, но само его наличие не может не нервировать еще вчера всесильных частных лиц.

Степень доверия к власти в посттеррористическом обществе, каковым является нынешняя Россия, определяется прямыми опросами общественного мнения – типа: "Как вы относитесь к президенту?" – в меньшей мере, чем косвенными признаками. Меня поразили результаты опроса, проведенного сразу после последнего теракта в Москве московским телеканалом. Предлагались три варианта ответа на вопрос о том, кто может эффективно противостоять терроризму: 1) "общественное мнение Запада", 2) "российское правительство", 3) "мы сами". Спецслужбы почему-то не упоминались вообще. Почти три четверти телезрителей ответили, что эффективно противостоять терроризму могут они сами. Такой ответ свидетельствует о глубинном недоверии к власти; его нельзя расценить иначе, как жест отчаяния, ибо совершенно неясно, как рядовые граждане собираются бороться с терроризмом и почему эта борьба представляется им более эффективной, чем усилия их собственного правительства.

Трагедия подводной лодки "Курск", видимо, дала выплеснуться эмоциям, накопленным за год Чеченской войны. Создается впечатление, что общество, позволившее вогнать себя в военную истерию, мстит за собственное унижение. Значительная его часть не прощает военному руководству и президенту отказ от помощи западных стран, пренебрежение жизнью моряков, манию секретности.

Поразил цинизм, с каким командующий флотом "списал" своих подчиненных, когда некоторые из них, вероятно, были еще живы; поразило и то, что президент заговорил о трауре до того, как было официально объявлено о гибели экипажа. Возмутились и те, кто принял Чеченскую войну и полную анонимность прозвучавших в России за последний год взрывов. Это доказывает, что цинизм в политике эф-

фективен лишь до определенного предела; что дезориентированных людей можно обмануть, но не развязывая широкомасштабную "охоту на ведьм", их нельзя обманывать длительное время. На возмущение общественности высшие военные чины ответили созданием очередного имперского фантома, утверждая, что, якобы, имело место столкновение "Курска" с натовской субмариной. Тем самым они продемонстрировали собственную потребность в образе врага. Конечно, произойди такое столкновение, им было бы куда легче объяснить родственникам подводников причину гибели экипажа. Перед этим желанием отступает здравый смысл, но в эту версию, кажется, не верят даже те, кто выдвигает ее в качестве основной.

Подведу итоги. Конечно, обычное электричество, "лампочка Ильича", лучше, чем одна единственная лампочка, которая в редкие солнечные дни работает в деревне Шалочь от аккумуляторов солнечных батарей. Понятно, что масса россиян проголосовала за "лампочку Ильича" против "деревни будущего". Но одного желания вернуться в советские времена недостаточно; более того, можно предсказать, что фантомальный советизм будет страдать всеми болезнями постсоветского общества, но без тех скромных свобод, которыми большинство уже настолько привыкло пользоваться, что их просто не замечает. Российское общество ближе к социализму, чем полагают "рыночники", и дальше от него, чем думают новоявленные поклонники СССР: оно – матрица всех коммунистических режимов послевоенного времени, но оно же драматически зависит от внешнего мира и от собственной активности его граждан. Отбросить его назад, как показывает трагедия "Курска", нельзя, не вызывая возмущения значительного числа его наиболее дееспособных членов. Пусть медленно и зигзагами, но оно будет идти вперед.

Образцовая смерть
(ноябрь 2002 г.)

Недели две тому назад я вызвал сантехника починить кран в ванной. По телевизору в это время передавали новости. Уходя, он услышал о плане подъема тел погибших подводников с "Курска" и сказал: "Правду об этом мы узнаем нескоро". Я был удивлен. Обычно сантехники не реагируют на "политику", которую считают бесконечно далекой от себя, а тем более в таком скептическом ключе.

Но я бы не стал считать это необычное высказывание случайностью.

За последние месяцы российские масс-медиа стараются создать образ ортодоксальной смерти. Именно в силу того, что смерть в современной России становится обыденным явлением, из всей массы случаев выделяется один, который наделяется особой ценностью, объявляется образцовым. Вокруг него нагнетается атмосфера необычайной возвышенности; в результате становится невозможным назвать банальную, техническую причину этой смерти – ведь перед нами новейший вариант Смерти за Отечество, в идеале даже смерти за царя. Создается миф, как его понимал Ролан Барт: вырванная из контекста, радикально деполитизированная речь.

Этот миф по-своему эффективен, так как с его помощью затушевывается тот факт, что экзальтированно воспеваемая Родина *одинаково* опасна и для затонувших на "Курске" подводников, и для мирного населения Чечни, и для воюющей там армии, и для солдат срочной службы, которые гибнут от "неуставных отношений", и для выброшенных на улицу детей, которых не в силах прокормить их родители, и для многих других категорий российских граждан. Одна трагедия, гибель подлодки "Курск", произвольно выделяется из множества аналогичных трагедий и объявляется трагедией с большой буквы, трагедией *par excellence.* А по сравнению с событием такого мифического масштаба все остальные события – хотя речь идет о многих сотнях тысяч, даже миллионах людей – кажутся незначительными, досадными

эпизодами, от которых можно отмахнуться. Связь между событиями распадается, и люди простираются перед очередным имперским символом, перед "имперскостью", воплощенной в этом символе. Создается иллюзия того, что, если подлодки будут более надежными, – а это-де произойдет с триумфом сильного государства, – все остальные проблемы разрешатся сами собой. Смерть в очередной раз ранжируется для того, чтобы иметь возможность игнорировать большую часть ее проявлений.

Конечно, смерть подводников "Курска" трагична, но она не так беспрецедентна, как, например, смерть мирных граждан Москвы, Волгодонска, Буйнакска, которых неизвестные взорвали в их собственных квартирах в августе-сентябре 1999. По-человечески, а не по-имперски надо бы выделить именно их; между тем, о них почти не вспоминают.

Лично для меня смена политического режима в России произошла не тогда, когда Ельцин в канун Нового года передал власть Путину, а 13 сентября 1999 года, когда, участвуя в конференции в Форосе, я узнал, что в Москве взорвали еще один дом, на Каширском шоссе. С этого момента меня не оставляет ощущение, что я живу в другой стране. Мы не знаем и, возможно, никогда не узнаем, кто организовал эти взрывы. Но мы знаем, что они сделали возможной Вторую чеченскую войну, ставшую козырной картой премьер-министра Путина в его борьбе за президентство. По сравнению с этой катастрофой национального масштаба все остальные трагедии, во-первых, не столь беспрецедентны (подлодки тонули и раньше, хотя в СССР об этом запрещали говорить, Первая чеченская война также была жестокой), а, во-вторых, не имеют прямого политического воздействия, не меняют столь быстро и радикально социальный климат.

Повторяю, человеческое и имперское в очередной раз оказались на разных полюсах. Я не верю, что даже при самых высоких ценах на нефть общая ситуация в России улучшится до тех пор, пока человеческое измерение не получит приоритета над имперским. С начала войны не прекращается давление на прессу и телевидение. Символом кулачного права становится вооруженный человек в маске и в камуфляже; он представляет интересы государства не снимая маски, он не показывает свое лицо, но предъявляет документы, подтверждающие его официальный статус.

В этой атмосфере неслучайно возрождение советской, частично даже сталинской риторики. Вчерашние оппозиционеры, коммунисты, стушевались, а отведенную им "патриотическую" роль стали играть люди новой команды. Для российской власти советская риторика, щедро перемежающаяся с националистической, означает передышку в шквале разоблачений, сыпавшихся на нее начиная с августа 1998 года. Торжественно объявленная война с олигархами коснулась лишь двух медиа-магнатов, Гусинского и Березовского, в то время как другие аналогичные фигуры усилили свои позиции и готовятся играть уже не закулисную, а формальную политическую роль (пионером здесь является министр по делам печати, радио и телевидения Лесин, который прямо из госаппарата лоббирует интересы созданнной им компании "Video International"). Недавно один из богатейших олигархов Роман Абрамович выставил свою кандидатуру на пост губернатора Чукотки. Централизация России сулит ему и подобным ему дополнительные выгоды, если им удастся сосредоточить в одних руках власть и деньги. На пути у них стоят те, кто как, например, Гусинский, делают свой бизнес на информации, торгуют информацией, пускает ее в ход в интересах конкурентов и т. д. На прессу и телевидение оказывают давление потому, что свобода торговли информацией не совместима с набегами людей в масках и другими проявлениями нового кулачного права. В этом смысле красноречиво недавнее заявление президента Путина газете "Фигаро": "У государства в руках дубина, которой оно бьет всего один раз. Но по голове... если нас рассердить, мы не колеблясь пустим ее в дело..." А так как число желающих получить дубиной по голове, естественно, невелико, а обещанная "диктатура закона" уже много раз показала свою несостоятельность, дальнейший ход событий предсказуем: большинство смирится и подчинится жестким правилам игры, а меньшинство получит дубиной по голове и притом, наверное, не один раз, как благодушно обещал президент. Те же, чьи головы не расколются от удара государственной дубины, образуют оппозицию, которая, возможно, будет не комнатной, как в случае Березовского, а реальной.

Ни одно европейское общество не жило в XX веке в условиях террора так долго, как советское; образовавшиеся за три поколения инстинкты не отмирают за несколько лет. Именно потому что слишком быстро "забываются" (т. е. загоняются в бессознательное) смерти ни-

чем не замечательных людей, те, кто проходят мимо них, столь экзальтированно реагируют на смерти ортодоксальные, объявленные образцовыми. Как будто задевает их не сам факт смерти, а ее идеологическое оформление. Недавно я прочитал в газете статью о 19-летнем парне, который потерял в Чечне обе ноги: он пожаловался на одиночество, на то, что с ним перестал общаться его лучший друг. Уверен, что этот друг не меньше других возмущается тем, как поступили с моряками "Курска" флотские руководители. Я не случайно назвал день взрыва на Каширском шоссе началом новой эпохи – это и психологически оказалось так. Под влиянием более агрессивной атмосферы стали рушиться человеческие отношения; поводы для этого часто являются смехотворными, а истинные, глубокие причины мало кто способен осознать. Круг моих знакомых за это время существенно сузился; трудно как ни в чем не бывало общаться с теми, кто поддерживает кровопролитие или просто без видимых причин становится агрессивным. На развалинах человеческих отношений раздается медиальный шум, завывание печатных и электронных сирен. Все больше людей, оказавшись в эмоциональной пустоте, реагируют только на этот шум; поэтому борьба за контроль над масс-медиа является в нынешней России столь ожесточенной. Возможно, это – иллюзия, но с помощью масс-медиа надеются контролировать волеизъявления граждан и даже их помыслы.

Поведение москвичей в отношении Чеченской войны шизофренически раздвоено: многие из них эту войну одобряют, считая неизбежной; с другой стороны, они крайне неохотно в ней участвуют (по данным Комитета солдатских матерей, из 5000 погибших во Второй чеченской войне москвичей – около 40; между тем, москвичом является примерно каждый семнадцатый россиянин).

"Курск" погиб ровно три месяца тому назад. Страну сотряс крик возмущения, шквал критики в адрес президента, который появился на месте катастрофы с большим опозданием, в адрес руководителей Военно-морского флота, которые откровенно лгали, спасая свои погоны. Но постепенно из всего этого возмущения выкристаллизовался новый имперский миф, поглотивший реальные страдания конкретных людей и их семей. О причинах гибели атомохода мы знаем при этом так же мало, как и в те августовские дни: продолжает повторяться даже версия о столкновении с иностранной подлодкой, наименее

вероятная, но наиболее выгодная начальству. Как исключительное гражданское мужество оценил известный телеведущий решение командующего Российским флотом предать гласности несколько фраз из предсмертной записки офицера с "Курска", из которых следовало, что после взрыва часть членов команды была жива. О чем еще говорится в записке так и осталось тайной, с ней не ознакомили даже жену погибшего, которой она была адресована. Налогоплательщики, на чьи деньги проводилась операция, имеют не меньшее, чем адмиралы, право знать о причинах гибели подлодки. Но уже устный пересказ нескольких фраз из записки рассматривается оппозиционным журналистом как героический поступок. Это и понятно – для создания жизнеспособных мифов информацию нужно максимально сортировать и прореживать.

Недавно в Москву приезжала английская актриса Ванесса Редгрейв, она привезла деньги для родственников подводников. После этого одна из вдов, давая интервью, сказала: " Многие в военном городке нам завидуют, считая, что мы получили свои льготы несправедливо. Возможно, придется уехать оттуда". Вот они, плоды демократии! Попробуй кто-то в советские времена открыто выразить свою зависть к вдове признанного героя – с ним бы наверняка расправились. Подпираемые насилием, советские мифы жили долго. Сейчас же из-под них мгновенно начинают бить фонтаны человеческих страстей. Выражение чувств – пусть даже таких неприглядных, как зависть – все-таки лучше, чем их вынужденное сокрытие из страха перед репрессией.

Кремлевские пропагандисты хотели бы вновь запустить этот советский механизм, но после десятилетия гласности это невозможно. Контроль же над масс-медиа может обеспечить формальную покорность и апатию, но никак не энтузиазм.

Один из главных политтехнологов новой команды, Глеб Павловский, недавно сказал, что приход к власти Владимира Путина – это победа здравого смысла над опьянением, которое ему предшествовало. Но разговоры о "дубине" или утверждение, что критики нынешнего президента – это, по словам того же Павловского, "шайка негодяев", мало располагают верить этим словам. На одной странице политтехнолог, говоря о президенте, десяток раз употребил слово "русский", разыгрывая националистическую карту. Но общество критиковало и

будет критиковать президента за те самые качества, которые способствовали его избранию – отсутствие публичного темперамента, промедление в сложных ситуациях, склонность к простым решениям запутанных проблем; короче, качества человека, который начинает учиться своему ремеслу практически с чистого листа.

Иллюзия выживания, или Все на продажу
(февраль 2001 г.)

Тему этого письма подсказала мне история, недавно случившаяся с моей дочерью.

На четвертом месяце беременности она обратилась в платную женскую консультацию. Там ее обследовали, но перед тем, как сообщить результаты, врач направил ее на лекцию, где пропагандировались дорогие иностранные таблетки, прерывающие беременность. Ее фактически побуждали сделать аборт, поскольку врачи были платными распространителями таблеток. И только поняв, что в данном случае заработать не удастся, врач выдал ей на руки результаты обследования, заверив, что никакой патологии нет. Нанесенная психическая травма, естественно, в расчет не принималась.

В государственной консультации врач прежде всего спросил дочь, какие витамины она принимает. Когда она назвала довольно известную фирму, женщина воскликнула: "Ни в коем случае!" – и категорическим тоном порекомендовала витамины другой фирмы, так как только они-де являются "натуральными". Затем она выписала несколько рецептов на анализы, оказавшиеся довольно дорогими, и сказала, что может организовать роды в "хорошем" роддоме за сумму около тысячи долларов. Этот врач явно имел процент от продажи витаминов, произведения анализов (в их необходимости возникали обоснованные сомнения) и рекламы платных роддомов.

Ее поведение также было косвенным принуждением к аборту и расшифровывалось так: "Если у твоей семьи нет достаточных средств, не рожай!" А поскольку таких средств нет у большинства российских семей, пропаганда выглядела особенно убедительной. Врач вопреки клятве Гиппократа за вознаграждение сознательно приносил вред психическому здоровью будущей матери.

Если врач хотела таким образом отомстить государству за нищенскую зарплату, то добилась противоположного. Она отомстила конкретному человеку, а государство, деликатно закрывая глаза и тем са-

мым давая санкцию на подобную продажность, стало ее главным сообщником.

Когда в Америке под звуки хорала я видел на экране телевизора рекламу: "Life – what a beautiful choice!" – я понимал, что за ней стоят агрессивные группы людей, считающих, что ребенок – дар божий и женщина не вправе сама решать, рожать ей ребенка или не рожать (рекламу давало фундаменталистское движение "pro life", которому противостояло движение "pro choice"). Но пропаганда аборта врачом-гинекологом – все же нечто неслыханное в цивилизованном мире.

Подобные процессы идут и на других уровнях. Под аккомпанемент разговоров о величии России парламент без референдума принимает закон, допускающий захоронение на ее территории радиоактивных отходов третьих стран. Нетрудно предвидеть не столь отдаленные последствия его реализации: сотни тысяч заболевших и преждевременно умерших людей. Чем, спрашивается, отличается законодательное закрепление вреда здоровью граждан от действий врача, имеющего процент от продажи "безвредно" прерывающих беременность таблеток? Думается, это явления одного порядка.

На улицах Москвы вам все время предлагают что-то купить. Одному моему другу навязали дисконтную карту, но он ни разу не смог ей воспользоваться: все скидки либо давались сверхдорогими ресторанами и магазинами, либо были рекламными трюками (например, написано: 30% скидка на мебель,- а при покупке оказывается, что это всего лишь скидка на... доставку мебели). Рабочие выполняют частные заказы на государственном оборудовании, изнашивая унаследованные от СССР основные фонды; учителя и профессора живут частными уроками, рассматривая свою основную работу как побочный заработок. В гостиной роскошного загородного дома его владелец в шутку признается, что его зарплата едва дотягивает до тысячи рублей. Он действительно платит налоги с этой зарплаты.

Religio прежде всего означает не "religiones publicae"("богослужебные обряды"), а обычную добросовестность, благочестие, совестливость, благочестивую жизнь ("religio vitae") и происходит от глагола "religo", что значит: "связывать", "привязывать", "образовывать связь". Именно эта связь в современной России чрезвычайно, патологически слаба: место недостающего благочестия занимает более или менее окаменевший религиозный ритуал. Все – врач, рабочий, агент фирмы, бизнес-

мен, депутат, – оправдывают свои действия необходимостью выживания, но это негодное оправдание, особенно в тех случаях, когда непременным условием такого "выживания" становится разрушение жизни других людей.

Религиозность в таком случае проявляется в соблюдении внешнего ритуала, в отправлении формальной стороны культа. Придя в церковь, врач, сбывающий таблетки для прерывания беременности, депутат, проголосовавший за превращение страны в кладбище ядерных отходов и другие, могут лишь креститься и под видом молитвы бормотать ничего не значащий для них набор звуков. Ведь они лишают себя возможности даже покаяться в содеянном, будучи ложно уверены, что их драгоценное "выживание" и в дальнейшем по-прежнему будет зависеть от подобных действий.

На постсоветском пространстве трагически не хватает людей (как среди мирян, так и среди клира), которые верят во что-либо кроме "выживания".

Постоянно выживая за счет других, отрицая свою связь с ними, люди уродуют и самих себя; совершая огромное число уголовно-ненаказуемых, но вызывающе бесчеловечных деяний, они разрушают собственную жизнь не в меньшей мере, чем жизнь тех, против кого их действия направлены. Царящее в московских ресторанах разгульное веселье, экстатическое потребление новых богатых, их зачастую чудовищные семейные отношения, быстро прогрессирующая наркотизация общества, – что это как не извращенные формы раскаяния и расплаты, которые – именно в силу своей извращенности – делают возможным продолжение *ad infinifum* того же образа действий? Такого числа компенсированных, социально активных психотиков, как на постсоветском пространстве, пожалуй, не встретишь больше нигде. В ответ на арест в Нью-Йорке Павла Бородина некоторые депутаты предлагали арестовать (фактически взять в заложники) десяток американских граждан или даже самого президента Клинтона. Недавно один из руководителей фракции ЛДПР заявил: "Долги [имеются в виду и государственные долги – М.Р.] платят только дураки".

Люди и человеческие отношения выставляются на продажу, как если бы речь шла о заурядных товарах; за ними не признается никакого достоинства. Недавно во время популярного ток-шоу молодая женщина совершенно серьезно, без доли юмора, предлагала другой, более

богатой женщине купить за десять тысяч долларов... своего мужа, отца трех детей. Причем делалось это с его согласия. Она расписывала его физические данные и мужские достоинства, оправдывая свое желание от него избавиться тем, что тот не приносит в семью достаточно денег и не помогает ей в воспитании детей. Деньги от продажи мужа добродетельная мать собиралась использовать на то, чтобы дать детям образование. А через неделю в том же ток-шоу другая женщина отдавала своего мужа "в хорошие руки" бесплатно, лишь бы он освободил совместную жилплощадь.

В свое время поэт Некрасов не смог ответить на вопрос "Кому на Руси жить хорошо?" Еще меньше это возможно в нынешней России. Хотя социальная зависть здесь очень распространена, она основана на заблуждении: плохо быть как бизнесменом, так и бюджетником, как сановником, так и мелким клерком. Завидующие, считающие себя обделенными люди плохо представляют себе, что стоит за соблазняющей их витриной чужой жизни, сколько за ней скрывается саморепрессии, отчаяния и душевного одичания. Сами же новые богатые (будучи таковыми зачастую *de facto*, но не *de jure*, не с точки зрения закона) отвечают на эту зависть плохо скрываемой ненавистью, усматривая причину всех бед страны, ее отсталости, в огромном числе нищих сограждан, в их предполагаемой "косности" и неспособности приспособиться к новым условиям. Собственную роль в этом процессе они предпочитают не замечать; это было бы для них слишком травматично. Вызывая к жизни фигуру внешнего врага, эта ненависть странным образом принимает форму "патриотизма".

Несмотря на большее, чем в советские времена, распространение внешней обрядовости, постсоветская Россия является одной из самых нерелигиозных стран в мире, лишь немногие ее граждане пока могут позволить себе роскошь чистой совести, а именно она является sine qua non любой религиозной веры.

Процветают экзотические виды услуг. Например, "экстремальный туризм" в Чечне. За большие деньги военные с вертолета показывают обеспеченным людям, в основном иностранцам, разоренную войной страну. Многие из "туристов" – журналисты, лишенные иной возможности получения информации. Здесь в очередной раз соединяются авторитаризм и коммерция. Не будь другие источники информации заблаговременно блокированы, не процветал бы и "экстремальный ту-

ризм", а, следовательно, военные не могли бы зарабатывать на этой "услуге". Феномен коммерциализации запрета в постсоветской России практически универсален, так что *post festum* нельзя отделаться от впечатления, что запрет создается с целью его последующей коммерциализации или даже изначально являлся извращенной формой предложения "услуги". В результате купить оказывается возможным почти все, хотя число запретов непрерывно возрастает.

Вот популярный анекдот, удачно иллюстрирующий эту логику:

"Звонок Путину от президента компании "Кока-Кола":

– Владимир Владимирович, вы меняете гимн страны, может и флаг на прежний, красный, поменяете? А если в уголке маленькими такими белыми буквами напишете "Coca-Cola", то мы решим все ваши финансовые проблемы с пенсиями, зарплатами бюджетникам на несколько лет вперед...

Прикрыв трубку ладонью, Путин спрашивает у премьер-министра Касьянова:

– С "Аква Фреш"[1] когда у нас там контракт заканчивается?"

Мне могут возразить, что в нарисованной мной картине нет ничего оригинального, что в других относительно бедных странах имеют место подобные же явления. Так ли это? Так ли они универсальны? Недавно я посмотрел фильм иранского режиссера Аббаса Киростами "Вкус вишни". Собираясь совершить самоубийство, главный герой по очереди просит трех очень бедных людей (курда, афганца и турка), на рассвете прийти с лопатой на место самоубийства и засыпать его труп землей. Он предлагает за это большие деньги, но из религиозных соображений никто не принимает их. Герой убеждает, что принял решение по глубоко личным причинам, что их помощь будет актом милосердия, а не соучастием. Тем не менее, все они упорно отговаривают его от самоубийства (которое в конце фильма оказывается имитацией самоубийства в художественных целях).

Просматривая этот в целом незамысловатый фильм, я думал о разнице, какая существует между традиционным обществом, сохранившим религиозные и клановые ценности, и обществом посткоммунистическим, где эти ценности до основания разрушены. Поэтому я и не верю, что к *активной, ежедневно повторяемой* бесчеловечности людей, твердящих о "выживании", принуждает непреодолимая сила внешних обстоятельств. Бесчеловечность имеет в том, кто ее совершает

куда более глубокое основание, чем простое "выживание" (являющееся не более как алиби): его отношения к другим людям уже радикально подорваны, так что разрушение жизни, которую он по неведению считает чужой (на самом деле это и его собственная жизнь) является для него не только выносимым, но и желаемым – как доказательство силы, успеха и приобщенности к "элите".

Дилемма нынешней России проста: или в стране должно стать меньше "выживающих" за счет других крупных, средних и мелких хищников, или условия жизни на евразийских пространствах будут их усилиями радикально подорваны. И тогда "выживать" может стать просто негде... да и некому.

Примечание:

1. Производитель зубной пасты компания "Аква Фреш" использует в рекламе цвета (красный, белый и синий), соответствующие цветам российского государственного флага

На расходящихся орбитах...
(май 2001)

Вот уже около шести лет я регулярно пишу эти письма; в течение одиннадцати лет я публикую тексты в Германии, Австрии, США, Канаде, Франции и других странах, выступаю с лекциями, участвую в конференциях.

Наконец, я решил задать себе банальный вопрос: как за это время изменилось мое положение в Москве?

Ответ оказался парадоксальным. Если бы в России произошло то, что считается (по крайней мере до недавнего времени считалось) произошедшим, а именно она встала бы на рыночный путь развития, положение писателей, художников, интеллектуалов, чьи идеи, тексты, произведения вызывают интерес на Западе, по идее должно было упрочиться. Но вопреки очевидности сейчас мой труд менее востребован в Москве, чем был в прошлом, в начале перестройки и в первой половине 90-х годов.

Механизм маргинализации несложен. Допустим, образуется новый журнал. Тебя приглашают обсудить с организаторами то, чем бы ты мог быть полезен для его издателей. Ты высказываешь мнение, которое отличается от мнения лидера (как правило, это человек, получивший деньги на издание журнала), и на этом сотрудничество заканчивается. Тут сталкиваются две разные логики: ты предлагаешь свой труд, а тебе в качестве предварительного условия предлагают включиться в новый коллектив, в частности, признать неоспоримый интеллектуальный авторитет (фактически превосходство) его лидера. Твой труд, другими словами, покупают в одном пакете с признанием подчиненности и готовности служить лидеру: сам по себе он не имеет в глазах членов коллектива никакой стоимости, если это предварительное условие не выполнено.

Я на западный манер считал, что мы можем сотрудничать несмотря на разногласия, более того, это сделает сотрудничество более плодотворным. Но деньги в России еще настолько персонализованы, что

их обладатели прямо диктуют свои условия, главным из которых неизменно оказывается подчинение их (зачастую весьма капризной) воле; они не представляют себе ситуацию, когда кто-то, будучи лично им несимпатичным, тем не менее, может оказаться более ценным сотрудником, чем их поклонники. Другими словами, им пока неизвестны прелести свободного духовного производства, а тем, кто познали эти принципы, работая на Западе, чужды представления таких людей об иерархии. Мой опыт представляет интерес потому, что отнюдь не является уникальным. Скорее он типичен.

Часто члены коллективов описывают себя как демократов, готовых защищать разного рода свободы; в прошлом некоторые из них были диссидентами. Но несвободным неизменно оказывается *устройство*, с помощью которого они собираются защищать свободу: порабощенный лидером рабочий коллектив. Ведь то, что молчаливо запрещалось мне, – а именно свободное выражение мнения, – тем более возбранялось каждому из них. Ну, а что если, спрашивал я себя, тот, кто дал лидеру коллектива деньги на защиту свободы как составной части своего частного интереса, затем изменит свое мнение и даст ему деньги на что-то другое (например, потому что иным в изменившихся обстоятельствах стал сам этот частный интерес)? Не сплотится ли тот же коллектив вокруг того же лидера ради иной цели, если главной ценностью остается личная преданность, которую и сам лидер проявляет по отношению к своему боссу? Могут ли отстаивать свободу люди, которые сами еще лично несвободны, чей труд покупается лишь при условии беспрекословного подчинения, а сам по себе ничего не стоит?

У меня нет готовых ответов на эти вопросы; знаю только, что они достаточно серьезны и возникают не только у меня. Система существующего в нынешней России интеллектуального производства напоминает скорее феодализм, при котором сюзерен вправе требовать от вассалов преданности независимо от того, какими мотивами руководствуется он сам, нежели постиндустриальное общество, где высокий уровень конкуренции делает подобный произвол прежде всего крайне невыгодным. Разница лишь в том, что код поведения нынешних постсоветских феодалов не связан никакой системой религиозных ограничений, и их интерес проявляется крайне прихотливо и часто меняется.

Недавно я на собственном опыте убедился в том, что в России не

существует понятия интеллектуальной собственности. Около десяти лет я сотрудничал с небольшим издательством, которое закрепилось на рынке философской и культурологической литературы, выпуская по большей части переводы Фуко, Делеза, Деррида, Хайдеггера, Канетти и других авторов, как правило, субсидируемые международными фондами и программами. Была в издательстве небольшая серия, в которой выходили книги московских философов, культурологов, искусствоведов, писателей-концептуалистов.

Вдруг владелец издательства начал издавать коммерческую литературу очень низкого, на мой взгляд, уровня. На мой недоуменный вопрос он ответил, что эти книги хорошо продаются и вызывают интерес к издательству у московской публики, которая устала от интеллектуального снобизма. Мое терпение подверглось суровому испытанию, когда издательство выпустило книгу, которую иначе чем наркопропагандой не назовешь; ее автора звали Баян (на наркоманском жаргоне "шприц") Ширянов (на этом же жаргоне "ширяться" значил "внутривенно вводить наркотик"). Я оказался перед выбором: способствовать распространению наркомании в стране, которая и без того с огромной скоростью садится на иглу, ставя накопленный издательством интеллектуальный капитал на службу очень темному делу, или выйти из игры. Хотя чуть ли не половина всех проектов издательства делалась с моим участием, никаким правом голоса я, как выяснилось, не обладаю. Мне не оставалось ничего другого, как объявить о своем уходе. В ответ я услышал из уст своего приятеля до боли знакомую фразу: "Что ж, обойдемся без вас".

Сейчас в Москве в интеллигентских кругах очень популярна фраза "жизнь жестче"; ее часто слышишь в ресторанах, на презентациях, вернисажах. Она расшифровывается следующим образом: Реальное нашего желания является чем-то настолько свирепым, что по сравнению с ним меркнут любые жесткости реальной жизни (зверства в Чечне, борьба с несогласными журналистами, шпиономания). Те же самые люди, которые инсценируют Реальное своего желания с помощью наркотиков и алкоголя, жаждут сильного государства, которое оградило бы их от асоциальности других, ничем не отличающейся от их собственной. Этот порочный круг лежит в основании нынешнего режима. Данную ситуацию хорошо иллюстрирует случай, который мне рассказал один молодой и успешный художник-концептуа-

лист. Он беседовал с недавним владельцем галереи, которая разорилась в августе 1998 года. Вдруг его собеседник стал истерически кричать, что евреи – а художник наполовину еврей – "довели Россию до точки", что скоро он и его единомышленники расправятся с этими "выродками". Самое интересное в этой истории то, что кричавший также был наполовину евреем, и последствия погромов скорее всего оказались бы фатальными и для него. Он инсценировал Реальное своего желания, не понимая, что оно направлено и против него самого: в момент истерики он был тем самым Другим, который наводит порядок, его "я" просто не существовало, стушевывалось перед сознанием того, что "жизнь жестче" своих самых жестких проявлений.

Понятно, почему недавно десятки депутатов российского парламента отказались встать, чтобы почтить память жертв Холокоста: сначала дайте нам кредиты, спишите часть долга, – как бы говорили они, – а уж потом требуйте покорности. Для этих парламентариев жизнь была настолько жесткой, что проявление гуманизма они посчитали ниже своего достоинства. Жертв так много, что никакую из них нельзя назвать привилегированной, а тем более ту, которую, как они считают, навязывает Запад.

Максима "жизнь жестче" является индульгенцией и в других случаях. Знакомый арткритик покупает себе дорогой компьютер, который давно хотел купить, но не мог. Правда, фонд дал ему деньги на издание книги, а не на покупку компьютера, и книгу ему теперь издавать не на что. "Но какое это имеет значение, – объясняет он, – ведь другой возможности купить его все равно не было". Не думаю, что этот художник – исключение из правила.

Мне случайно попал в руки список грантополучателей фонда Сороса, которые не отчитались за полученные деньги, т. е. употребили их не на то, на что они были даны. В нем были десятки знакомых фамилий. Если спросить их, почему они так поступили, они скорее всего сошлются на необходимость выживания (еще один вариант формулы "жизнь жестче"), низкие заработки и т. д. Кроме того, в советские времена имела хождение формула "все вокруг колхозное – все вокруг мое", т. е. красть у государства не считалось зазорным, так как само это государство возникло в результате гигантской экспроприации сотен тысяч собственников. Теперь эта логика бессознательно переносится на деньги фондов, имеющие иное происхождение. Совершившие такие по-

ступки люди оказываются заинтересованы в разрушении самого понятия репутации, доброго имени; им важно доказать самим себе, что и остальные на их месте поступили бы точно так же. В результате создается совершенно извращенная ситуация: фразу "Держите вора!" чаще всего произносят как раз те, кто сами совершили кражу. Они якобы не хотят, чтобы другие были похожи на них самих; точнее, для себя они находят смягчающие обстоятельства, а для других – нет. Максима "жизнь жестче" не может быть универсальной, ибо в таком случае жизнь станет невозможной. "Приватизатор" прежде всего прячет факт кражи от самого себя, а уже потом обвиняет других. Другие делают то же самое, и порочный круг замыкается.

Нечто похожее происходит и в университетах. За курс по современной философии, читавшийся в течение семестра, мне заплатили чуть больше тридцати долларов. А спустя некоторое время я, находясь в Германии, узнал от декана одного из факультетов университета, что тамошняя верхушка получает большие даже по западным стандартам деньги. Я почувствовал себя униженным: да, я согласен работать за гроши, но при условии, что пригласившие меня люди также вносят в свое дело хоть немного идеализма, а не просто эксплуатируют меня и других преподавателей. После этого я дважды отклонял их предложение о сотрудничестве.

По сравнению с СССР, нынешняя Россия безусловно является свободной страной: ее границы открыты, рубли можно обменять на твердую валюту и наоборот, работает Интернет, продается значительно больше товаров, чем большинство способно купить, выходят книги, которые раньше были бы запрещены, молодежь уже смутно представляет себе советские времена и т. д.. Все это так. Но, тем не менее, Россия и Запад во многих отношения находятся на расходящихся орбитах, одними и теми же словами (свобода, рынок, закон) в них называются совершенно разные вещи. В отличие от СССР, Россия не настаивает на особости своей орбиты, на том, что она – страна будущего, по чьему пути рано или поздно пойдут все цивилизованные страны; более того, когда надо, ее политтехнологи утверждают, что Россия качественно не отличается от других стран, а лишь пока еще отстает от них экономически. Впрочем, в путинской России такие голоса раздаются все реже: значительно чаще толкуют об особом пути России, о евразийстве, о духовности и т. д.

Парадоксальным образом преимуществами жизни в нынешней Москве является то же самое, что составляет ее главные недостатки: невостребованность; состояние свободного падения, которое длится уже много лет; обилие свободного времени. Каждая из этих особенностей может рассматриваться и как преимущество, но при одном условии – открытости границ, свободной циркуляции идей и людей. В Москве мне удается последние годы писать больше текстов, чем в любой из западных стран, где я жил за последние десять лет; в частности, потому что мои профессиональные обязанности –впрочем, не по моей воле – свелись к минимуму. Но если свободную мысль в путинской России постигнет судьба свободной прессы, никаких преимуществ не останется. Остается надеяться на то, что мы живем во взаимозависимом мире, где автаркия даже для такой большой страны, несмотря на советскую риторику ее лидеров и традиционализм большинства населения, недостижима.

Надежда, как известно, умирает последней. Поэтому иногда она умирает слишком поздно.

Преступления ради братства
(август 2001)

За последние годы режиссерами Германом, Сокуровым, Балабановым и другими было отснято несколько очень интересных кинолент. Им присущ лиризм, ностальгия по прошлому, ярко выраженный авторский взгляд на мир. Такие фильмы, как "Молох", "Хрусталев, машину", "Москва", "Про уродов и людей" объединяет, пожалуй, их ориентированность на зрителя, хорошо знающего язык кино, имеющего большой запас ассоциаций, связанных с его историей, вкус к классической музыке и сложным саундтрекам. В прокате такие фильмы не приносят доходов, но являются событиями для знатоков, искупая отсутствие кассовости премиями на фестивалях.

Но вот в 2000 году на российские экраны вышел фильм, который уже за первые три месяца принес только в прокате более миллиона долларов. Он уверенно стал лидером проката, превзойдя даже разрекламированного "Сибирского цирюльника" Никиты Михалкова. Интересно и то, что фильм этот, "Брат-2", был снят режиссером Алексеем Балабановым, удачно дебютировавшим в авторском кинематографе. Главный герой фильма, Данила Багров (в исполнении Сергея Бодрова), стал культовой фигурой, идолом молодежи; у него есть свой сайт в Интернете, фэнклуб и другие атрибуты звездности. "Брат-2" — первый за последние годы фильм, который заполняет зрительные залы. Через него очень хорошо просматривается симптоматика нынешнего российского общества, его отношение к человеческой жизни и к внешнему миру.

Сюжет фильма незамысловат. Три друга, ветерана Первой чеченской войны, встречаются на телевидении по случаю запоздалого награждения одного из них орденом за некий военный подвиг. Брат-близнец награжденного, хоккеист, играющий в НХЛ за чикагскую команду, подписал с американским мафиози ("новым Аль Капоне") невыгодный контракт, позволяющий тому присваивать зарабатываемые им деньги. Брат хоккеиста, работающий охранником в банке, глава кото-

рого ведет полулегальный бизнес с американцем, просит своего шефа-банкира вступиться за брата, но вместо этого банкир приказывает начальнику своей охраны отделаться от него. Любопытно, что главный герой фильма мстит не за убитого друга, а за его брата, обманутого американцем; мстит не банкиру, а его американскому партнеру. Он со своим собственным братом, профессиональным киллером, летит в Америку, чтобы осуществить возмездие.

Фильм расставляет множество мелких, но крайне существенных для современной России акцентов. Самая главная мафия – американская, а русские бандиты только обслуживают ее, в лучшем случае являются младшими партнерами. Американцы одержимы деньгами и готовы ради них на все, но братская русская "правда" с помощью серии убийств торжествует, и герой в Чикаго передает хоккеисту силой отобранные у "Аль Капоне" деньги (900 тысяч долларов). Все герои фильма – что вообще характерно для пропагандистских фильмов советского и нацистского периодов – персонифицируют не только самих себя, но и целые народы или большие слои общества. Еврей с Брайтон-Бич в Нью-Йорке продает герою машину, которая ломается по дороге в Чикаго, уверяя, что она в отличном состоянии. "Мы, русские, не обманываем друг друга", – уверяет он с характерным одесским акцентом. Мораль проста: евреи не знают истинного братства, поэтому им нельзя доверять. В таком же стиле подаются украинские мафиози, белые и черные американцы, московский бомонд. Каждый украинец репрезентирует всех украинцев, каждый богатый – всех богатых, каждая телезвезда – всех телезвезд, каждый брат – всех братьев. В соответствии с принципом, хорошо знакомым Геббельсу и Вышинскому, сквозь каждого врага должны просматриваться все враги, сквозь каждого друга – все друзья. "Впервые в отечественном кино, – писал один критик, – вроде бы между делом высказываются расистские идеи".[1] По нескольким толстым и тупым украинским бандитам нам предлагают составить представление обо всем украинском народе. Зато русская проститутка, которую жестоко угнетает чернокожий сутенер, оказывается поистине сестринской натурой. Братство бесконечно выше закона, настолько выше, что его именем заведомо оправдывается любое преступление. И чем оно произвольнее, немотивированнее, тем больше в нем духа братства. Брат – вне добра и зла, он благ по своей природе. "Это же брат", – с блаженной улыбкой юродивого повторяет главный герой.

Подлинное братство исходит, конечно же, от России. Сидя у костра на чикагском пустыре, русская проститутка вспоминает, что в последний раз ей было так хорошо в юности, в России. Увы, культ братства в очередной раз оказывается невозможным без ксенофобии и расизма; братская натура сама выносит приговор и мгновенно приводит его в исполнения; целые категории людей не обладают для нее ни малейшей ценностью.

Парадокс фильма "Брат-2" в том, что герой убивает не только ради провозглашаемого им братства, но и ради денег. Расправившись с "новым Аль Капоне", он возвращает хоккеисту деньги, а *проценты берет себе*. Таким образом, несмотря на братскую риторику, он поступает как профессиональный киллер, дорого ценящий свои услуги. Америку герой вместе с проституткой покидает в салоне первого класса, на нем дорогой костюм и галстук, он заказывает ужин в "Метрополе". "Правда" оказывается далеко не чуждой материального вознаграждения, хотя авторы фильма тщательно скрывают это обстоятельство.

Братство торжествует над американским корыстолюбием благодаря сочетанию юродства и бесчеловечности. Если фильм действительно понравился большему числу зрителей, то случилось это потому, что он канализовал потоки бессознательной агрессивности, присущие постсоветской массе, а также отразил влияние на нее американского кино, компьютерных игр и Интернета. В конце фильма герой нажимает на курок своего автомата как на компьютерную мышь и анонимные враги братства падают замертво. Зрителю предлагают отождествиться с дереализованностью и принципиальной ненаказуемостью насилия, проявить свои подавленные агрессивные импульсы по отношению к многочисленным врагам. Но продемонстрировать этот принцип в чистом виде (как это делал в свое время Достоевский, также считавший русских естественными носителями братского начала, противостоящего европейского началу "особняка") уже не удается – иначе Данила Багров не пил бы водку в первом классе самолета. Деньги проникли и в братский механизм, хотя для этого проникновения пока еще не создан собственный язык, и оно существует в молчании как сила, без которой нельзя обойтись. Братство в "Брате-2" заключается в произнесении "правильных" слов о патриотизме, любви к Родине и другим братьям. Речевой план и план действия резко разведены; действия героя всегда чрезмерны, переход от сентиментальных слов к жесто-

ким действиям осуществляется безо всякой подготовки. Все кажущиеся незаинтересованными жесты героя вписываются в жесткую логику преступления; он извлекает сверхприбыль из декларируемого бескорыстия. При всей своей задушевности новый "святой" совершенно нерелигиозен и руководствуется в своих действиях голым расчетом. Он хочет бескорыстно помочь русской проститутке, но использует ее, делая соучастницей преступлений ради "братства".

Расчет героя заключается в декларируемом отсутствии расчета, как это веками случается с дурачками в русских сказках.

Герой "Брата-2", забирающий деньги у американца, многим в сегодняшней России пришелся по душе. Да, – как бы говорит он, – мы, русские, носители братского начала, ради которого готовы ополчиться на врагов: украинцев, евреев, черных, американцев. Но и собственный брат главного героя остается в Америке, упоенный возможностью делать деньги; и хоккеист, ради которого (по крайней мере на риторическом уровне) он совершает свои подвиги, также привержен накопительству не меньше американцев. Но, главное, чужд братского начала сам герой: провозглашаемое им братство заключается исключительно в уничтожении "небратьев".

Прокатный успех фильма доказывает, что пропагандистский расчет авторов оказался верным, и им удалось смоделировать зрительский спрос: на экране хотят видеть расчетливого и жестокого героя, прибегающего для обоснования своих крайне эффективных (в том числе и экономически) действий к риторике братства. Получился новый вариант русской идеи, причудливой, разорванной, противоречивой. Герой – состоявшийся психотик, успешно разрешивший проблему многих теперешних россиян: как совершать противозаконные действия (убийство – самое радикальное из них), не испытывая угрызений совести, не впадая в депрессию, а напротив, становясь все более и более "святым"? Рецепт старый, но надежный: радикально разорвать речь и действие, жить исключительно в измерении праведной речи, действуя при этом максимально эффективно, не считаясь ни с каким законом. Но если раньше санкцию на братство выдавала община (Достоевский) или партия (Ленин), то теперь герой выдает ее себе сам. В результате братство попадает в полную зависимость от фигуры врага. Зрителю предлагают отождествиться с полной разомкнутостью визуального, речевого и имплицитного (тайного) планов. Ему надо слы-

шать как произносимое, так и подразумеваемое, видеть как показываемое, так и скрываемое. И постсоветский зритель, в отличие от критика, видит все это в силу исторической привычки к конспирации. Новую мифологию нельзя сделать предметом экспорта – для этого она слишком многое пытается скрыть от себя самой. В новой русской идее нет места ни общинному коллективизму, ни имперскому интернационализму прошлых времен. Если бы мир новых братьев со всех сторон не обступали придуманные им же враги, исчезла бы единственная причина его существования; главным же, неназываемым мотивом действий новых братьев является животная ненависть к закону, к тому, что объединяет людей на постоянной цивилизованной основе. Законом такого братства становится, что прекрасно знал еще маркиз де Сад, длительная цепь преступлений, завершающаяся взаимным истреблением романтиков преступления.

В российском обществе в последние годы возник негативный консенсус, известный в Германии по Веймарским временам, когда немцев самых разных взглядов и социальных слоев объединяло восприятие Версальского договора как национального оскорбления и унижения. Все хорошо знают, к чему привел этот национальный романтизм. Контуры подобного же негативного консенсуса, судя по большому успеху таких фильмов, как "Брат" и "Брат-2", намечаются и в современной России. Новая мифология должна объединить богатых и бедных, сильных и слабых, униженных и унизивших; в отличие от предшествовавшей ей идеологии пролетарского интернационализма, она не апеллирует к всеобщему, ко всему человечеству; она хрупка и пуглива, любой закон внушает ей ужас, воспринимается как невыносимое ограничение "свободы".

Создатели фильма "Брат-2", пишет совсем юный критик, "были не первыми, кто поимел барыши на коллективном бессознательном россиян. Ранее на месте провидцев от кинематографа оказались неведомые пророки от политики, в результате чего "родился" Путин".[2] Еще недавно в московском метро можно было видеть рекламу "Путин – наш президент, Данила – наш брат, Плисецкая – наша гордость". Данила Багров оказался на рекламном щите рядом с президентом Путиным неслучайно: он – такая же часть новой России, как и ее президент. Новая элита хочет, чтобы сильное государство защитило ее от иностранной конкуренции и международных юридических норм, которым

часто не соответствует ее экономическая деятельность (фильм хитроумно перекладывает вину за это на американцев); но для продолжения своего бизнеса эта элита нуждается в слабом государстве. Аналогичные страхи испытывают и другие слои нынешнего российского общества. "Народный фильм" выдает множество индульгенций разным слоям россиян, поэтому они и полюбили его, а его главный герой стал их кумиром.

Остается надеяться, что российское общество выйдет за пределы негативного консенсуса без эксцессов, которыми был отмечен недавний период немецкой истории, что у братства появится, наконец, реальное содержание, независимое от образа врага.

Примечания:

1. Искусство кино, № 11, 2000, с. 69.
2. Искусство кино, № 3, 2001, с. 34.

Being there
(ноябрь 2001 г.)

В начале октября этого года я вместе с английскими учеными, художниками и музыкантами участвовал в проекте *Zero Gravity*. Тем самым я попал в число немногих (если такие вообще были) философов, побывавших в невесомости.

Оказаться в расположенном под Москвой Звездном городке интересно само по себе. Это место, где готовят космонавтов, где находятся центрифуги, подводные модули, планетарий.

Но гвоздем программы был, конечно, параболический полет: десять кругов на самолете ИЛ-76 с двумя режимами двойной перегрузки (double gravity), длящимися в общей сложности около десяти минут и одним режимом невесомости (десять раз примерно по полминуты, всего около пяти минут). В полете участвовали и космонавты, для которых он был тренировочным. Все прошли медицинское освидетельствование и инструктаж на случай аварийных ситуаций.

Каждому подобрали парашют по росту, и вот мы, одевшись в специально сшитые в Англии костюмы с надписью "Microgravity interdisciplinary research", летим.

У большинства участников были свои проекты. Мой был, пожалуй, самым простым и в то же время неуловимым. Если другие участники заранее планировали художественные акции (невесомость, как известно, увеличивает возможности человеческого тела), научные эксперименты или реализовывали свои приватные фантазии, то моей задачей было просто фиксировать свое состояние во время разных фаз полета, не выделяя невесомость как нечто особенное. Перед полетом все участники волновались, так как были заранее предупреждены, что могут испытывать физические недомогания.

Как наступили первые два режима невесомости, я почти не заметил; они промелькнули очень быстро, так как сознание не успело адаптироваться к этому необычному состоянию и как бы "саботировало" его. Но постепенно, начиная с третьего раза, ощущение невесомости

стало более длительным, различимым; тела начинали парить в воздухе после команды "режим". Некоторых участников охватывала эйфория от возможности проделывать в невесомости сложные прыжки, пируэты, видеть летающие в воздухе предметы. Летая, я испытывал странное чувство, наблюдая, как в одном отсеке самолета (он был разбит сетками на три отсека) в воздухе справа от меня совершает невообразимые па профессиональная танцовщица, слева на "коврах-самолетах" катаются два переодетых сказочными джинами человека в оранжевых чалмах и красных шароварах, а рядом со мной другой участник подбрасывает в воздух ботинки своей дочери. У меня было ощущение, что я нахожусь внутри сразу нескольких несовместимых друг с другом галлюцинаций. Все это мелькало отдельными цветовыми пятнами, и я старался сосредоточиваться на них не больше, чем на всем остальном, сохраняя обычное присутствие. Важно было вовремя, за несколько секунд, перейти из режима невесомости в режим перегрузки. Перегрузка показалась мне не менее интересным состоянием, чем невесомость. В нем, особенно вначале, ощущаешь, как твоя грудная клетка, позвоночник испытывают удваивающийся вес тела; обычное поднятие руки в таком состоянии кажется небанальным физическим упражнением, и тело буквально вдавливается в пружинящие маты, покрывающие пол самолета. К тому же оба режима взаимосвязаны: в невесомость мы входили и выходили через перегрузку.

В измененном состоянии сознания я непосредственно ощущал себя частью новообразованного коллективного тела; я сопереживал тем участникам полета, которым становилось плохо (их рвало). Я старался считать число парабол, но не сумел это сделать, так как способность считать включилась не сразу. Когда мне казалось, что остается еще, как минимум, два круга, я с удивлением заметил, что участники полета, космонавты и инструкторы (на каждых двух участников был один инструктор, который отвечал за их безопасность), собираются в переднем отсеке самолета для общей фотографии. (Кстати, на борту было огромное количество профессиональной видеоаппаратуры.) Сначала, в особом состоянии сознания, я подумал, что готовится очередная художественная акция, и лишь некоторое время спустя понял, что десять кругов уже позади, и мы возвращаемся на аэродром.

Потом мы разговорились с членами лондонской группы "Slow Motion" о впечатлениях от полета. Я посмотрел на часы и поразился.

Прошло уже больше часа, а я был в уверенности, что все продолжалось не больше двадцати минут, т. е. время сжалось больше чем в три раза! Другие участники также говорили, что полет прошел слишком быстро, и они не успели выполнить все номера своей программы. Измененное состояние сознание и сжатие времени – это по сути одно и то же. Я ничего заранее не планировал; взлетая, я держался за горизонтальные перила, проходившие вдоль корпуса самолета; лишь один раз я поднялся вверх ногами к потолку и раз совершил в воздухе простое сальто.

В полете остро чувствуешь относительность своего тела: только что ты свободно парил в воздухе, и вот уже лежишь или, что тяжелее, сидишь и ощущаешь свой неумолимо возрастающий вес. Если переживать подобные состояния достаточно долго, то станешь относиться к своему обычному весу не более как к одной из возможностей тела; он перестанет быть чем-то естественным и нормальным, тем, по отношению к чему остальные состояния составляют исключения. Но даже кратковременное пребывание в режиме невесомости и перегрузки на некоторое время изменяет отношение к своему телу и его земным возможностям.

Между парением и вдавливанием было десять раз по три минуты обычного полета. Начав работать в измененном режиме, сознание сохраняло его во всех трех фазах, хотя во время невесомости преобладал эйфорический настрой, а во время перегрузки – депрессивный. В этом состоянии легко образуются спонтанные связи с другими людьми; твоя отделенность от них оказывается сомнительной, что также, вероятно, связано со сжатием времени. Отсюда можно сделать вывод, что мы осознаем себя индивидами в строго определенном режиме протекания времени, который привычка заставляет нас воспринимать как щадящий. Стоит этот режим изменить, и у нас возникнут с другими людьми связи, выходящие за пределы нашего обычного "я". Думаю, существенное (в два и более раз) замедление времени также отразилось бы на ощущении себя как индивида. Последнее представляется сущностным и неизменным в силу укоренившейся привычки.

Стремление воспользоваться невесомостью в прагматических целях, например, чтобы увеличить возможности своего тела, осуществив то, что в обычных условиях сделать невозможно (например, сразу несколько кувырков в воздухе), разбивает целостность опыта, которую

мне важно было сохранить. Этот опыт развивает интуитивный, невербальный компонент нашего сознания.

Организаторы полета из Звездного городка оказались симпатичными людьми, неплохо владеющими английским языком. Руководил полетом полковник с почти тридцатилетним стажем, тренировавший многих известных космонавтов. После завершения полета нас пригласили в большую комнату, где был накрыт стол, полковник поздравил нас в вступлением в клуб людей, испытавших состояние невесомости.

О быте Звездного городка в советские времена ходили легенды: там жили образцовые люди, там было особое снабжение, изобилие товаров, недоступное простым смертным. Сейчас видно, насколько скромными были потребности советских людей и какую революцию в потреблении пережили мы за последние десять-пятнадцать лет. Звездный городок сохранился таким, каким был в 60-е-70-е годы. Почти все в нем посвящено памяти Юрия Гагарина: центр подготовки космонавтов имени Гагарина, дом культуры имени Гагарина, множество памятников Гагарину, а стендов с его фотографиями просто не пересчитать.

За русско-советской космонавтикой стоит романтическая, коллективистская идеология, представление о Земле как о не самом удобном месте для человеческой жизни; как о месте, которое было бы желательно покинуть на как можно более длительный срок. После запуска в космос первого спутника и первого космонавта СССР на время заразил Запад этой романтикой. Космос был не просто сферой конкуренции военных технологией, хотя Запад всегда был настроен более скептически в отношении возможностей длительного пребывания человека в космосе. В СССР же романтика покорения космоса связывалась с господствующей идеологией, которая к настоящему времени лишь отчасти коммерциализовалась. К примеру, параболические полеты вроде того, в котором участвовал я, проводятся в Звездном городке в среднем один раз в месяц и рассматриваются как исключение в серьезной работе по подготовке космонавтов-профессионалов, которая, кстати говоря, занимает около девяти лет. Готовятся в Звездном и американские космонавты: в окружении девятиэтажных многоквартирных домов можно видеть два типичных американских коттеджа. Кафе там немногим отличаются от столовых советских времен:

выбор пищи невелик и готовят ее плохо. В сувенирном магазине мы увидели множество пасхальных яиц с космической символикой – еще одно доказательство того, что русский космизм является своеобразной религией, отчасти дополняющей православие, отчасти с ним конкурирующей.

Когда группа "Slow Motion" устроила в Доме культуры концерт под огромным портретом Гагарина, прижимающего к груди голубя мира, на него собрались в основном дети и подростки от 5 до 18 лет. Вначале они не знали, как реагировать на музыку в стиле техно с использованием записанных шумов, но потом стали танцевать, разбившись на группки.

Открытие Америки
(февраль 2002 г.)

После терактов 11 сентября отношение россиян к Америке и американцам изменилось по причинам, некоторые из которых я попытаюсь проанализировать в этом письме.

Во-первых, американцы стали вызывать сочувствие. "Теперь они, – слышится отовсюду, – впервые смогут понять нас, накопивших за последние десятилетия поистине огромный опыт, связанный с террором". Во-вторых, события 11 сентября позволяют, как кажется сейчас в Москве многим, увидеть в новом свете взрывы домов в России в начале осени 1999 года. Бессознательная потребность в такой аналогии, видимо, очень велика. Сразу после 11 сентября российские спецслужбы не раз официально заявляли, что, согласно имеющимся в их распоряжении сведениям, теракты в России и США были подготовлены и "спонсированы" одной и той же террористической организацией со штаб-квартирой в Афганистане и с филиалами в Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии и Пакистане (заметьте примечательное отсутствие в этом списке Ирака и Ирана). Помимо чрезвычайной жестокости, считает ФСБ, "в обоих случаях ясно прослеживается попытка устрашения общества и государства террористами для достижения ими политических целей".[1] При этом никаких доказательств в поддержку этого тезиса не приводится.

Потребность в оправдании Второй чеченской войны велика, а без взрывов жилых домов в Москве, Волгодонске и Дагестане начать ее было бы невозможно. Стало быть, если за ними не стоит "чеченский след"(а за два года доказать его так и не удалось), эта длительная, кровопролитная и дорогостоящая война становится еще более бессмысленной, чтобы не сказать абсурдной. И тут американская аналогия приходится как нельзя более кстати; ее стремятся сделать как можно более полной; в идеале события в России 1999 года и в Америке 2001 года должны совпасть, стать тождественными. Теперь вы, американцы, – повторяют про себя многие – можете, наконец, понять, почему

сотни тысяч москвичей в сентябре 1999 года сутками дежурили в подъездах своих домов, почему в отчаянии они одобрили новую войну – это случилось по тем же причинам, по каким вы после 11 сентября стали хуже спать, бояться летать на самолетах и почти единодушно одобрили акцию возмездия в Афганистане, не дожидаясь правового доказательства чьей-либо вины. Поскольку мы стали жертвами одного и того же, впервые возникла почва для взаимопонимания.

Короче, речь идет о сильной аффективной проекции, структура которой достаточно архаична, а "уязвимость" для рациональных аргументов минимальна.

Большинство россиян считает, что политическое положение их страны после 11 сентября улучшилось; с ней отныне будут больше считаться. Скрывающаяся за этим логика понятна: если небольшая группа фанатиков смогла нанести единственной сверхдержаве колоссальный материальный и моральный ущерб, то какая альтернатива остается стратегическому партнерству со страной, располагающей крупнейшими в мире запасами ядерного, биологического и химического оружия? Ведь даже акция возмездия в Афганистане была бы невозможной без помощи России и ее союзников в Средней Азии.

Из России, недавно утратившей статус сверхдержавы и усугубившей эту утрату драматическим снижением уровня жизни огромного большинства ее граждан, Америка виделась вызывающим зависть консумеристским раем, в двери которого она безуспешно стучалась. И вот оказалось, что за сверхдержавность также надо платить огромную цену, что обитатели "рая" столь же незащищены, как и их недавние стратегические противники. Впервые возникла ситуация, в которой объединение стало выгодно для обеих сторон.

Поль Вирилио считает, что события 11 сентября знаменуют собой поражение сетевой стратегии Пентагона и начало "акцидентальной войны" в глобальном масштабе: Жан Бодрийяр связывает с ними начало Четвертой мировой войны, которую бесповоротно глобализованный мир объявляет собственной глобализации; Славой Жижек пишет о возвращении США в "пустыню реального". Каждый из них по-своему прав, но из Москвы эти события видятся в несколько ином (хотя вовсе не противоречащим их диагнозам) свете: а именно они воспринимаются как подведение жирной черты под холодной войной советских времен и не менее "холодным миром" последнего десятилетия,

явившимся ее немощным и лицемерным продолжением. Если природа нового конфликта пока неясна, в одном сомневаться не приходится: противостояние старого типа окончательно лишилось смысла. Это поняли на Западе и в России: отсюда относительно благодушное отношение России к выходу США из договора по ПРО; поддержка акции в Афганистане; приглашение российского президента на ранчо президента США; перспектива отмены поправки Джексона-Вэнника; а, главное, переговоры с российским премьер-министром о возможном увеличении поставок нефти на американский рынок (что вполне понятно в свете вероятной атаки на Ирак и прогнозируемой реакции на нее арабских союзников Америки). Еще недавно все это было немыслимым, как теперь немыслима альтернатива новому ходу вещей.

Есть существенная разница в интерпретации событий 11 сентября и их последствий западными и российскими интеллектуалами. Для западных интеллектуалов эти события доказывают реальную имманентность глобализованного мира, мира, в котором границы уже не работают, в котором врага невозможно овнешнить, отделить от самих себя. На возможность усиления контроля за гражданами в ответ на эти события указывают почти все, но оценивают ее в основном негативно — в лучшем случае как необходимое и временное зло.

Иначе все видится из московской перспективы. Чтобы проанализировать эти различия, остановлюсь на точке зрения известного социолога Александра Ослона, президента фонда "Общественное мнение". Во-первых, потому что она типична, а во-вторых, так как автор обосновывает свои выводы и прогнозы данными социологических опросов. События 11 сентября он сравнивает с библейским Всемирным потопом, после которого неизбежен новый мировой порядок с новой системой координат. Условия вступления в него будут по-прежнему диктовать США, "так как они сильнее всех и нуждаются в этом больше всех"[2].

С одной стороны, контуры нового порядка еще не сформировались, с другой, их уже можно предвидеть. Так как же, по мнению Ослона, будет выглядеть мир после "потопа"? "Коренному пересмотру, — пророчествует он, — подвергнется представление о символической границе жизненного мира США с целью переопределить "своих" и "чужих". Произойдет глубокое размежевание с "чужими" и их отчуж-

дение".[3] Вместе с эпохой холодной войны, оказывается, уйдут в прошлое и представления об общечеловеческих ценностях, толерантности и едином мире. Мир будет поделен на три части: "цивилизованный мир" во главе с Америкой, "другой мир" и "варварский мир". Действие законов будет распространяться только на "свой, цивилизованный мир"; "другой мир" будут всячески дестабилизировать, а "варварский" безжалостно уничтожать. "Жизненным смыслом", "мощным импульсом" нового мира, его "идеологией" станет укрепление, охрана, культивация границы между ним и всем остальным (в ход пойдут цензура, тотальный контроль, смарткарты, невиданная ксенофобия). Этот сценарий "наиболее вероятен", потому что нанесенная США травма исключает более мягкие варианты. "В состоянии войны реальность становится черно-белой..."[4]

Как должна вести себя в новой ситуации Россия?

У нее есть два пути: в "цивилизованный мир" и в "другой мир" (в "варварский мир" она почему-то попасть не может). Но правильным является только один путь: Россия должна купить себе "входной билет в цивилизацию"[5], "оговорить свое место", "продиктовать условия вхождения"[6].

Более того, Россия уже вступила на этот путь осенью 1999 года, когда стала вести решительную борьбу с терроризмом еще до того, как это сделали США. (Перед нами почти точный пересказ слов президента Путина 24 сентября 2001 года: "Российская Федерация уже давно, опираясь исключительно на собственные силы, ведет борьбу с международным терроризмом..."[7]) Так что США с опозданием в два года последовали ее примеру. До волны террора рейтинг президента Путина колебался в районе 2 процентов, а потом рос на 4-5 процентов каждую неделю, достигнув к январю 2000 года невиданного уровня, 57 процентов. При аналогичных обстоятельствах взлетел и рейтинг президента Буша. Другими словами, Россия выбрала "цивилизацию" на два года раньше США и их западных союзников, так что ее вхождение в новую коалицию более чем естественно. Альтернатива для России будет выглядеть, по мнение социолога, катастрофично: ее ждут тогда одичание и распад. Но этого, к счастью, не произойдет благодаря "общности пережитого" и появлению "общего врага". "Люди ощущают, что у нашей страны появился шанс...использовать эту ситуацию для решения собственных проблем".[8]

Первое, что трудно понять в сценарии, который предлагает Ослон: чем, собственно, описанный им "цивилизованный мир" будет отличаться от оруэлловского мира тотального контроля, несовершенными работающими моделями которого были гитлеровская Германия, сталинский СССР, полпотовская Камбоджа и т. д.? Кто войдет в "другой мир" и в "варварский" мир? Почему предполагается, что пригрезившийся автору "цивилизованный мир" будет процветающим и богатым? Знает ли он, во что обойдется этому миру каждый из вводимых запретов? Известно ли ему, социологу, сколь неустойчив рейтинг, заработанный на страхе, войне и терроре?

Ослон предлагает извлечь политические и экономические дивиденды из возникшего у американцев чувства незащищенности, с которым россияне свыклись уже давно. Для этого он всячески раздувает аналогию между событиями осени 1999 года в России, сделавшими никому не известного Владимира Путина президентом, и событиями в США, невиданно повысившими (но не создавшими!) рейтинг Буша, уже избранного президентом не бесспорным, но все-таки законным путем. Получается, что события в США не были первым опытом террора нового типа, а в лучшем случае вторым – после российских. Президента Путина призывают использовать эту аналогию (выдаваемую за тождество) для того, чтобы вступить в новый мировой порядок на стороне победителей.

Сторонники данной аналогии, кажется, не осознают опасностей, которые она в себе скрывает. Если за взрывами жилых домов в России действительно, как гласит официальная версия, стоят чеченцы, то беспрецедентным в них является разве что полная контрпродуктивность этих терактов для их организаторов: развязав террор против рядовых россиян, они получили новую, еще более кровавую и разрушительную войну. В остальном же это вполне традиционный по методам и целям вид террора. Чтобы успешно выдавать эти взрывы за беспрецедентные в том смысле, в каком беспрецедентны события 11 сентября в Нью-Йорке и Вашингтоне, парадоксальным образом надо отрицать "чеченский след" и рассматривать другие, альтернативные версии. Но нельзя отстаивать "чеченский след", одновременно настаивая на беспрецедентности российских терактов; тут надо выбирать.

Одной из причин стремления нынешней российской власти заработать максимум очков на внешней политике является отсутствие но-

вых идей в политике внутренней: она то проповедует уважение к символам российской государственности (среди которых цинично называют икру, матрешку и медведя); то объявляет панацеей спорт, то военно-патриотическое воспитание в школах. При этом на реализацию этих старых советских идей не выделяется финансовых ресурсов или они остаются на бумаге. Общество страдает апатией; если еще недавно закрытие телеканала НТВ вызывало нешуточные страсти, изгнание тех же журналистов с шестого канала было замечено лишь немногими из их коллег.

Едва ли сближение с США, которое в принципе следует всячески приветствовать, что-то существенно изменит в этой ситуации в ближайшее время.

Примечания:

1. 11 сентября 2001. Первый день новой эры, Москва, Тайдекс Ко, 2001, с. 110.
2. Америка: взгляд из России. До и после 11 сентября. Москва, Институт Фонда "Общественное мнение", 2001, с.13.
3. Там же, с.14.
4. Там же, с.28.
5. Там же, с. 18.
6. Там же, с. 19.
7. 11 сентября 2001. Первый день новой эры...с.101.
8. Америка: взгляд из России...с. 20.

Кровь на белых одеждах
(май 2002 г.)

Недавно на экраны российских кинотеатров вышел фильм Алексея Балабанова под названием "Война". Он посвящен злободневной теме: Второй чеченской войне, начавшейся осенью 1999 года и продолжающейся до сих пор.

Герой фильма, русский солдат Иван, находится в плену у чеченского полевого командира Аслана Бугаева. Чеченские дети бьют русских пленных ногами, Аслан патологически ненавидит всех русских, грязно ругается, хвалится тем, что в Москве у него три ресторана, его четыре "бригады" (преступные группировки) ездят по всей России, добывая для него деньги и т. д. Показывается, как чеченцы перерезают горло двум русским пленным.

Иван через спутник выходит в Интернет, получая информацию для Аслана; поэтому его бьют меньше других.

Пленных держат в грязной яме. Там Иван знакомится с раненым офицером, который оказывается настоящим "мужиком", героем, которого ничто не может сломить. Он становится кумиром Ивана.

Чеченцы берут в плен двух англичан, Джона и его невесту Маргарет.

Потом они отпускают Ивана и Джона, оставляя Маргарет в заложниках: если Джон не соберет два миллиона фунтов за два месяца, ее изнасилуют и убьют.

Джону с трудом удается, продав все, собрать меньше четверти этой суммы. Он возвращается с этими деньгами в Москву, чтобы освободить Маргарет. В Лондоне ему предлагают за 200 000 фунтов снять репортаж о его поездке в Чечню, на что он сразу же соглашается. Он едет к Ивану в Сибирь, и они вместе оказываются в Чечне, где русский Рембо убивает чеченских боевиков и мирных жителей, включая стариков и женщин; берет в заложники чеченского "пастуха", которого избивает и использует как вьючное животное; добирается до аула Аслана; освобождает Маргарет и героя-офицера, победно возвращается

к своим, совершив много других подвигов и оставшись невредимым, как и положено герою боевика. За все это он не забывает взять с Джона свой "гонорар", 35000 фунтов, которые благородно жертвует на операцию спасенного им офицера.

Джон, сняв фильм, становится знаменитым и богатым, но у Ивана в связи с этим возникают проблемы, так как в фильме заснято то, как Иван убивает чеченских женщин, стариков и детей, избивает заложника и т. д.

Фильм построен как рассказ находящегося под следствием Ивана некоему журналисту о том, что же произошло. Иван надеется, что в тюрьму его все-таки не посадят, хотя, как он выражается, "хрен его знает" (т. е. могут и посадить).

Джон объясняет Ивану, что по-английски глагол "to shoot" означает одновременно "стрелять" и "снимать фильм". Пока Иван стреляет, Джон снимает свой фильм, который послужит доказательством виновности Ивана в убийстве мирных чеченцев.

Фильм снят в стиле видео, местами дрожащей камерой, чтобы создать впечатление документальности. Вторая его часть (возвращение Ивана и Джона в Чечню, месть Аслану, освобождение Маргарет и капитана) снимается как бы дважды: режиссером, имитирующим документальную съемку, и англичанином, делающим документальный фильм. Мы видим в основном первый фильм, но знаем, что есть и второй, обвиняющий Ивана в многочисленных убийствах. Фильм-апология делается для того, чтобы опровергнуть фильм-обвинение; при этом оба парадоксальным образом претендуют на документальность, на фиксацию событий и, казалось бы, фиксируют одно и то же.

Ролан Барт в книге "Мифологии" определил миф как "украденную и возвращенную речь"; механизм работы мифа заключается в том, что возвращают не ту речь, которую украли, а другую, идеологически приемлемую, как бы преображенную. Фильм "Война" устроен как миф: задача этого пропагандистского произведения – представить тождественное совершенно различным, выдать за событие правдоподобную ложь, в которую многим хочется поверить. На войне русские и чеченцы одинаково жестоки, с той лишь разницей, что у чеченцев нет авиации, артиллерии, танков. В фильме же эти виды жестокости подаются как совершенно различные. "Все чеченцы – бандиты," – утверждает освобожденный из плена российский солдат. Фильм строится как ил-

люстрация этого тезиса. Если бандитами являются все чеченцы, то любая жесткость по отношению к ним является не более как защитной реакцией нормального человека. Так как "свои" делают то же, что "чужие", важно создать максимально искусственную, но "правдоподобную" ситуацию, в которой жестокой оказывается только одна сторона, а другая всего лишь реагирует на зверства. Режиссер, выполняя социальный заказ, отождествляется с воображаемым одной, российской стороны конфликта: несмотря на декларируемую документальность, его интересует не то, что происходит, а то, какими хотели бы видеть себя травмированные войной люди. Балабанов откровенно подыгрывает стереотипам их видения своих действий. Если камера лжет всегда, то есть правильная ложь (фильм "Война") и неправильная ложь (фильм, который снимает Джон и который делает его знаменитым на Западе).

В результате ситуация переворачивается: если участников "зачисток" в Чечне судят крайне редко, а еще реже осуждают, то в фильме совершенные Иваном убийства, явно вынужденные обстоятельствами (к тому же чеченцы с самого начала подаются как такие звери, с которыми иначе поступать просто нельзя), тем не менее, возможно, даже подпадают под статью Уголовного кодекса Российской Федерации. Урок прост: вот какое мы на самом деле правовое государство, вот как у нас наказываются даже преступления, совершенные из благороднейших побуждений.

"Не смотрите на нас, как Джон, холодным глазом объектива, – как бы предупреждает иностранцев автор фильма. – Вы не понимаете, что такое Кавказ, что такое Россия, кто такие чеченцы, что такое эта война. И вы этого не поймете, сколько ни снимайте происходящее."

"War is not shooting, but shooting! War is bloodshed..."— кричит Иван Джону. "Война – это не съемки фильма, а стрельба! Война – это кровопролитие..." В конце концов пристыженный Джон признает, что он возмущается действиями Ивана лишь потому, что сам не умеет воевать.

Темы войны и "мужика" соединяются в фильме Алексея Балабанова в сцене, где Иван, возвратившись в Сибирь, посещает в больнице своего отца, участника войны, и тот как бы передает ему эстафету: "Это хорошо, что ты на войне был; война из парня мужика делает. А быть мужиком правильно; в мужике сила, все на нем держится...Эх, сейчас бы встать да на войну, Ванька..."

В этих фразах заключено столько цинизма, что сам режиссер едва ли полностью это осознает: трагедия людей, вынужденных убивать, выдается чуть ли не за профессиональный спорт, где победа достигается по определенных правилам. Иван попал на чеченскую войну не добровольно: он был призван на срочную службу и направлен в Чечню. Но после отцовского "благословения" он ведет себя как профессионал, вносящий в акт убийства сильный элемент наслаждения своей силой и неуязвимостью. Кроме того, он убивает за деньги, которые в конце фильма платит ему англичанин. Жестокость объясняется природой войны как таковой ("если не убьешь ты, то убьют тебя", – постоянно повторяет Иван своему спонсору-англичанину), но на самом деле проблема боевиков состоит в том, что их авторы *не в силах показать как раз жестокость войны.* Они дереализуют войну в такой степени, что зритель бывает упоен исключительно неуязвимостью героя. Боевики – это порнография войны; они предсказуемы и в то же время лишены простоты и первичности, которые отличают обычную жизнь. Большие массы людей, собственно, и любят эти фильмы за отсутствие простоты, которую они не в силах выдержать также в своей обыденной жизни. Создатели боевиков прекрасно это знают и подыгрывают широкой публике, которая расплачивается с ними признанием и звонкой монетой.

Боевики механистичны: зверства чеченцев показывают по возможности крупным планом, зверства Ивана – дальним. Поэтому то же самое в одном случае выглядит ужасным, невыносимым, а в другом – обычным, нормальным, заурядным. Если поменять эти сцены местами, Иван превратится в Аслана, и фильм можно будет показывать другой аудитории.

Сцена у постели больного отца, который передает сыну эстафету войны, – атрибут многих советских фильмов, прославляющих победу отцов в Великой Отечественной войне. Отец Ивана слишком молод, чтобы быть участником этой войны, но пропагандистское кино в очередной раз пытается использовать ту войну в политических целях, для оправдания совершенно другой войны. Война подается как инициация ("делает из парня мужика"), на которую надо соглашаться добровольно; напротив, пафос Отечественной войны состоял в том, что в ней участвовали не добровольно, а по необходимости.

После событий 11 сентября Поль Вирилио заговорил о начале "ак-

цидентальной войны" в мировом масштабе, войны без армий, без партнеров по переговорам, без знания стратегии противника. В том же контексте Жан Бодрийяр писал о Четвертой мировой войне, которую глобализованный мир фактически объявил самому себя, войне с противником, не поддающимся никакому овнешнению. О том, что ответственность за события 11 сентября нельзя локализовать, говорил во Франкфурте по случаю вручения ему премии имени Адорно и Жак Деррида.

Совершенно по-иному были, как я уже писал, восприняты эти события в России: границы, отделяющие "цивилизованный" мир от "другого" и тем более от "варварского" мира станут еще жестче, с правами человека будет покончено, "варварский" мир будет безжалостно уничтожаться.

Подобная уверенность в продуктивности насилия симптоматична для общества, уже третий год под названием "антитеррористическая операция" ведущего жестокую войну, которой не видно конца. Войне, как известно, предшествовали взрывы, прогремевшие в России осенью 1999 года. Им посвящен недавно вышедший в Москве роман Проханова "Господин Гексоген"[1] Это откровенно антикавказское и антисемитское произведение. Его герой, русский "патриот", участвует в заговорах двух российских спецслужб, которые имеют "мистический" смысл и противостоят сионистскому мировому заговору, понимаемому в стиле «Протоколов сионских мудрецов». Автор сравнивает взрывы домов в Москве с "целебными травами, исцеляющими Россию" и продолжает: "То, что тебе [русскому патриоту – М.Р.] предстоит увидеть с этой крыши – не взрывы гексогена, не повод начать вторую чеченскую войну и даже не средство привести в Кремль Избранника, а...начало нового мирового строительства..."[2]

"Мистицизма" в нынешней России не меньше, чем в Веймарской Германии: популярны мировые заговоры, тайные ордена, герои-спасители, неуязвимые киллеры. Живя в вымышленном психотическом мире суперменов, Избранников, врагов, изображаемых хищными животными, люди испытывают все больший страх перед внешним взглядом, перед тем, чему они дают совершаться, вытесняя травму в "высшие" сферы и тем самым капитулируя перед Воображаемым.

Недавно я получил письмо от московской еврейской общины, в котором предлагалось поддержать позицию Израиля в его конфликте

с палестинцами. Главным аргументом была аналогия с чеченской войной: как Россия ведет войну с терроризмом на Кавказе, так и Израиль борется *с тем же терроризмом* на палестинских территориях. Точно также российские спецслужбы после 11 сентября несколько раз утверждали, что взрывы в России организовали *те же люди*, которые нанесли удар по Нью-Йорку. Неопределенность в мире после начала "акцидентальной войны" настолько возросла, что дистанция перестает быть видимой, различия растворяются в сомнительных тождествах. Если террористы-самоубийцы действительно приходят с территории палестинской автономии взрывать израильтян, то участие чеченцев в организации взрывов в России так же не доказано, как и то, что Москву и Нью-Йорк атаковали одни и те же люди.

Авторы обращения явно считали мою поддержку Второй чеченской войны чем-то само собой разумеющимся, и хотели использовать ее в своих интересах. Это так же цинично, как и использование Холокоста для легитимации собственных ошибок. Я далеко не все понимаю в заколдованном круге насилия, уже полтора года захлестывающем Ближний Восток; но я не хотел бы выбирать правых по тому самому признаку крови, по которому не так давно приносили в жертву евреев.

Таков мой способ уважать память погибших в те годы: не пытаться использовать одну трагедию для оправдания другой; оставаться в мире различий, сопротивляться присущему мне, как любому человеку, стремлению дереализовывать источник собственной травмы.

Примечания:

1. А. Проханов. Господин Гексоген, Ad Marginem, 2002.
2. Там же, с. 426

Кто поджег Рейхстаг?
(август 2002 г.)

Способность предвидения, как известно, не является сильной стороной интеллектуалов; они привыкли, подобно сове Минервы, начинать свой полет в сумерки, на излете события, когда его остается прокомментировать. Не составляю исключения и я.

Я не думал, что на мой век выпадет время, подобное тому, которое Россия переживает сейчас. Мой круг общения сформировался около двадцати лет тому назад, и до недавнего времени казалось несомненным, что он устоялся и не претерпит существенных изменений: друзья останутся друзьями, знакомые – знакомыми.

Сейчас можно с уверенностью сказать: эти ожидания не оправдались; за последние пару лет по нашему кругу прошла глубокая трещина, и то, что пережило время застоя, "перестройку" и бурные годы ельцинского "дикого капитализма" в спокойные, на первый взгляд, путинские времена стало рушиться, ломаться, крошиться. Это похоже на пожар в торфянике, каких сейчас много вокруг Москвы: долгое время что-то просто дымится, тлеет, но когда пылающий в глубине огонь пожрет дерн, перед удивленным наблюдателем предстает совершенно иной, изменившийся ландшафт.

Если бы кто-то еще два года назад сказал мне, что философское издательство, одним из основателей которого я был, выпустит книгу "красно-коричневого" (так называют тех, кто умудряется заигрывать одновременно со сталинизмом, православием и национал-социализмом) оголтелого антисемита Александра Проханова, я подумал бы, что он не в своем уме.

Теперь я лучше начинаю понимать сталинские времена, когда самые интимные, долговременные человеческие отношения под воздействием колоссального социального катаклизма, именуемого коллективизацией, в считанные дни, недели, месяцы разлетались вдребезги. Конечно, теперь в России не те времена, все куда менее "эпично", но механизм в обоих случаях, тем не менее, схожий: предательство, бру-

тальное отречение от своего прошлого вновь делается пропуском в новую культурную среду, служит заявкой на социальный успех. Молодой литературный критик публично отрекся от своих недавних либеральных взглядов и получил за это место в "патриотическом" издании. Кто-то предает своего учителя, кто-то – друга; третий предлагает в качестве товара свою недавнюю гонимость и отказывается от вчерашних друзей; четвертый пускает в оборот интеллектуальный капитал, который ему не принадлежит. За всеми этими ситуациями стоят конкретные люди, имена собственные, извлекающие из своего отречения кратковременную выгоду и куражащиеся с экранов и страниц газет новоприобретенной "звездностью". Едва ли они понимают, что охватившая их эйфория – не более как форма переживания вины, распространяющейся на несколько поколений наших предков; гордясь своей якобы непостижимой для внешнего мира "русской спецификой", они по сути бравируют виной и поучают других, как из нее можно извлекать своеобразное (пусть кратковременное) наслаждение. Многие не менее фрустрированные, но менее удачливые люди восхищаются новыми "культурными героями" и тем самым запускают компенсаторный механизм, убеждающий "героев" в их нормальности и вменяемости.

Если в ельцинские времена что-то подобное происходило в относительно тонком слое, состоящем из чиновников, профессиональных преступников, милиции и "новых русских", то за последние годы такое положение дел распространилось на все общество, так что теперь уклониться трудно даже самому еще недавно аполитичному человеку. Новый герой постсоветской культуры – политтехнолог, специалист по политизации коммерции и коммерциализации политики, располагающий существенными финансовыми ресурсами и институциональной поддержкой. Политтехнологические схемы часто настолько изощренны, что вводят в заблуждение внешнего наблюдателя.

Возьмем в качестве примера шумное "дело писателя Владимира Сорокина", ставшее за последний месяц "дежурным блюдом" на радио, телевидении, в газетах, занимающее умы иностранных журналистов. Речь идет об обвинении в порнографии, выдвинутом против Сорокина "Идущими вместе", пропутинским молодежным движением. Казалось бы, перед нами очевидный рецидив советских времен: преследование писателя за его творчество. Но тот, кто поймет "дело

Сорокина" как возрождение брежневского сценария преследования писателя-диссидента, ошибется. Представьте себе, что в защиту Синявского и Даниэля высказался бы секретарь ЦК КПСС М. А. Суслов! Конечно, это невозможно, ведь тогда не было бы никакого процесса. Но в защиту Сорокина выступают ведущие московские пропагандисты: Сергей Ястржембский и главный политтехнолог Глеб Павловский. Можно ли вообразить себе, что советский прокурор попросит Синявского подписать его "антисоветский памфлет"? Между тем первый же визит Сорокина в прокуратуру закончился тем, что ее сотрудники попросили его сделать автографы на купленных ими экземплярах романа "Голубое сало", книги, за написание которой он обвиняется в порнографии.

Доволен и директор "Ад Маргинем" Александр Иванов, лицо которого не сходит с экрана телевизора и со страниц газет; тиражи "Голубого сала" и других книг Сорокина увеличиваются. И это после того как совсем недавно премии "Национальный бестселлер" удостоилась другая книга издательства – "Господин Гексоген" Александра Проханова, известного борца с "жидо-масонским" мировым заговором. Многие (и отнюдь не самые глупые) наблюдатели полагают, что политтехнологи используют издательство "Ад Маргинем" в своих целях, позволяя ему извлекать коммерческую выгоду из инсценировки политического преследования.

Но зачем, спрашивается, нужны по-иезуитски сложные инсценировки самим политтехнологам, идеологам новой формации?

Скорее всего, создаваемые и шумно рекламируемые искусственные события вроде "дела Сорокина" призваны служить своеобразным громоотводом, делая незаметными другие события, либо куда более травматичные для большинства россиян (постоянный рост цен на товары и услуги; кровопролитная война в Чечне, которой не видно конца), либо такие, резонанс от которых хотели бы сделать минимальным сами власти (оправдание офицеров, обвиняемых в убийстве Дмитрия Холодова, осуждение военного журналиста Григория Пасько и т. д.). Для этих целей идеально подходит маленькое интеллектуальное издательство, имевшее в недавнем прошлом безупречную международную репутацию, и международно известный писатель-концептуалист, преследовавшийся в советские времена. Политтехнологи специализируются на коммерциализации советских методов, которые в их испол-

нении приобретают иной смысл: "жертвам" они делают дополнительную рекламу, а сами идеологи решают с помощью вчерашних маргиналов задачи в совершенно другой, политической сфере.

Представьте себе, что было бы, если бы "Девичья игрушка" Ивана Баркова или "Жюстина" маркиза де Сада стали бы издаваться огромными тиражами, пропагандировались бы как массовая литература и попали бы в конце концов в руки старушек подобных тем, которым "Идущие вместе" бесплатно раздавали "Голубое сало" и изданный ими цитатник из произведений Сорокина. Нетрудно предвидеть, какой бывает в таких случаях реакция неискушенных в литературе людей: начинается истерика. Ранние тексты Сорокина связаны с эстетикой московского концептуализма и неотделимы от его полемики с соцреалистическим каноном в советской литературе, и многочисленные "эксцессы" (половые акты, дефекация, мочеиспускание и пр.) в них становятся понятными только в этом контексте, а не буквально; они не существуют сами по себе, не являются неким отдельным от всего остального "товаром". В последних романах Сорокин стремится превратить их в такой товар, в фирменный знак, по которому он стал бы опознаваем на рынке. Этот товар под названием "цинизм" максимально широко транслируется прежде всего, на мой взгляд, не по коммерческим, а по политическим причинам, хотя обе эти сферы в современной России пребывают в неестественной, симбиотической близости (так что многие даже их путают). Да, политтехнология – это ставшая коммерцией политика, которая, будучи политикой, разрушает любую конкурирующую коммерцию, так как располагает неизмеримо большими, прежде всего институциональными, ресурсами. Последние три года ее адепты практически монопольно контролируют трансляцию массмедийных образов, потребляемых значительно более широкой аудиторией, чем тексты; поэтому тексты становятся приложением к тиражируемому образу, и определить конкурентный спрос на них нельзя до тех пор, пока за ними сохраняется статус приложения к образу.

Пару дней тому назад по радио передали, что писатель Владимир Сорокин подал на движение "Идущие вместе" в суд за противозаконное издание цитатника из его произведений.

В связи с событиями последнего времени мне все чаще вспоминается весна 1983 года, когда первым человеком в партии стал Юрий

Андропов. Тогда я в первый раз в жизни непосредственно столкнулся с системой советского "правосудия". Мать моей жены судили по статье 190, часть 1: "за распространение сведений, порочащих советский государственный и общественный строй". Ученый-геолог, она вынуждена была преподавать йогу, так как ей и ее семье отказали в выезде на Запад и она лишилась работы. Кто-то в ее группе получил откровение свыше (мистического свойства) и она разрешила размножить его на машинке. Там была фраза, в которой Брежнев и Рейган уподоблялись "драконам" – это и вменялось ей как "клевета на советский строй". В зале суда была оставлена одна скамейка для родственников; остальную публику, на вид рабочих, привезли на автобусах, чтобы никто из посторонних не мешал отправлению "правосудия". Судом уверенно управлял майор в черной кожаной куртке, так что адвокат не имел против обвинения никаких шансов. "Эксперт", кандидат философских наук (!), требовал более сурового наказания за сравнение Брежнева с «драконом», но в результате суд ограничился "мягким" приговором – 2 года лагерей общего режима. Семейная ситуация усугублялась тем, что младшей дочери осужденной было тогда всего одиннадцать лет...

Когда речь заходит о "либерализме" Юрия Андропова, я не могу не вспомнить и о том, что другая знакомая тогда же была осуждена за принадлежность к кришнаитам, и у нее в заключении погиб новорожденный ребенок.

Тогда не было политтехнологий, спецслужбы оставались исполнителями партийной воли, которую суды оформляли как государственную. Сейчас политтехнологи заполнили зияние, образовавшееся из-за исчезновения партийной идеологии, и стали добиваться репрессивных целей более экономно, местами даже изощренно. К тому же у них появились новые, неожиданные союзники.

Какой вывод можно из всего этого сделать?

Недавно я пересмотрел фильм Лукино Висконти "Гибель богов". В одном из его первых эпизодов показано празднование дня рождения патриарха немецкой сталелитейной династии; за столом собирается все олигархическое семейство. Торжество прерывает один из родственников, влиятельный член SA: "Только что я получил сообщение из Берлина. Подожжен Рейхстаг! Это сделали проклятые коммунисты, двое из них уже арестованы". Все начинают возмущаться актом "национального предательства", и только один из присутствующих

возмущенно говорит: это сделали сами нацисты для того, чтобы развязать в стране террор и подавить остатки гражданских свобод. Его дружно осуждают за "антипатриотические" речи, вспыхивает ссора, возмутитель спокойствия с семьей уходит из-за стола. В новой Германии для него уже нет места: сначала его превращают в разыскиваемого преступника, а потом в жертву нацистского террора.

Самое интересное состоит в другом: в речах этого смутьяна, Герберта Тальмана, не было для большинства присутствующих *ничего нового.* Просто он стал рупором их же бессознательного: ведь втайне они наслаждались тем, что *это* не может быть сказано публично (впоследствие подобный же механизм сработает в отношении Холокоста). На Тальмана переносится сила вытеснения, заставляющего миллионы фрустрировнных людей наслаждаться своей маленькой тайной в надежде, что внешний мир, – это сборище завистников и врагов великого народа, – никогда о ней не узнает. Обладание тайной сплачивает людей, и они особенно яростно обрушиваются на того, кто решается ее профанировать.

Другими словами, озвучивая бессознательное наших современников, мы брутально вмешиваемся в процесс наслаждения вытесенным, за которым, естественно, скрывается фрустрация.

Я по-новому пережил этот эпизод из давно знакомого фильма, быть может, потому, что в моих письмах для Lettre Inrenational в последние годы наметился сходный механизм: в них присутствуют фрагменты того, что подверглось вытеснению и о чем не очень приятно знать, в том числе и мне самому.

Я пишу эти строки на веранде подмосковной дачи, где еще совсем недавно, два-три года тому назад, собирались друзья; среди них Владимир Сорокин, Александр Иванов...

Каким далеким кажется теперь то время.

“Стокгольмский синдром”
(ноябрь 2002 г.)

Когда вечером 23 октября группа чеченских террористов захватила театральный центр на Дубровке, где шел мьюзикл “Норд-Ост”, взяв в заложники не менее 800 человек, было выдвинуто по сути одно требование: “Прекратить войну в Чечне!”. На следующий день они выпустили одну из заложниц, и та от имени остальных зачитала обращение, в котором содержалось требование срочно прекратить войну, а еще через день, уже почти перед захватом, родственники заложников по требованию террористов провели рядом с Красной площадью демонстрацию под лозунгом прекращения войны.

Лет тридцать тому назад труппа террористов в Стокгольме захватила заложников, которые настолько отождествились со своими захватчиками, что полностью приняли их сторону против властей; некоторые из них, кажется, даже погибли при штурме, обороняясь вместе с террористами. Отсюда пошел термин “стокгольмский синдром”: когда жертва принимает сторону преступника против своего официального защитника, государства.

Сразу же после захвата театрального центра московские масс-медиа заговорили о том, что, судя по звонкам с мобильных телефонов, заложники поддерживают требование террористов о прекращении войны и буквально умоляют власти ни в коем случае не начинать штурм здания. В связи с этим представители властей и некоторые журналисты заговорили о “стокгольмском синдроме”, т. е. о возникшем в травматической ситуации сообщничестве заложников и террористов. Но так как требование Бараева и его сообщников сводилось, собственно говоря, к прекращению Второй чеченской войны, получалось, что “стокгольмским синдромом” страдает значительно большее число россиян; по опросам больше половины россиян выступают за прекращение войны, переговоры и вывод войск.

Я сам страдаю “стокгольмским синдромом”, причем в хронической форме; еще три года назад я участвовал в митингах против этой

войны, на которые тогда собиралось не больше 200 человек. Апатия остальных, надежда на то, что "авось нас это не коснется" была официально поименована здоровьем, хотя даже на поверхности все выглядело совершенно иначе. Лично я не знаю в Москве ни одного патриота, готового лично пойти на чеченскую войну или послать на нее своего сына, мужа, брата и т. д.. Мысленно я называю этот феномен "эрзацпатриотизмом": некто испытывает к другому народу (а на более глубоком уровне к самому себе) враждебные чувства, но не хочет подвергать из-за этого свою жизнь и здоровье риску; это за него должен делать кто-то другой, кадровый офицер, контрактник или призывник. Ограничиваясь воинственными заявлениями, подобные люди, концентрация которых в Москве очень велика, делегируют других на реализацию ненависти, которая сейчас фокусируется на чеченцах, но имеет куда более сложное происхождение. Не знаю, каким синдромом страдают подобные люди, но превращать их в образцы психического здоровья явно преждевременно и ошибочно.

23 октября барьер, отделявший относительно обеспеченную Москву с ее оживленными казино, ресторанами, мьюзиклами и концертами, с ее многочисленным сытым бомондом, кочующим с одной презентации на другую, с ее миллионами жителей, которые ничего не хотели бы знать о жестокой войне, идущей за 2000 км. от столицы и упрятанной под эвфемизмом "контртеррористическая операция", рухнул, и фрагмент Чечни неожиданно образовался в центре Москвы. Журналисты с ужасом повторяли, что захваченный террористами Театральный центр находится всего с 5 километрах от Кремля. Новость о географической близости теракта от центра российской власти повторялась как заклинание: это случилось не просто в Москве (что уже само по себе сенсационно), но всего в нескольких километрах от места, где находится президент Путин. Почему-то Кремль, место, где принимались и принимаются основные политические решения, связанные с двумя чеченскими войнами, парадоксально считался особо неуязвимым для последствий этих решений; московский теракт нанес удар по этой иррациональной вере, что повергло столичных жителей в шок. Между тем трудно не согласиться с мнением поэта Дмитрия Пригова: "Если попытаться посмотреть на все произошедшее более спокойно, то возникнет недоумение, почему это случилось только сейчас. Ведь вероятность таких событий была достаточно высокой с

момента начала Второй чеченской войны".[1] Но можно поставить вопрос и по-другому: может быть именно *иррациональность* веры в собственную защищенность на фоне чужой трагедии и была причиной шокового состояния москвичей после 23 октября? Возможно, будь мы способны "посмотреть на произошедшее более спокойно", как предлагает Пригов, не было бы не только московского теракта, но и самой чеченской войны. К сожалению, большинство наших сограждан в 1999-2000 годах захотело сохранить личную неуязвимость в ситуации войны, и экспортировать насилие вовне, избегая при этом бумерангового эффекта.

Поэтому общественное мнение и масс-медиа поставили перед властью не метафизический, а скорее технический вопрос: как такое число боевиков со столь большим количеством оружия и взрывчатки оказалось в центре Москвы на четвертом году "антитеррористической операции" (в ходе которой, если верить генералам, почти все боевики были уничтожены или перешли на сторону федеральных сил)? Куда смотрели ФСБ и МВД? Как они допустили такое?

Именно так звучали вопросы, адресованные силовым ведомствам в первые же часы после событий в Театральном центре. Ответа не последовало; зато президент Путин в присутствии силовых министров озвучил другой вопрос: как следует ответить на вызов международного терроризма, жертвой которого Россия стала вслед за США, Индонезией и другими странами?

На этот раз чеченцы действительно стилизовали теракт в "фундаменталистски-исламском" стиле, заявив о своих целях через ту самую телекомпанию "Аль-Джаазира", которая обычно транслирует заявления Бен Ладена и других членов "Аль-Каиды"; чеченки-смертницы были одеты как арабские женщины, а обращение главы террористов Мовсара Бараева было выдержано в духе обращений палестинцев-смертников. Возможно это было сделано по требованию тех, кто финансирует чеченских сепаратистов.

Тем не менее все требования захвативших Театральный центр террористов сводились к прекращению войны в Чечне, а сам захват был почти точной копией аналогичных акций в Буденновске и Первомайске, но принципиально отличался как от взрывов осени 1999 года в России, так и от атаки на Америку 11 сентября 2001 года. "Неужели это одна и та же сила, – задается вопросом журналист Александр Мин-

кин, – сперва взрывает дома, чтобы начать войну, а потом берет заложников, чтобы ее прекратить? Уж больно разный почерк".[2] Кроме того, московский теракт протекал по известному образцу: предварительная подготовка (тайная фаза операции); захват крупным отрядом известного полевого командира большого числа заложников; предъявление требований, связанных с приостановлением военных действий в Чечне; демонстрация жесткости по отношению к заложникам и одновременно готовности к переговорам с представителями российских властей и т. д. "Звездный час" терроризма этого типа – телефонный разговор Шамиля Басаева с премьер-министром России Виктором Черномырдиным летом 1995 года, за которым последовало триумфальное возвращение отряда Басаева в Чечню и приостановление военных действий.

Чего захвативший Театральный центр на Дубровке отряд Мовсара Бараева явно не учел, так это логики новой власти, которая отказалась вступить с террористами в переговоры и уже на третий день после пленения санкционировала штурм, стоивший жизни 50 боевикам и более чем 129 заложникам (цифра скорее всего не окончательная, так как многие люди числятся без вести пропавшими).

По свежим следам штурм поспешили объявить чрезвычайно успешным, но когда вырисовались масштабы потерь среди заложников, его стали оценивать куда скромнее. Множились вопросы: почему не был задействован переговорный потенциал? Почему члены отряда Бараева, многие из которых под воздействием газа пребывали в бессознательном состоянии, были не взяты в плен, а почти поголовно уничтожены? Как получилось, что, хотя поводом для штурма был объявлен расстрел заложников, их, по свидетельству очевидцев, террористы не расстреливали? По чьей вине заложникам после штурма не были вовремя сделаны уколы антидота, которые могли спасти им жизнь? Почему от врачей скрывали формулу газа, примененного при штурме и, тем самым, подвергали жизнь людей дополнительной опасности? Как получилось, что оцепление пропустило в зал "Норд-Оста" двух нетрезвых людей (мужчину и женщину), которых террористы расстреляли?

И это еще далеко не все вопросы, которые обсуждаются в московской прессе в связи с событиями 23-26 октября.

В результате у многих наблюдателей укрепляется убеждение, что спецслужбы действовали по значительно более жесткому сценарию, чем

ожидали и прогнозировали террористы. При каждом удобном случае Бараев и его помощники повторяли сакраментальную фразу: "Мы больше хотим умереть, чем вы жить". Чем же тогда объяснить то, что они не взорвали себя и заложников, хотя (в этом сходятся все) у них было для этого достаточно времени? Возможно произошло это потому, что они не просчитали столь жесткий вариант штурма и не были готовы к нему; что они исходили из того, что власти не решатся поставить под угрозу жизни такого числа заложников, среди которых было много иностранцев. Но те не только рискнули взять зал "Норд-Оста" штурмом, но и после штурма продолжали проявлять непостижимую жесткость, как если бы люди, официально провозглашенные "абсолютно невинными", но заразившиеся за эти дни "стокгольмским синдромом", стали пособниками поверженного врага, и абсолютной ценностью в глазах их спасителей являлась уже не их жизнь, а, как это было в советские времена, государственная тайна. В этой атмосфере даже более чем понятное желание врачей узнать, чем именно отравили их пациентов, стало восприниматься как недозволительное вмешательство в сферу компетенции спецслужб.

В результате создалось впечатление, что главной целью спецоперации на Дубровке было уничтожение террористов, с которыми с самого начала, в отличие от Буденновска, никакие переговоры вести не предполагалось. И в этом следует видеть не капризы отдельных лиц, а то, что отличает новый тип власти от старого, путинскую Россию от ельцинской. Вторая чеченская война лежит у истоков новой власти; Владимир Путин был избран президентом в качестве "сильной руки", призванной "умиротворить" Чечню и навести порядок в России. Особенно неудобным для его режима было то, что предъявленное террористами требование не содержало в себе ничего экзотического и пассивно разделялось значительным числом россиян. Если бы чеченцы хотели денег, наркотиков, выезда в третью страну или даже освобождения из тюрем их товарищей, это было бы менее взрывоопасно; но то, что их требование стало рупором чужого бессознательного, голос которого другие в себе подавляют, угрожало самой логике новой власти и поэтому нуждалось в быстром и брутальном ответе. Другими словами, с точки зрения самосохранения и самовоспроизведения власть действовала совершенно логично, чего нельзя сказать о спасении жизней заложников, оказавшемся подчиненным (как это нередко бывает

на войне) этой более важной цели.

Переговоры с террористами вели исключительно люди, не имевшие никаких официальных полномочий; к концу второго дня их возможности были полностью исчерпаны, и штурм стал неизбежным. Ресурсы публичной политики были задействованы лишь для того, чтобы выиграть время, и это красноречиво говорит о ее месте в современной России. В этой ситуации выиграть у Путина на следующих выборах никто не может и мечтать – выбирать придется между разными способами содействовать его победе.

В результате московского теракта как из рога изобилия посыпались радикальные меры: армия, заявил президент, будет переориентирована с противостояния НАТО на борьбу с международным терроризмом (хотя военным неясно, как это можно сделать); резко увеличены ассигнования на борьбу с терроризмом в бюджете 2003 года; несмотря на уверения, что терроризм не имеет национальности, у чеченцев органы МВД берут отпечатки пальцев; Дания становится объектом яростных нападок за отказ отменить Всемирный чеченский конгресс; ограничиваются права прессы при освещении контртеррористических операций; принимается закон, запрещающий возвращать родственникам тела убитых террористов и т. д.

События 23-26 октября крайне обострили противоречия государства, которое хочет быть авторитарно-полицейским и свободно-рыночным одновременно, выступать перед внешним миром как прозападное, а изнутри разыгрывать националистическую карту. После теракта Путин начал почти буквально цитировать слова Буша о терроризме как об угрозе нового типа, а в официальных масс-медиа стало хорошим тоном приводить в пример бескомпромиссные методы израильского спецназа. При этом без ответа остался вопрос о том, хотели бы власти, чтобы их граждане ежедневно переживали то, что уже долгое время переживают граждане Израиля, а именно страх перед ставшими обыденными взрывами.

Эти два с половиной дня раскачали Россию, и теперь умиротворять надо не только Чечню. Власть не ответила ни на один из заданных ей вопросов, а это не может не раздражать. Она повела себя как каста жрецов, которой интересы простых верующих известны лучше их самих, и она дала ответы на собственные вопросы, – и это также не может не раздражать.

В прессе и на телевидении применительно к заложникам постоянно употреблялось словосочетание "абсолютно невинные". Понятно, что огромное большинство собравшихся на мьюзикл "Норд-Ост" не участвовали в военных действиях в Чечне, и в этом смысле они, конечно, невинны. Но никто из этих людей и их сограждан, за исключением детей, не невинен *абсолютно*, поскольку война ведется с санкции, данной ими власти на выборах 1999-2000 гг., и с их молчаливого (или прямого) согласия. Если заложники абсолютно невинны, действия террористов лишаются какого-либо, пусть даже извращенного, смысла и, в частности, становится непонятным, почему этот теракт вызвал в обществе такой мощный резонанс.

Все три года второй чеченской войны я прожил, осознавая, что далеко не невинен, хотя я не голосовал ни за "Единство", ни за президента Путина и участвовал в двух-трех крайне немногочисленных манифестациях против войны, когда она еще не была предана забвению. Однако я жил в тех же 5 километрах от Кремля так, как если бы никакой войны в моей стране не было; я, как и большинство моих сограждан, *как бы* не замечал зачистки, полуголодное существование в лагерях беженцев, фильтрационные пункты, зверства с обоих сторон. Я слышал обо всем этом, но жил так, как если бы оно не касалось меня; я убеждал себя, что все равно ничего не могу изменить и мне не остается ничего другого как молчать.

Эти чувства испытывают сейчас многие. "Мне кажется, – пишет в "Известиях" Наталья Сотникова из Петербурга, – то, что произошло в Москве, это расплата – за двойную бухгалтерию, согласно которой жизнь разных людей разного стоит, за нежелание вникать в то, что означают слова "зачистка", "беженец", "палаточный городок", "блок-пост", за кровожадное разглагольствование наших депутатов о какой-то там высшей целесообразности (заметьте, их дети при этом не гниют в окопах, а благополучно учатся в англиях, швецариях, америках), за сытую жизнь в пределах отдельно взятой Москвы".[3] "Заложники, если они не были связаны с армией, с милицией, – вторит ей Татьяна Захарова, – не знают, сколь велики потери среди чеченцев, каковы зверства нашей российской армии...Я в любое время пошла бы на демонстрацию под лозунгами "Прекратить войну в Чечне!", а не только сейчас. Преступно говорить, что такая демонстрация – уступка террористам, нет – это выражение воли многих нормальных россиян".[4] Сколько по-

добных высказываний раздавалось в России в эти дни!

Ситуация парадоксальна. С одной стороны, заложники объявляются абсолютно невинными жертвами террористов, но с другой, они же заболевают "стокгольмским синдромом" и начинают хотеть чего-то столь противоестественного, как окончание войны. Эпидемия "стокгольмского синдрома" быстро перекидывается на родственников заложников, которым власти вынуждены были разрешить собраться рядом с Красной площадью и под диктовку террористов потребовать прекращения Второй чеченской войны. Когда я с женой пришел на это место (напротив собора Василия Блаженного), родственников заложников там уже не было, а среди примерно сотни людей треть составляли журналисты. Короче, обычная картина. Будь, подумалось мне, здесь в тысячу раз больше людей, на штурм бы скорее всего не решились.

Известный театральный режиссер Марк Розовский, сообщила мне незнакомая женщина, у которого в заложниках была несовершеннолетняя дочь, просил присутствующих как можно скорее разойтись и не раздражать власти. Он, видимо, понимал, что судьба его дочери зависит не только от террористов, но и от тех, кто хочет их сокрушить. Право призвать перед телекамерами к окончанию войны он получил не как гражданин, а как отец заложницы, якобы заразившийся "стокгольмским синдромом", на самом же деле осуществляющий хитрый обманный маневр от имени российских властей. Печально, что эту максиму здравого смысла его в данном случае заставили с дозволения властей озвучить террористы, причем в столь непрозрачном контексте.

Я с трудом могу представить себе, скажем, чтобы в Америке конца 60-х начала 70-х гг., сотрясаемой демонстрациями против Вьетнамской войны, террористы захватили бы театр или супермаркет с единственным требованием: "Остановить войну во Вьетнаме!"

В связи с московской трагедией мне почему-то вспомнилось начало книги Мишеля Фуко "Надзирать и наказывать", где подробнейшим образом описывается казнь Дамьена, покушавшегося на жизнь Людовика XV. Дамьен, бесспорно, государственный преступник, но расправа с ним отдает чрезмерной, символической жестокостью; разрушая его тело, королевская власть утверждает свое право господствовать над *намерениями* своих подданных. Она их устрашает, настаивая

на своем праве лишать жизни и вытеснять в смерть, в основе которого лежит фигура короля. Покушаясь на жизнь монарха, совершают сверхпреступление, которое требует сверхнаказания. "Важно ли, что она [т. е. абсолютистская власть – М.Р.] поражает и невиновных!" ("qu'importe qu'elle frappe des innocents!")[5] Не стал ли, напрашивается вопрос, после 11 сентября международный терроризм новым видом сверхпреступления, нуждающимся в сверхнаказании?

Теракт в Москве был сразу же истолкован властями как вызов лично президенту Путину и всей его властной вертикали, как покушение на суверенность власти. При таком понимании он нуждался в подавлении любой ценой; поэтому один из бойцов спецназа, участвовавших в штурме Театрального центра, заявил: "Мы решили террористов живьем не брать"[6], – как если бы это входило в его компетенцию. Террористов стремились вытеснить в природу, объявить зверями, растоптать, проигнорировать их требования, заставить действовать более бесчеловечно, чем те намеревались. После штурма по телевидению долго показывали трупы поверженных врагов, в том числе и женщин, причем рядом с телом главы отряда Бараева стояла непочатая бутылка коньяка "Хенесси". Выяснилось, что это своеобразная визитная карточка группы "Альфа", один из командиров которой, видимо, его застрелил. Я лично сомневаюсь в эффективности подобных методов устрашения; они скорее способствуют героизации погибших, зотя бы на их родине.

В советские времена тонули подводные лодки, падали самолеты, взрывались склады с ядерными отходами, – и все это на многие десятилетия засекречивалось; с родственников погибших брали подписку о неразглашении государственной тайны, какой становилась смерть их сына-отца-мужа. Конечно, в полном объеме воспроизвести эту логику в нынешних условиях невозможно; современная Россия не обладает такой степенью закрытости не только потому, что среди заложников было много иностранцев, но и благодаря значительно лучше развитой информационной инфраструктуре.

Террористы не поняли, что Чечня начинается сразу за стенами Кремля, что жизнь москвича и гостя столицы, хотя и значительно лучше защищена информационно, в глазах властей не является целью в себе. Они явно переоценили разницу между отношением к их землякам и к остальным гражданам России (даже таким привилегированным, как

москвичи); последняя к тому же, повторяю, зависела скорее от развитости столичного информационного поля, чем от доброй воли властей. Власть, напротив, делала все от нее зависящее для того, чтобы дезинформировать своих граждан. Чего стоило, например, утверждение врача одной из больниц, куда привезли заложников после штурма: если верить ему, те умерли не от неизвестного газа, а от дурного обращения с ними боевиков, а спецсредства во время штурма вообще не применялись и т. д. Или категорическое заверение в том, что никаких без вести пропавших нет. От этих и подобных им заявлений пахнуло советскими временами.

Узел проблем, резко обострившихся в результате теракта, завязался еще осенью 1999 года, когда разочарованные и измотанные псевдорыночными реформами люди делегировали доставшуюся им свободу государству национальной безопасности, символом которого стал президент Путин. При этом они едва ли отдавали себе отчет в том, что нынешнее российское государство – скорее огромная частная корпорация, нежели коллективистский институт советского типа. Всеобщим был фактически объявлен частный интерес этой обширной корпорации, которая и не собиралась, – и не могла бы, даже если захотела, – возвратить россиянам "преимущества реального социализма" (нулевую безработицу, стабильный курс рубля, статус великой державы и т. д.), чья утрата ими болезненно переживалась. В результате новой власти оставалось лишь имитировать советские стереотипы, за которыми теперь скрывается иное содержание, и сплачивать общество, создавая образ врага.

После событий 23-26 октября Думой был одобрен закон о работе средств массовой информации в условиях проведения контртеррористических операций, в котором многие видят дальнейшее ограничение свободы слова в России. В законе имеется в виду прежде всего освещение средствами массовой информации захватов заложников Буденновского, Первомайского, Московского типа. Однако едва ли этот жанр террора в условиях современной России будет иметь продолжение. Терроризм грозит стать куда более безличным (в стиле российских взрывов 1999 года и атаки на Америку 2001 года), не задающим вопросов, не предъявляющим политических требований, не допускающим переговоров. Эти "театральные жесты" были жестко пресечены новой российской властью. Уникальность московского захвата

состояла в том, что не только террористы подняли планку радикализма, проведя операцию в центре российской столицы, но и власть преподала им урок радикализма, который они (я имею в виду, конечно, не исполнителей, а организаторов) не скоро забудут.

В результате чеченская проблема оказалась загнанной в тупик взаимного ожесточения, который не сулит ничего хорошего обоим сторонам конфликта.

Примечания:

1. Дмитрий Пригов. Пропасти нашего времени. – Независимая газета, 30.10.02.
2. Александр Минкин. Спасены или убиты. – Московский комсомолец, 29.10.02.
3. Слезам Москвы не верят. – Известия, 04.11.02.
4. Там же.
5. Michel Foucault. Surveiller et punir, P., Gallimard, 1975, p. 76.
6. "У ребят было настроение – бандитов живыми не брать!" – Комсомольская правда, 26.10.02

Осторожно, война!
(февраль 2003 г.)

14 января 2003 года я побывал на открытии выставки "Осторожно, религия!" в Выставочном зале Музея имени А.Д.Сахарова. На ней куратором Арутюном Зулумяном были собраны работы 39 художников и двух артгрупп; представлены были не только москвичи, но художники из Армении, США, Японии, Болгарии, Чехии и т. д. Были как известные имена, так и дебютанты; как много раз выставлявшиеся работы (в основном известных художников, для которых эта выставка была "проходной"), так и те, которые я видел впервые.

В последнее время я редко хожу на вернисажи. Я не арткритик, а философ; современное искусство интересует меня постольку, поскольку оно дает пищу мысли, выполняет критическую функцию; в этом отношении московское искусство последних двух десятилетий прошедшего тысячелетия представлялось мне более продуктивным, чем нынешнее. Но на этот раз в выставке, во-первых, участвовало много друзей и знакомых, а во-вторых, было интересно, что современное искусство может сказать о религии.

Ничего сенсационного, на мой взгляд, сказано не было: известный соцартист Александр Колосапов, с середины 70-х годов живущий в Нью-Йорке, продолжал свою серию работ с символикой фирмы Кока Кола (изображение Христа на красном фоне и надпись сверху Coca Cola, а снизу — "This is my blood"); Елена Елагина выставила фотографию работы, которая хранится в немецком частном собрании; работу Ирины Вальдрон с овечкой Долли я также уже видел; группа "Синий суп" задокументировала старую акцию и т. д. Обвешанные разноцветными лампочками буквы "РПЦ" (Русская Православная церковь) и оклад с красным восклицательным знаком внутри него также не показались мне особо радикальными художественными жестами.

Каково же было мое удивление, когда через четыре дня выставка была разгромлена шестью мужчинами, утверждавшими, что являются православными верующими и усматривают в большинстве работ выс-

тавки вызывающее глумление над их верой. Часть работ была забрызгана краской из пульвелизатора, часть сорвана со стен и валялась на полу, часть разбита. Причем пострадали именно христианские символы, а языческие остались невредимыми. Смотрительница успела вызвать милицию, погромщики были арестованы, обвинены в хулиганстве и выпущены под залог.

Остался разгромленный зал с надписями "Вы ненавидите православие, вы прокляты", "Мрази", "Бесы" и т. д. Мало кто поверил, что погромщики пришли на выставку случайно и спонтанно выразили свои "религиозные" чувства. Постсоветские люди, приученные десятилетиями политического бесправия, по привычке боятся давать себе волю в публичных пространствах. К тому же с ними была группа поддержки, состоявшая из пожилых женщин, символизировавших народный гнев.

Через два дня версия о неспонтанном, подготовленном характере происшедшего получила подтверждение, когда митрополит Кирилл, один из главных иерархов РПЦ, назвал выставку "прямой провокацией, создающей напряжение в нашем обществе", которая "должна быть квалифицирована как преступление"[1]. Затем последовало обращение деятелей науки и культуры, усмотревших в выставке "оскорбление национальной святыни, Православия, русской нации, веры отцов, самой России", "последнюю каплю, переполнившую чашу народного терпения"[2]. Появились листовки, призывавшие всех православных обращаться к прокурору Москвы с обвинением художников-"кощунников" в разжигании религиозной розни. При этом никто из обвинителей не видел саму выставку, не разбирался в современном искусстве; национально-ориентированными представителями культуры просто озвучивалась информация, полученная от третьих лиц, которые скорее всего и стояли за всей компанией. Едва ли такими организационными и информационными возможностями мог обладать ретивый батюшка, пославший группу правоверных сокрушить "супостатов". На пресс-конференции, собранной в Сахаровском центре, также преобладали представители националистической прессы, обвинявшие художников и правозащитников во всех возможных грехах в столь истерическом тоне, что диалог с ними был практически невозможен. Хотя никто из художников не декларировал антиправославную направленность своих работ, собравшиеся повторяли: "Почему

все вы так ненавидите именно православие, а не другие конфессии?" Было впечатление, что задававшие вопросы не только знают друг друга, но твердо уверены, что и художники представляют собой сплоченную группу, которой некто дирижирует.

Потребность защитников православия в образе врага была так велика, что невольно навязывала и художникам, и правозащитникам успокоительно-терапевтическую установку: так обычно говорят с сильно возбужденными людьми, которых стараются не переспорить, а успокоить.

Одной из загадок современной России является для меня то, каким образом психотическая речь сочетается у одних и тех же людей со сравнительно адекватным и даже циничными поведением.

За последние годы положение современного искусства в Москве изменилось до неузнаваемости. В 1993-1997 годах экстремальные действия в художественном и социальном пространстве осуществлялись самими художниками, прежде всего Александром Бреннером, и воспринимались как стратегия, направленная на обнаружение пределов групповой терпимости. Теперь порог терпимости резко понизился, а радикализм утратил художественный характер: речь уже идет не о радикальном искусстве с социально-критическими притязаниями, а о терроре против самого института современного искусства, тончайшими нитями связанного с философией, литературой, наукой. Модернизация общества в таких условиях становится невозможной; вместо гражданина на сцену выводится неуверенное в своих правах, запуганное и агрессивное существо, которому повсюду чудятся образы врага.

Художники хотели продолжения экспозиции в разгромленном виде, в качестве напоминания о том, что произошло, но Сахаровский центр опасался, что она может стать объектом дальнейших актов вандализма, а средств на обеспечение охраны у него не было. В любом цивилизованном городе мира эту функцию взяла бы на себя полиция, но этот вариант даже не обсуждался.

В результате организаторы и исполнители разгрома выставки "Осторожно, религия!" добились своих целей: они не просто навязали выставке статус "антиправославной" и "сатанинской", но утвердили свое право и в будущем громить то, что сочтут нужным, соединяя в себе функции прокурора, судьи и палача. Более того, сами того не понимая, они стали полноправными участниками художественного про-

цесса; ведь выставка стала событием не столько в момент ее открытия (это было собрание слабо связанных между собой работ на заданную тему), сколько *в момент разгрома*, когда всем этим работам был буквально навязан статус кощунственных, оскорбляющих чувства верующих, губительных для подлинной русской культуры. Художники не объединились против религии в художественном пространстве, а были насильственно объединены в пространстве религиозно-политическом. Колоссальная потребность разгромивших выставку людей в образе врага превратила художников против их воли в сплоченный коллектив: оказалось, что они безумно ненавидят миллионы православных христиан, и этими ненавидимыми уже прокляты, объявлены "мразями", "кощунниками", "бесами". Такой страстной проекции меньше всего можно было ожидать от людей, которые не видели выставку и ничего не понимают в современном искусстве.

Короче, пока люди неспособны отрефлексировать свою потребность в образе врага как внутренне им присущую, существующую *до и независимо* от конкретного врага, пока они наивно наслаждаются механизмом овнешнения своей травмы, переживая в этот момент *иллюзию катарсиса*, найдутся и те, кто сможет этот процесс структурировать и канализовать, указать на нужного врага, даже такого безобидного, как художник. Нужен только повод, и название выставки (лозунг "Осторожно, религия!" в советские времена использовался в атеистическим целях) его дает. Остальное – дело техники одних и фрустрации других людей, из взрывного соединения которых возникает произведение "погромного" искусства, превращающее разрозненные работы в параноидальное целое.

Современная Россия является светским государством, в котором религия отделена от государства; другими словами, православие находится под такой же защитой закона, как и другие конфессии, в том числе атеизм и агностицизм. Эта ситуация не устраивает православных фундаменталистов и их покровителей. Они требуют для своей веры и ее носителя, русского народа, особого законодательно-закрепленного статуса. Ибо только тогда-де в России будет порядок. "...порядок, — пишет один из авторов, — это прежде всего иерархия. Порядок – это наличие в государстве закона о государствообразующей титульной нации (о русском народе). И тогда все станет на свои места – основные символы и духовные святыни будут определены непосредственно в

государственном законе и защищены им. Последователи нынешних "акционеров" попросту побоятся устраивать подобные выставки"[3]. Печатные выступления врагов современного искусства звучат угрожающе еще и потому, что их авторы самонадеянно выступают от имени всего народа, в то время как художники и правозащитники говорят от своего имени и от имени существующего закона (радикального изменения которого добиваются националисты).

За всем этим стоит событие, упоминание о котором не встречается ни в одной из многочисленных публикаций о разгромленной выставке; именно оно определяет климат, в котором подобные эксцессы становятся возможными и терпимыми. Это событие — Вторая чеченская война, длящаяся уже четвертый год. На фоне этого события разгром выставки современного искусства выглядит незначительным эпизодом, от которого можно отмахнуться как от назойливой мухи. Эта война совсем не похожа на Первую чеченскую войну; тогда художник Александр Бреннер, стоя рядом с алтарем Елоховского собора, кричал "Чечня! Чечня!" и разбрасывал антивоенные листовки, за что верующие, не прибегая к помощи милиции, просто вытолкали его из церкви. Теперь же ситуация перевернулась, и уже правозащитно-художественные пространства оскверняют от имени веры, грозя пострадавшим художникам всеми возможными карами и призывая верующих писать доносы в прокуратуру на тех, чьи работы те даже не видели. Аналогичное явление в литературе о Второй мировой войне получило название *Verrohung* (огрубение, ожесточение, очерствление): находясь длительное время в состоянии конфликта, общество начинает рассматривать эксцесс, крайность если не как норму, то как не заслуживающую внимания мелочь. Веру, являющуюся еще слишком внешней и ритуальной, стараются "углубить" с помощью насилия. Именно потому, что церковь благославляет войну, объявляя "православное" оружие богоугодным [4], собрание разностильных работ заочно объявляется ее иерархами коллективным преступлением против веры. Только развитое гражданское общество может поставить пределы наслаждению фрустрированных людей проекциями собственной вины, и только для такого общества потребность в современном искусстве является органичной.

Внутрироссийская война по-новому ставит множество привычных вопросов. Какова природа репрезентации в такой период? Имеет

ли право художник, критик, куратор, директор музея делать вид, что ничего особенного не происходит, когда на территории его страны каждый день гибнут, исчезают, получают ранения и подрываются на минах его сограждане? Не является ли в такое время обсуждение на телевидении и в других масс-медиа самых, на первый взгляд, невинных профессиональных вопросов формой легитимации создавшейся нетерпимой ситуации?

Да, формально эта война не объявлена, точнее, объявлена несуществующей, но она продолжается и ее все труднее локализовать.

Чем дольше она будет длиться, тем труднее будет избежать неприятных для нашего самолюбия вопросов.

Примечания:

1. Андрей Попов. Пирровы победы митрополита Кирилла. – Независимая газета, 22 января 2003г.
2. Портал Credo.ru, 22 января 2003г.
3. Капитолина Кокшенева. Злоумышленное глумление – Литературная газета, 5-11 февраля 2003 г., с. 4.
4. Глеб Якунин. Исторический путь православного талибанства, М., Приложение к “Газете региональных правозащитных организаций”, 2002, с. 41-42.

Электронный кнут
(май 2003 г.)

Важным знамением времени представляются мне "бандитские" телесериалы, которые в России показывают последние годы почти по всем каналам. Иногда два-три таких фильма идут одновременно, и часто один и тот же актер в одном из них играет бандита, а в другом бизнесмена или стража порядка. Подобная взаимозаменяемость, возможно, составляет часть замысла создателей сериалов: борьбу с преступлением в них действительно трудно отличить от самого преступления и от связанного с ним бизнеса. Преступление настойчиво стремятся нормализовать, сдвинув социальную норму за пределы закона; закон выставляется на продажу как товар. В одном из сериалов журналист добывает информацию о том, что фирма не уплатила налогов на огромную сумму. Сотрудники фирмы пытаются его подкупить, но безуспешно. И тогда банкир, на которого он работал, за большие деньги договорившись с конкурентом, напоминает журналисту, что у него есть дети и расправиться с ними ничего не стоит. В результате журналист за 1 миллион долларов отдает ему папку с опасной информацией.

Бизнесмены, герои сериалов, часто "вынуждены" расправляться с конкурентами и ближайшими помощниками, подкупать чиновников и подозревать весь мир в заговоре против них и их фирмы; их семейная жизнь, как правило, не складывается, жены их не понимают, они разводятся и т. д.

Зачем, много раз спрашивал я себя, снимаются эти сериалы? На кого они рассчитаны? Почему их показывают в prime time? Неужели телезрители могут отождествиться с крайней деструктивностью этих малоталантливых лент?

Новых богатых показывают в повторяющихся "шикарных" интерьерах, в которых отсутствует фактор времени: все вещи новые, блестящие, только что из магазина. За видимой самоуверенностью героев скрывается комплекс неполноценности, связанный с отсутствием социального воспризнания. Они уверены, что к ним плохо относятся

другие, но на самом деле им не за что уважать самих себя. Они лишь могут транслировать деструктивные импульсы, обрекая зрителей на фрустрацию.

Здесь в который раз дает о себе знать принципиальная разница русского и западного мазохизма. На Западе это регулируемый договором приватный ритуал, в рамках которого жертва часто также выполняет функции актера и режиссера. Эта сцена желания распадается на множество фрагментов, каждый из которых имеет собственный сценарий. В отличие от этого в "бандитских" сериалах деструктивный импульс, с которым не могут отождествиться даже его носители, транслируется на миллионную аудиторию. Уникально здесь, собственно говоря, то, что транслируется сама фрустрация без какой-либо надежды на отождествление. Узкий слой новых богатых еще настолько разобщен, что выносит свои неразрешимые проблемы на суд телезрителей.

На самом деле эта традиция не так уж нова. Уже Достоевский в "Зимних заметках о летних впечатлениях" связывает наказание кнутом с братством, носителем которого является русский народ. Жертва не отождествляется с палачом; наказание слишком жестоко, чтобы из него можно было извлечь мазохистическое удовольствие. Зато возникает что-то, напоминающее святость и противостоящее буржуазному индивидуализму. В каком-то смысле "бандитские" сериалы – это массмедийный эквивалент телесного наказания; а поскольку чаще всего их показывают на государственных каналах, телезритель-налогоплательщик еще и оплачивает собственное унижение. В рядовом зрителе предполагают запредельный мазохизм, снимая буквально сотни фильмов на явно непопулярные темы. В воображении он должен присоединиться к клубу новых богатых, вступать в который его никто не приглашает и из которого постоянно выносят трупы его членов.

Перед нашими глазами разыгрывается апокалипсис братства: массмедийным кнутом зрителей секут за их же собственные деньги; их перекармливают блюдами, которые они не заказывали и которые не способны переварить.

На первый взгляд, это напомнило мне то, как подается жизнь звезд в популярном московским издании "Караван историй"; при всем своем богатстве и известности знаменитости сплошь и рядом предстают на страницах журнала страдающими существами с тяжелым характером, трудным детством, неустроенной личной жизнью, пристрастием к

наркотикам и т. д. И это создает основу отождествления с ними широкой публики. Впрочем, здесь аналогия заканчивается. Ведь в "бандитских" сериалах страдание героев является результатом преступлений, *направленных против зрителя*, что надежно блокирует любое отождествление. Короче, эти образы требуют не отождествления, а безусловного подчинения, признания зрителем собственного подчиненного положения. Вместо обмена предлагается акт устрашения.

По Достоевскому, кнут производил братство, поскольку, униженное индивидуально, тело должно было в результате подняться до осознания коллективной святости. Электронный же кнут вместо братства производит апатию перед лицом агрессивности героев сериалов, которые непрерывно охотятся друг на друга. В этом мире нет ни прочных семейных связей, ни длительной социальной памяти.

Выражается ли в этих сериалах отчаяние общества, которое стоит на пороге заключения нового социального договора, условия которого еще не прописаны? Или в подобном обществе договор невозможен вообще?

Действующие в сериалах "феодалы" лишены традиций и родовых имен и опознаваемы только через временное владение ресурсами (в том числе и деньгами), за которые надо постоянно вести смертельную борьбу. В этом владении нет устойчивости обладания, закрепляющего за его носителями фиксированный социальный статус. Оно несет с собой угрозу, создает больше проблем, чем разрешает.

Все это мог бы без труда понять представитель западного среднего класса, которому вряд ли когда-то представиться случай увидеть эти сериалы. Но едва ли это послание доходит до целевой аудитории таких фильмов, людей малообеспеченных, которые видят сияющие новизной дорогие вещи, роскошные машины, заглядывающих в глаза хозяев слуг и другие атрибуты российского варианта *dolce vita*.

Возможно вал "бандитских" сериалов является реакцией на советский идеологический культ простого человека, от имени которого снималось огромное большинство тогдашних фильмов. В результате реформ средний россиянин не только обеднел, но и утратил статус героя; он теперь никого не интересует. Нынешние правители России, похоже, не понимают, что апатия может составлять куда большую проблему, чем активное отстаивание людьми своих законных прав. Опасность монополизации политического измерения узким кругом "про-

фессионалов" заключается в том, что отлученное от политики большинство будет нуждаться с их стороны в постоянной, длительной опеке. Но нынешний строй отличается от советского тем, что не имеет ни ресурсов, ни даже намерения осуществлять подобную опеку; поэтому, казалось бы, ему противопоказано подражание советским методам. Однако понимают ли это новые идеологи?

В финале сериала "Другая жизнь" процветающие россияне после многочисленных конфликтов собираются, наконец, за новогодним столом. С экрана телевизора президент Путин обращается с посланием к народу. На вопрос о том, кого она любит, молодая девушка отвечает: "Его." — "Кого его?" — переспрашивает соседка. "Его" – повторяет девушка, указывая на экран. "Ну, — замечает собеседница,- в этом нет ничего удивительного: 80% всех российских женщин любят Президента". "А остальные 20% просто недостаточно молоды и красивы, чтобы об этом мечтать" — добавляет еще один гость. Итак, обнаруживается общий знаменатель между неуверенными в себе "хозяевами жизни" и дезориентированным большинством – это фигура Президента, которого надо любить. Его массмедийный образ поддерживает крайне хрупкое социальное равновесие.

Недавно я побывал на ежегодной ярмарке "Арт-Москва". В самого входа посетителей встречала работа "Возвращение янтарной комнаты", состоящая из огромного числа небольших изображений президента Путина. Около десятка других произведений так или иначе развивали эту тему.

Массовая культура в России еще не сложилась, и чем меньше политическое измерение присутствует в собственно политических институтах, тем упорнее политические стратегии переносятся на сферу культуры. Культурные продукты все чаще производятся с целью достижения политического эффекта. Сообщение о популярности того или иного произведения передается по множеству каналов: в результате эффект популярности создается независимо от спроса. Возникает постсоветский вариант контролируемого культурного рынка. Не читатель, зритель, слушатель выбирает то, что ему нравится, выбор спускается на массовую аудиторию сверху, как бы совершается за нее. Псевдомассовая культура изготовляется за массы элитами профессионалов, преследующих не коммерческие, а политические цели. Основные акты купли-продажи осуществляются в политической сфере, после чего со-

ответствующие продукты выставляются на продажу. Даже если желающих их потребить оказывается немного, они успешно функционируют в качестве суррогатов массовой культуры.

Смысл некоторых идеологических утверждений советского периода обнажается только сейчас. Так, пропагандистский тезис, согласно которому в мире капитала за деньги покупается все, реализуется в постсоветском обществе. То же относится к положению о постоянной эскалации насилия в кино и на телевидении западных стран. Канон показа насилия не претерпел в этих странах существенных изменений (после 11 сентября в США появились даже некоторые новые табу). Через спутниковую антенну я смотрю множество иностранных каналов, и могу с уверенностью сказать, что ничего подобного "бандитским" сериалам в мире не наблюдается; это уникальный постсоветский феномен.

В последние годы сбывается тезис советской пропаганды о том, что недопустимо высокий уровень насилия на экране существует, но достигает его не заокеанская массовая культура, а прямые наследники того же агитпропа. Ближайшее будущее советского общества тогдашним идеологам, как выясняется, удалось описать точнее, чем прошлое западных обществ.

Мы живем во время, которому еще нельзя поставить диагноз. Циническая установка новых идеологов позволяет им одновременно высказывать несовместимые вещи, а перепроизводство утверждения парализует критическую дистанцию. Еще недавно маргинальные авторы, пройдя через новый политический фильтр, пропагандируется как кумиры широкой публики. Задача внедрения преступления как нормы представляется вчерашним маргиналам столь "романтической" (вспомним, к примеру, фильмы А. Балабанова "Брат-2" и "Война"), что их недавняя элитарность по сравнению с ней отходит на второй план. Писатели с "демоническими" претензиями также получают в эпоху "бандитских" сериалов свой шанс. Новые идеологи, новые богатые и их любимцы в области культуры – это как бы советские люди будущего. Они были гонимы в советский период по сходным причинам: тогда категорически запрещалась приватизация как материальных благ, так и дискурса. При Ельцине в основном завершилась приватизация материальных ресурсов; при Путине активно идет приватизация дискурса, идеологическое оформление первой приватизации. Тексты,

фильмы, картины, отвечающие вкусам новых идеологов и/или новых богатых, успешно выдаются за выбор большинства.

За исключением короткого ленинского периода интеллигенция в России еще не вершила политику столь непосредственно, как в последние годы, но если тогда реализовывался утопический, общечеловеческий проект, то ныне господствуют разочарование, опустошенность и цинизм, безуспешно выдаваемые за прагматизм. Похоже, советская история, наконец-то, прошла свой полный круг.

II.

Структура травмы

Медиум и автор

Писать о творчестве Владимира Сорокина непросто. И дело не столько в разнообразии жанров, в которых он работает, сколько в том, что он постоянно ставит под вопрос свой статус автора. На протяжении 80-х годов он настаивал на том, что он - не писатель; собственные тексты виделись ему если не антилитературой, то по меньшей мере чем-то безразличным литературе, или, наоборот, тем, чему литература безразлична. В его ранних книгах - "Первый субботник", "Норма", "Очередь", - присутствие коллективной речи столь массивно и несводимо", что авторство на первый взгляд ограничивается простой компоновкой и режиссурой. Иллюзия того, что говорит "Оно", местами является полной. Впрочем, она длится лишь до того момента, пока райская просветленность коллективной речи вдруг, безо всякой подготовки, не оборачивается чудовищным действием, совершенно не вытекающим из предшествующего повествования. Речь становится действием-в-речи, и хотя пишущий сохраняет при этом максимально возможную невозмутимость (это - часть его искусства), читатель испытывает настоящий шок.

Обнажение изнанки коллективной речи - фирменный знак раннего Сорокина. Он принадлежит к числу тех редких в истории литературы скрипторов (в письме прежде всего что-то записывающих, переписывающих), которым изначально открылось нечто настолько существенное, что оно обречено на повторение. Собственно, об этом существенном - о насильственности коллективной речи, о ее деструктивном потенциале - знали многие, но Сорокин первым начал работать с этим контекстом систематически. Он стал сгущать речевые массы в подобие индивидов - можно назвать это "стадией Франкенштейна" - и заставлять их действовать в этом сгущенном состоянии. Говорящих вынуждают, матерясь и давясь, съедать собственную речь, переваривать ее и испражняться ею. При этом вычисляются их естественные реакции вплоть до рвоты и происходит регрессия с оральной ста-

дии на анальную. Писатель с самого начала отождествил необходимый и вместе с тем достаточно отталкивающий акт поглощения собственных фраз с фекальностью, с обобщенной, если угодно, экскрементальностью. Читатель "Нормы" прекрасно понимает, из чего, из какого вещества сделаны поедаемые советскими людьми брикеты. Это вещество одновременно отделимо и неотделимо от поедающих его людей. Это как бы овнешненный продукт их внутренней деятельности, дополнение, без которого они не могут существовать и отправлять другие функции. "Норма" нормальна только для них: ее поглощение создает условия жизни в сообществе себе подобных; съедается только наговоренное вещество. Цельность соседствует в обществе "нормы" с инфантилизмом. Поэтому когда речь переводится в перформативный план, это имеет разрушительные последствия. Действие здесь никак не подготовлено предшествующим речевым рядом, как если бы его производил неожиданно заработавший механизм. В финале "Романа" его главный герой работает как мощная овощерезка: он измельчает, нарезает персонажей, в его действиях обнаруживается что-то кулинарное, хотя приготовленное блюдо уже никто не в состоянии попробовать. В конце этого гигантского эпизода уже мало кто помнит, что речь прежде всего идет о самоликвидации русской литературы и что последняя фраза "Роман умер" относится не столько к Роману-персонажу, сколько к роману-жанру.

Явление тела у Сорокина всегда происходит неожиданно, как извержение вулкана. В рассказе "Свободный урок", прочитав нотацию провинившемуся ученику, учительница как бы в дидактических целях показывает ему свои половые органы; члены редколлегии в рассказе "Деловое предложение", только что говорившие на нормальном, "деревянном" языке, в финале ведут себя как гомосексуалисты.

В "Тридцатой любви Марины", наиболее похожем на роман тексте Сорокина, он опробовал обратную схему: поглощение телесных функций ортодоксальной коллективной речью. Детальное описание изнасилований и лесбийских сцен служит в "Марине" прелюдией к оргазму героини в объятиях парторга завода, который переходит в трудовой оргазм и, в конце концов, в полное растворение в стихии идеологической речи (в стиле газетных передовиц начала 80-х годов). Больше он, насколько мне известно, не экспериментировал с этой перевернутой схемой, возвратившись к старому надежному оружию — шоку

в финале спокойного, лирического или идеологического текста. Как бы то ни было, "Тридцатая любовь Марины" — редкий в творчестве Сорокина текст, заканчивающийся на ноте если не умиления, то подъема, на нисходящей линии индивидуации. Этим романом также исчерпывается его интерес к миру диссидентской культуры.

Вопрос об отношении Сорокина к эстетике московского концептуализма не так прост, как может показаться. С одной стороны, наличие концептуальных ходов в его текстах бесспорно. С другой же, субстанция его литературы и ее строение заметно отличаются от того, как работают другие концептуалисты. Неортодоксальным его делает романтическое желание шокировать, быть неприемлемым, воплощать в своем письме изнанку литературы. Во всяком случае, как стало особенно ясно в последние годы, к истории русской литературы Сорокин имеет отношение не меньшее, чем к истории московского концептуализма. Именно в силу того, что у этого письма есть длинная предыстория, оно постоянно пытается ликвидировать собственные предпосылки (особенно это очевидно в "Романе", "Сердцах четырех" и "Dostoevsky-trip") — не случайно в нем сочетаются *загробность* и новизна. Уже в ранней, медиумической, фазе проявляется присущий Сорокину дар описания, умелое обхождение с нейтральными знаками письма, серьезное отношение к традиции (в частности, соцреализма). Именно на эти слои накладывается экскрементальная тема: писатель сознает себя канализационной трубой, через которую прокачивают каловые массы коллективного бессознательного. В ранний период он достигает подлинной виртуозности, которую, однако, не следует путать с профессионализмом в западном понимании слова, выражающемся в фигуре интеллектуала. Радикальный отказ Сорокина от авторства был в это время также связан с тем, что он чувствовал избирательное сродство с представителями "высокого" сталинского соцреализма (Павленко, Бабаевским, Пырьевым) в противоположность тому, что воцарилось под тем же названием в 80-е годы и, претендуя на мастерство, домогалось статуса профессиональной литературы *a la russe*.

Сорокин ощутил себя писателем, когда литература перестала быть доминантой русской культуры. И если раньше он говорил: "Я — не писатель", то теперь главной темой его интервью стал конец литературы, ее капитуляция перед электронными средствами массовой информации, в особенности перед телевидением и кино. Искромсав роман на

мелкие куски, писатель-медиум поставил себе целью перепрыгнуть в постлитературу. Критерием при этом оказалась уже не неприемлемость, а сила воздействия на читателя. Если раньше шок в идеале мыслился как настолько мощный, что его нельзя было квалифицировать в терминах "литература — нелитература", то теперь он стал дозироваться и превратился в сильное, но обычное средство воздействия (в арсенале более технологичных искусств есть средства и посильнее). Большая часть написанных им в 90-е годы текстов ориентирована на произнесение актерами и относится к жанру экспериментального театра и кино. Ставя между собой и публикой исполнителя, писатель получает возможность дозировать шоковое воздействие. Происходит странная вещь: чтобы стать автором, Сорокин жертвует повествовательными формами (прежде всего романной), в которых традиционно формировался институт авторства. Как беллетрист он приобрел черты авторства лишь *post facium*, и пришли они к нему окольным путем, через театр и кино.

Когда коллективные тела вступают в эпоху распада, писатель-медиум пытается работать с продуктами этого распада так же, как делал это раньше, во время их господства. Здесь, однако, возникает одна трудность; в фазе распада эти тела одновременно самопародийны и открывают в себе такие запасы нерастраченного цинизма, что из их дистанционного созерцателя писатель рискует превратиться в их соперника и конкурента. В 80-е годы Сорокин привык работать с телами речи, переведение которых в план действия заканчивается для них катастрофой. Продукты распада таких тел непосредственно катастрофичны. Они сами стремятся шокировать, совершать нечто неслыханное. Попытки восстановить по отношению к ним созерцательную дистанцию, как правило, не удаются. Новообразовавшиеся тела сами медиумичны и невольно делают все для того, чтобы затруднить работу медиума. Поскольку новой формой невинности оказывается цинизм, эти тела также невозможно совратить. Говоря о кризисе литературы, Сорокин прежде всего имеет в виду кризис словесности в русском понимании этого слова, закат литературы, претендовавшей обволакивать собой весь мир. Как выяснилось уже позднее, осуществлявшаяся с помощью этого типа литературы репрессия в числе прочего составляла питательную почву для существования андерграунда. Он, собственно, и был реакцией на организованную, институционализованную реп-

рессивность, будучи связанным с ней теснее, чем кто-либо еще десять лет назад отваживался предположить. Письмо раннего Сорокина также подпитывалось этой репрессивностью, причем его гонимость и неприемлемость лежали значительно глубже простого социального обличения в духе шестидесятников. Более десяти лет он работал как сапер, взрывавший коллективную речь, так что вокруг него, подобно брызгам, разлетались в стороны комочки тела, попадая в лицо самим говорящим. Иногда им, давясь и ругаясь, приходилось съедать свою собственную речь. Но потом, на стадии распада, этот процесс стал внутренним продуктом их жизнедеятельности. В "Романе" писатель совершил акт заклания литературы, поставив точку в конце целого периода своего творчества. Речью в "Романе" давятся уже не люди, не ее производители, — речью должна подавиться сама же речь. Сначала роман как жанр должен овладеть именем Роман, а потом и уничтожить самого себя.

После "Романа" из сорокинской прозы исчезает целый пласт: я имею в виду описания природы с их идилличностью и созерцательностью. Эти невозмутимо нейтральные, иногда довольно длинные куски текста создавали писателю — поверх концептуализма — длинную литературную генеалогию, восходящую к русскому классическому роману, один из канонов которого (толстовский) был завершен Набоковым, а другой (восходящий к Достоевскому) — Платоновым (практически) и Бахтиным (теоретически). Любопытно, что в пьесах и киносценариях 90-х годов Сорокин возвращается к своему раннему произведению, принесшему ему международную известность, переведенному на 10 языков, но до сих пор не опубликованному полностью в России, — к "Очереди" (1982—1983). Эта книга строится исключительно на прямой речи. В ней нет авторских ремарок. Зрение в ней полностью растворено в перформативных речевых актах. "Очередь", условно говоря, вещь дороманного периода — "Тридцатая любовь Марины", "Роман" и "Сердца четырех" были написаны уже после нее, соответственно в 1983—1984,1985—1989 и 1991 годах.

В построманный период в работах писателя вновь доминирует прямая речь, хотя и в более конвенциональном виде. Если вначале это была контролируемая речь, экстатичная разве что в целом, в сцеплении всех высказываний, то в 90-е годы мы имеем дело с речью экстатичной непосредственно, неконтролируемой, непредставимой для са-

мих говорящих. Вылупливающаяся из скорлупы коллективизма индивидуальная телесность, которую неверно принято ассоциировать с "новыми русскими" — на самом деле это куда более обширный феномен, — интериоризует эту непредсказуемую речь в себе: она вылезает из нее, вздувается на ней, как флюс. Если раньше коллективный индивид совершал нечто неслыханное в якобы дидактических целях, чтобы преподать урок другим, и его действие было адской изнанкой его же речи, то теперь, в новой ситуации, речь сама вываливается за свои пределы. Говорящие не могут нести за нее личную ответственность, хотя и претендуют на это. Писателю уже не до дидактики, ему бы удержаться на уровне трансгрессивных возможностей этой речи. В недавнем прошлом коллективная, речь эта как бы переходит на тела, и в них появляется что-то одновременно инфантильное и безмерное — личностное начало, еще противное самому себе. Эти, условно говоря, "новорусские" тела-флюсы — тот же Майк из "Москвы" (1995—1997, совместно с режиссером А. Зельдовичем) — платят за свою отмеченность именем собственным исключительно высокую цену: они катастрофически несамодостаточны, в высшей степени агрессивны (включая сюда и довольно развитый мазохистический пласт) и зациклены на собственных перверсиях. Возвращение Сорокина в стихию прямой речи не случайно — ведь и в "Первом субботнике" (1979—1984), и в "Норме" (1979—1984) она также играла существеннейшую роль. Надо только понять, что то, к чему он возвращается, это принципиально другая речь: никто, не исключая самих говорящих, не является ее хозяином, она составляет часть синдрома, чьей клиники пока не существует, и пишущие только пытаются ее создать, тогда как на предыдущем этапе речь была, напротив, подконтрольна высшей инстанции, идеологии, а неконтролируемы были только тела.

Теперь у тел появился намек на имена собственные, но они стали неподконтрольны никакой высшей инстанции. Более того, теперь они наивно претендуют воплощать ее в себе самих. Если раньше драма развивалась вообще не на уровне речи, а связывалась с чудовищной незаконностью переноса коллективной речи на тела (тело делает не то, что декларируется, а, главное, существует незаконно, у него нет особого, неречевого статуса), то начиная с "Сердец четырех" (1991) речь, кажется, принадлежит телам по праву, но разрывает их изнутри. Линия тела узаконивается, но речевые механизмы ее реализации по-прежне-

му отсутствуют; тела существуют в условиях жесточайшего дефицита механизмов их легитимации, они вынуждены постоянно претендовать на все и тем самым саморазрушаться. Возможно, как для некоторых химических элементов, полураспад является их естественным состоянием. Кроме того, теперь *de facto* легализуются в прошлом неофициальные — в смысле Бахтина — пласты речи (мат, воровские жаргоны), которые были изнанкой коллективизма и связывались с "телесным низом", — они захватывают все новые области бизнеса, искусства, культуры. Успешная экспансия придает им видимость нормальности, вместе с тем это не старая "норма", которую можно и нужно съесть. Сорокин неожиданно становится актуальным, хотя в отличие от О. Кулика, с которым он сделал в 1994 году совместный проект "В глубь России", и ряда других писателей и художников, он, насколько мне известно, никогда не декларировал актуальность как цель, скорее, наоборот, стремился держаться от нее на почтительном расстоянии. Впрочем, такие вещи лежат глубже публичных заявлений. Не исключено, что актуальность связана с судьбой литературной задачи Сорокина, со скрытым романтизмом его стратегии шоковой терапии и практикуемого им обнажения вытесненного как действительно фундаментального, того, что может проявиться лишь в крайности, в эксцессе.

Изнанка коллективной речи, над которой он в 80-е годы приобрел значительную власть, шоковые эффекты, которыми он, казалось бы, в совершенстве овладел и которым с некоторых пор, достигнув нужной степени насыщения, оставалось только повторяться, вдруг легализуются, омассовляются и становятся новой речевой нормой. С анальной стадии мы поднимаемся к первобытной оральности. Теперь "норма" — это уже не брикет с более или менее окультуренными фекалиями, который потребляется во имя необсуждаемой социальной связности, а сама ставшая экскрементальной речь, подвергшаяся механизму первичной приватизации. Рот не поглощает, а выделяет ее. Шок оборачивается трансгрессией, то есть первично окультуривается, и из собственности Единственного становится массовым продуктом.

Писательские кошмары — явление исторически крайне редкое — как бы оживают, но не в том радикальном виде, в каком они виделись первоначально. То, что пишущий заставлял делать своих героев, искусственно создавая их бессознательное, — например, испражняться вместе с зав. отделом обкома на "по-партийному честный документ"

в рассказе "Проездом" или давиться чьим-то сваренным в супе ухом и т. д. — с некоторого момента и, конечно, в смягченной форме, новообразовавшиеся, но отнюдь не только "новорусские" тела начинают делать сами, уже без его помощи.

Эта ситуация раздражает и волнует Сорокина одновременно. Раздражает потому, что в значительной мере ликвидирует его авторский избыток, принципиально и, как верилось, навсегда отделявший его от его героев, а волнует в силу того, что избыток этот поглощается не какими-то аристократами духа, а существами, похожими на его недавних героев, проявляющих дерзость, которой он, как и мы все, от них явно не ожидал. Казалось, что тайный язык будет постоянно отделен от явного и что изображение первичных телесных отправлений будет рассматриваться как порнография еще долгое время. Советский *double talk* оказался более хрупким, чем считалось в относительно стабильные брежневские времена. После заседания редколлегии заводской газеты выясняется, что Авотин и Коломиец являются любовниками-гомосексуалистами, и это составляет тайну не только для внешнего мира, но и для них самих. "Телесный низ" не пересекается с официозом ни в одной точке, герои же говорят на обоих этих языках.

И вот, через какой-то десяток лет, срок исторически ничтожный, они же или их двойники издают уже не заводскую малотиражку, а орган гомосексуалистов, или являются владельцами "голубого" ночного клуба. Тут есть чему удивиться. На глазах писателя радикально меняется статус коллективной речи: она вроде бы приватизируется, но приватизировавшие ее тела, в свою очередь, парадоксальным образом деприватизируются, объявляя себя хозяевами того, что пока еще явно превышает их силы, выходит за пределы их скромных возможностей. Собственно, они и упоены декларируемой бесконечностью своих нереализованных возможностей.

В случае Сорокина сокращение авторского избытка, того, что Бахтин называл "вненаходимостью", обменивается на существенное расширение средств воздействия, своеобразную мультимедийность. Старый медиум обращается к "новым медиумам", в том числе электронным: он медиумичен уже не по отношению к протеканию потоков коллективной речи — в рамках этой стратегии литература была материализацией метафоры канализационной трубы, то есть достаточно примитивного вместилища, снабженного отверстием, — медиумичным

его делают новые технические возможности, выходящие далеко за пределы литературы. Сделанным в 80-е годы Сорокин отрезал себе путь к обычному авторству. Между тем в начале 90-х годов потребность в профессионализации — это относится и к представителям недавнего андеграунда — резко возросла, и какая-то форма авторства стала практически неизбежной.

На этот путь Сорокин, еще недавно маргинальный, но высоко ценимый в концептуальных кругах и за рубежом, вступил в качестве драматурга и сценариста. Некоторые из его фирменных шоковых эффектов перешли в новые жанры. Правда, изменилась логика ситуации: претензию на неописуемость и беспрецедентность стало высказывать все большее число наших сограждан — и с этим теперь уже нельзя не считаться.

В этой связи интересно постепенное выветривание раннего фекального пласта из сорокинских текстов. Говно первоначально функционировало в его текстах как знак автоматического коллективизма, именуемого "нормой" и связанного с недавним деревенским прошлым большинства советских людей. В 90-е годы "норма" перестает потребляться по единым, предписанным свыше принципам. Каждый начинает производить свою "норму" внутри себя. В прошлом экзогенная, она становится эндогенной и вызывает ассоциации уже не с говном, служившим символом предшествующего периода, а с массово совершаемыми актами трансгрессии, обладающей в переходный период как индивидуальными, так и остаточными коллективными чертами. Говно из "Писем Мартину Алексеевичу" (пятая часть "Нормы") еще полностью коллективное и речевое, оно пренебрегает принципом противоречия — "я срал на тебя", "я срать с тобой рядом не сяду" — ради высшей праведности, которая, правда, никогда не называется. Оно совершенно нефизиологично. Напротив, говно, которое Майк из сценария фильма "Москва" выкачивает с помощью насоса из перевозчика черного нала Льва, сугубо физиологично. Будучи результатом чего-то среднего между пыткой и "опусканием", оно просто разбрызгивается, вылетая из индивидуального ануса вовне, не создавая никакой коллективной связи. Эти новые фекалии по сути такая же собственность, как и деньги, не случайно одно обменивается на другое (выдержав пытку, Лев получает право не возвращать Майку триста тысяч долларов).

На последнем витке сорокинской литературной спирали начинает

срабатывать психоаналитическое сближение денег с фекалиями, на которое в "Норме" и других ранних текстах был наложен принципиальный запрет. От поглощения "нормы" нельзя было откупиться никакими деньгами, от ее употребления не было освобождено даже большинство диссидентов; им при этом, правда, разрешалось морщиться и ругаться. Другими словами, в советские времена акт поедания "нормы" определял социальный статус человека и его самооценку — поэтому от него и нельзя было откупиться (крайне редки были те, кому такая идея приходила в голову). Шестидесятники были последним советским поколением "нормы". Нелюбовь к ним Сорокина, высказываемая им в интервью последних лет, видимо, объясняется тем, что литература еще представляется им социальным ритуалом, своеобразной прикладной футурологией, эффективность которой можно оценивать с точки зрения содержания. Концептуализм в понимании Сорокина состоит в том, что литература — это "знаки на бумаге" и ничего больше. Отрицание какой-либо социальной роли литературы странным образом сближает его с Набоковым, хотя последний учреждает вместо социальной ангажированности культ детали и мастерства, от которого автор-концептуалист также стремится дистанцироваться (другое дело, насколько это ему удается).

В некоторых ранних сорокинских текстах предпринимается попытка создать на основе соцреализма настоящий новый язык, о содержании которого читатель может догадываться по аналогии с технологическими и идеологическими штампами. Немало таких слов есть в финале рассказа "Геологи", в пьесах "Доверие" (1987), "Юбилеи" (1989) и в "Норме". Этот заново изобретаемый им язык не только маркирует дистанцию писателя от идеологии, но и способствует ее восприятию как ритмизованного шума, смысл которого вовсе не обязательно понимать, если вы овладели его формой. Талант писателя заключается в создании у читателя впечатления достоверности таких шумовых языков, языков-криков, состоящих из набора фонем (как в конце "Писем Мартину Алексеевичу"), языков-плачей, незаметно переходящих в пародию на плач (например, в рассказе "Обелиск"). Эти языки необходимо двойственны, будучи, с одной стороны, принадлежностью коллективного тела, а с другой оказываясь снабжены косвенными признаками концептуального авторства. Именно они лучше всего обеспечивали авторскую "вненаходимость" в ранних текстах писателя. Но

рай неприемлемости — увы! — всегда слишком хрупок, и наше пребывание в нем зависит от ряда неконтролируемых, привходящих обстоятельств.

Принцип производства сорокинских языков отличается от заумной речи тем, что их прототипы существуют в социуме и приглашают нас их опознать. Оригинальна в них именно неоригинальность. Вооруженный этими языками, писатель долгое время был неуязвим, так как у него не было внутреннего мира и в отношении практически любого языка он мог сказать: "Твое внешнее и есть мое внутреннее. Сотри свое внешнее — и ты сотрешь мое внутреннее". Мало кто из концептуалистов так остро поставил вопрос о праве на субъективность и дал на него столь однозначно негативный ответ: субъекта надо искать не в тексте. Дистанция от коллективной речи проходит внутри этой речи. В этом варианте соцарта искушенность пишущего напрямую связана с его наивностью, является ее продолжением. Сорокин культивирует в себе эту наивность, позволяющую ему заглянуть в механизм коллективной речи глубже, чем это удавалось более искушенным литераторам. Значимость первых текстов писателя неотделима от их социальной невостребованности. Иногда они вызывали нравственное осуждение даже в кругу его друзей, концептуалистов старшего поколения. Больше десяти лет он умудрялся создавать, не создавая, и лучше других пользоваться преимуществами ситуации, когда шанс давался, в первую очередь, коллективной субъективности и ее агентам. Он научился присваивать атрибуты коллективного субъекта на очень высоких этажах абстрактности, противопоставляя ему не более развитую личность, как это делают философы, а его же самого в его предельных проявлениях, ускользающих от сознательного контроля. Из речи неожиданно вываливалось тело или как бы сам собой вскрывался ее тщательно законспирированный пласт. Он поместил свой рай в ад коллективных тел, в их не устающую шокировать изнанку, более десяти лет оставаясь неприемлемым и одновременно невозмутимым.

Об утрате этой позиции сожалеют многие члены концептуального круга и андерграунда в более широком смысле. К сожалению примешивается чувство облегчения, связанное с открытием большого мира, но все же сожаление пока у большинства преобладает. Непросто вываливаться из Зазеркалья, ставшего за три четверти века своего существования таким предсказуемым и в чем-то даже комфортным. Но, раз

выпав, в него едва ли захотят возвратиться. В отличие от большинства других, нашему поколению как бы подарены две жизни: после смерти страны, в которой мы родились, мы уже являемся покойниками, так что предстоящая нам смерть не будет первой. И хотя наш первоначальный советский мир представлялся нам загробным, при его распаде выяснилось, что кроме этой специфической загробности у нас нет другой жизни и что, возвращаясь к принципу реальности после столь долгой отлучки, мы необходимо проходим через смерть. Такие вещи не остаются без последствий для литературы. Выход на внешний рынок, ставший неизбежным, потребовал более наглядной демонстрации признаков авторства, внутренние критерии оказались лишь ограниченно перекодируемыми в международные.

Одна из внесенных Сорокиным новаций — обращение к немецкой теме, более конкретно — к теме "немецкой вины", особенно к тем ее аспектам, на обсуждение которых в Германии наложен не столько внешний, сколько внутренний запрет. Посмотрев на немецкую тему глазами русского писателя, он заполнил своими текстами и сценариями более или менее пустовавшую нишу. Это были "Месяц в Дахау" (1990), фильм-коллаж "Безумный Фриц", в котором анализировалась эволюция образа фашиста в советском кинематографе, и пьеса "Hochzeitsreise" (1995), где впервые одним из главных героев у Сорокина становится немец. Хотя первоначальный успех писателя был связан с советским периодом его творчества, обращение к проблематике "немецкой вины" вывело его на более широкую аудиторию и дало возможность обратиться к ней непосредственно, через театральные постановки его пьес. Сорокин подтвердил свою репутацию нарушителя табу: он поставил под вопрос молчаливо признанную уникальность "немецкой вины", немецкого фашизма как конвейера преступлений, уникальность расового вектора этих преступлений, необходимость распространения работы траура на последующие поколения. Во всех этих пунктах он внес важные инновации: фашизм как система насилия не уникален, работа траура не менее преступной сталинской системы еще даже не начиналась, будучи замещена непрерывной эйфорией; расовый вектор преступлений как таковой ничем не хуже классового. Судить об обоих мы можем только по последствиям, а они и в том и в другом случае грандиозны.

Сверхзадачей текстов Сорокина раннего периода было приведение речи в соответствие с действием, точнее, создание такого действия,

которое в другом порядке было бы эквивалентным коллективной насильственности и делало бы ее явной. Чтобы шок был сильнее, этот переход требовалось скрывать от читателя как можно дольше, а совершать его как можно решительнее. Но насильственное действие в этих текстах — не последний уровень. За ним, завершая и дополняя его, часто следует асигнификативная речь. Она существует как бы вообще не для читателя и только условно может быть названа "средством художественного воздействия". Зачем нужны многочисленные белые страницы в "Очереди", почти нечитаемые куски переходящего в абсурд газетного текста в конце "Марины", ритмические завывания в финале "Писем Мартину Алексеевичу" и другие подобные эффекты? Они явно ничего не прибавляют к фабуле, напротив, скорее разрушают ее, намекая на ее незначимость. Зачем же все-таки нужны эти пассажи? Они, видимо, являются подлинно недиалектическими эквивалентами отклоняющегося действия. Полная сорокинская триада — речь/действие, никак не подготовленное речью/асигнификативная речь — предполагает синтез, который лишь на первый взгляд кажется глоссолалией, — на самом деле это, скорее, ступор. После неслыханного, но всего лишь описанного по известным правилам действия речь уже не может обрести былую целостность, державшуюся в числе прочего на бессознательном характере этой насильственности; снимая бессознательность, с нее снимают и невинность. Но и действие не может овладеть первоначальной речью, как это происходит в европейской литературе от маркиза де Сада до Фрейда и Батайя. Не может, потому что эта речь также есть действие в его логической невозможности. В результате получается ступор, коллапс, который и фиксируется асигнификативной речью. Это точки невозможного синтеза, поэтому их длительность, как правило, является произвольной (впрочем, они должны быть достаточно продолжительными для того, чтобы, пролистывая эти страницы, читатель догадался о существовании самой проблемы).

Тексты Сорокина, особенно ранние, хорошо структурированы. Его литературные машины в нужный момент обеспечивают необходимые эффекты. В некоторых случаях его проза проходит, если так можно выразиться, неполный цикл речь/действие без венчающей его концептуальной концовки. Такова структура большинства рассказов из "Первого субботника" и разножанровых текстов "Нормы": торжественное звучание ортодоксальной речи сменяется неортодоксальным действи-

ем, описанным на нейтральном языке. Эта эзотерическая структура предполагает неотвратимость регрессии к социальности, которая в более экзотерических текстах блокируется асигнификативной речью. В любом случае пафос проговариваривания невозможного сохраняется до тех нор, пока может быть приведена в исполнение угроза наказания. По сравнению с диссидентской литературой, которая репрессировалась по причине неприемлемости ее содержания и поддавалась простой идеологической реапроприации, Сорокин в своих ранних текстах покушается на нечто более существенное и трудно поддающееся аппроприации — на саму форму речи. Он сохраняет и даже немного "подкрашивает" ее (как гримируют покойников), чтобы затем ввести в ее лоно аллогенный элемент, нетождественный трансгрессии и затем переводимый в асигнификативный план. Он не предлагает новой ортодоксии. Его собственная форма не претендует на праведность — отсюда тема простых "знаков на бумаге".

Итак, эти тексты *хорошо* структурированы и вместе с тем анархичны. В полном трехчастном варианте они превращаются в утверждение пустотности речевой культуры. В качестве литературы Сорокин ставит некоторые тексты "высокого" сталинского периода выше, чем их позднейшее диссидентское отрицание. В текстах и фильмах периода Большого Террора он находит "мощь", которую нельзя снять с помощью простого отрицания утверждаемого содержания. Он одним из первых стал связывать соцреализм с первичными речевыми практиками, которые невозможно спустить сверху, навязать низам насильственным путем. И даже больше — вместо того чтобы пытаться "облагородить" этот язык "правильным", гуманистическим содержанием, лишив его связи с коллективной речью, он предложил принять всерьез эту форму и попытаться поработать со следствиями, которые из нее вытекают. В этом он был наследником обериутов, "лианозовской школы" и московского концептуализма, также по-разному проблематизировавших соцреалистический метод, то, как эта литература сделана. И в этом "как" растворилась значительная часть того, что она утверждает, и выявилось то, что она не утверждает, но что, тем не менее, наличествует в ней как наиболее существенное. Это неутверждаемое и стало главным предметом анализа. Только будучи имманентным этому неутверждаемому в утверждаемом, несказанному в сказанном, только овладев знаками соцреализма более виртуозно, чем его представи-

тели, можно подорвать эту традицию изнутри. Обычная пародия на нее бессмысленна, так как сама она глубоко пародийна. Апогеем внеположности в сорокинских текстах является перевод этой традиции в асигнификативный план, но перевод по ее же внутренним, но неосознаваемым законам.

Предложенный Сорокиным способ вписывания в традицию оригинален: он продолжает воспроизводить соцреалистический сказ и там, где — с помощью шокового действия или тайной, иллегальной речи — он выходит за ее пределы. Другие концептуалисты — кстати, почти все они поэты (Холин, Некрасов, Пригов, Рубинштейн) — совершают трансгрессию внутри самой формы, не вводя аллогенный элемент в виде отклоняющегося действия, описанного с невозмутимой нейтральностью, и тем самым не нуждаясь в фекальной символике. Они преодолевают норму формальным путем: имитацией устной речи (Холин, Некрасов), серийностью (Пригов), выделением высказывания как несводимой единицы речи (Рубинштейн). Сорокин вносит в эти процедуры элемент, который он продолжает считать формальным, но который формальным не является, — шок. Дидактически он вроде бы необходим для демонстрации насильственности институционализированной речи, но он асоциален и чудовищен также сам по себе, вне какой-либо дидактики и ортодоксии.

Писатель не довольствуется свободой от виртуозно освоенного канона, он хочет — и в этом, конечно, скрывается романтизм, о котором уже неоднократно говорилось, — быть перманентно неприемлемым, что роднит его скорее с де Садом, чем с концептуализмом. Эта задача в принципе не может быть групповой, даже если ставящий ее перед собой по другим причинам занимает в группе существенное место. Он ценен для группы прежде всего тем, что его от нее отличает. Желание создавать литературу как преступление не ново, и, ставя подобную задачу, Сорокин проходит те же порочные круги — глупо было бы, впрочем, отрицать их продуктивность, — что и Сад, Ницше, Батай, Арто. В его случае они не так интеллектуально проработаны, но они в его творчестве есть.

Сюда добавляется еще одна проблема. Стремление делать литературу как преступление роднит этого автора с относительно небольшим числом литераторов и одновременно с огромным количеством тех, кто подходит к этой задаче с другой стороны, стремясь превратить преступление в искусство, оставаясь при этом более или менее аноним-

ными. В постсоветский период число таких "художников" резко возросло, и Сорокин сосредоточился на понимании логики их поступков, стараясь сделать ее фактом литературы. Не случайно все герои его недавней пьесы "Щи" (1996) — разного рода "авторитеты" (повара в законе), их сообщники и "шестерки"; не случайно присутствие "новых русских" в сценарии "Москва" и в третьей части "Пельменей". Чтобы понять новую логику, Сорокин отрекается от литературы вторично, растворяя ее в доминирующем масс-медийном шуме (ставшем заменой былой шоковой терапии). Литература теперь умерла не в той форме, которую придавал ей он, а как таковая. Умерла как неактуальная и неконкурентоспособная. Но если раньше писатель избегал контактов с официальной литературой, считая свои тексты ее неприемлемой изнанкой, не-литературой, то теперь стратегия изменилась: с новыми, масс-медийными, образными формами господства он стремится установить позитивные отношения, не лишенные некоторой меланхолии (она связана с осознанием архаичности писательства как института). Хотя меланхолией дело не ограничивается: статус литератора после смерти литературы, в эпоху ее перманентной неактуальности также вдохновляет, стимулирует его.

Ошибаются те, кто представляет Сорокина певцом "новых русских". Конечно, в идеале он хотел бы быть неприемлемым и для них. Но тут у него нет наработанной дистанции, хотя он постоянно пытается ее нащупать. Дело осложняется тем, что новые хозяева жизни бессознательно реализуют существенную часть его литературной стратегии: они банально трансгрессивны и совершают шоковые действия без терапии. Эти действия существенно изменяют их язык: он перестает быть простым прикрытием и накапливает признаки явной агрессивности. Между речью и действием впервые за более чем три поколения возникает некое подобие соответствия, делающее переход от одного уровня к другому значительно менее шокирующим. После "Сердец четырех" в сорокинских текстах элементы любования начинают преобладать над критической функцией. Он все больше дегустирует неизвестное, иногда применяя к нему наработанные в предшествующий период приемы; у него, как и у всех остальных, пока нет собственной, органической дистанции от свежеобразовавшегося мира. Он знает, что поступками его новых героев управляет тайный язык действия, но код этот ему недоступен.

Сорокин продолжает осуществлять свою сверхзадачу — создавать язык невозможного действия, но на новом этапе для этого сначала нужно разгадать тайный язык действительно совершаемых действий; в противном случае нельзя определить, чем совершенное, содеянное отличается от невозможного. Эта новая логическая задача занимает Сорокина в "Сердцах четырех" и в более поздних текстах. Из них практически полностью исчезает асигнификативная речь. Что и понятно — само действие становится асигнификативным и поглощает избыток авторского видения. Над письмом нависает угроза отождествления. Речь его новых героев превращается в криптограмму, которая нуждается в постоянной расшифровке, из принципиально пустотной она становится случайной, эмпирически пустой. Понадобился русский вариант психоанализа, позволяющий выделить язык травмы, и притом совершенно непохожий на западный аналог. Автотерапия, на которую были ориентированы ранние тексты, становится терапией зрителя, слушателя, читателя. (Особенно явно это проявляется в сценарии фильма "Москва", написанном почти целиком для Другого.) Ориентация на разоблачение соседствует в этих текстах с явной очарованностью, которую писатель хочет, но не всегда может скрыть. Он разоблачает то, к чему не приобщен сам, что видится ему с позиции обычного созерцателя. Впрочем, возможно, язык тайного действия, в отличие от коллективной речи, в принципе неразоблачаем: не исключено, что никто не способен выполнить по отношению к нему критическую функцию, наработать внутреннюю дистанцию. Во всяком случае, пока это так.

Парадоксально, но чем больше современная русская литература приобщается к европейской традиции, тем более явно проступает ее специфика, отнюдь не сводимая к "родимым пятнам истории". Ее представители продолжают находиться в иных отношениях с интеллектуальной средой. В отличие от Кафки, Пруста, Роб-Грийе, Борхеса, русский писатель — не интеллектуал, и поэтому то, что он делает — это и больше и меньше, чем литература. Сорокин категорически отказывает литературе в праве на пророчество, видя в ней, с одной стороны, не более чем "знаки на бумаге", а с другой — постоянную возможность оставаться неприемлемым (этим он и отличается от Пелевина, который в других отношениях много позаимствовал у концептуалистов). Как эти два мотива (формальный и романтический) увязывают-

ся между собой, ясно не всегда.

Легче прослеживается эволюция текстов во времени. Воздействие работ последних лет уже не гарантируется их структурой, их метод нащупывается писателем почти вслепую. Тем более ценны те точки, в которых удается ухватить что-то существенное; особенно их много в пьесах: "Дисморфомании", "Hochzeitsreise", "Щах". Однако на новом этапе эти точки не превращаются в систему, существуют как бы сами по себе, вызывают автономный интерес. Иначе обстоит дело с его ранними работами. Несмотря на их эзотеричность и ориентированность на относительно узкий круг знатоков, в последние годы у них появляется незапланированный и если и не массовый, то во всяком случае достаточно многочисленный читатель.

В 90-е годы Сорокин стал вычислять своего читателя, зрителя, слушателя и в большей мере писать-для (он даже специально пишет эссе, предназначенные для исполнения в определенной аудитории, которые не собирается публиковать; один из таких текстов, посвященных истории русской литературы, он зачитал в университете им. Гумбольдта в Берлине). Но запланированные эффекты — вещь в принципе ненадежная. Они реже достигают цели хотя бы потому, что цель литературы имеет мало общего с намерениями автора. Фактически есть два разных Сорокина: сначала это не-писатель, создающий отлично структурированную литературу, а затем это писатель, стремящийся создавать не-литературу. В первой задаче, конечно, больше романтизма и принципиальности: ссылка на "знаки на бумаге" не устраняет ее шоковых эффектов и в лучшем случае выполняет функцию анестезии.

Нечто совсем другое — быть писателем после литературы, в эпоху ее неактуальности. В таком случае пишущий предпринимает попытку непосредственно присвоить слову достоинства образа, незаметно для себя заражая его всеми недостатками последнего, главным из которых является принципиальная, несводимая многозначность и следующая из этого непрочитываемость (ни один образ никогда не был прочитан в качестве образа). Из слов и при самых серьезных намерениях не складываются образы. Даже "вещизм" ("chosisme") в стиле Роб-Грийе, за которым стоит пространство одиночества, еще неизвестное в русскоязычном регионе, в конечном итоге не вызывает к жизни никаких вещей, а лишь детализует их описание. Поэтому Ален Роб-Грийе становится в дополнение к писательству сначала сценаристом, а затем и ки-

норежиссером: он делает это, якобы, для того, чтобы восполнить, а на самом деле углубить образовавшееся зияние между словом и образом, не покрываемое никакой литературой.

Возможно, подобный выход в режиссуру был бы естественным и для Сорокина, судя по тому, что он говорит в последние годы о литературе. Инсценируя тексты, он мог бы по-новому дистанцироваться от них, так как наработанная в 80-е годы дистанция, по обстоятельствам, во многом от него не зависящим, подверглась эрозии, и теперь он фактически хочет преодолевать литературу уже не изнутри текста, а извне, внешними тексту средствами, что предполагает и иное средство выражения, например — кинорежиссуру.

Утверждение писателем неактуальности литературы странным образом сопровождается возрастанием интереса публики к текстам самого Сорокина. В России это относится к его ранним произведениям, которые затрагивают в современном читателе незапланированные пишущим ностальгические нотки, в Германии — к некоторым поздним пьесам, которые заставляют по-новому взглянуть на недавнее прошлое немецкого и русского народов. В 90-е годы он вторгается в новые речевые пространства, где его бесспорный медиумический талант уже ничего не обеспечивает автоматически, хотя и продолжает создавать точки интенсивности, надолго приковывающие к себе читательское внимание. Он учится по-новому маркировать дистанцию. Дистанция этого последнего типа, особенно развитая у де Сада, является универсальной, то есть независимой от чего бы то ни было внешнего, ни от какой коллективной речевой практики, а в идеале — даже от Бога. Она поддается практически бесконечной экспансии, чем отличается от дистанции локальной, связанной с контекстом, и в этом отношении неподконтрольной пишущему. Хрупкость этого вида локальной дистанции хорошо осознана Сорокиным в 90-е годы. Первой попыткой изменить соотношение речи и действия, мотивировать действие изнутри были "Сердца четырех" (1991). За "жидкой матерью" уже не стоит санкция коллективной речи, она просто изготовляется, хотя и не имеет смысла; тем самым абсурд впервые совершается в речи и в действии одновременно. Это уже новый ход, от которого один шаг до романтизации определенного рода трансгрессивных, отклоняющихся действий в "Щах", в "Москве" и в "Hochzeitsreise".

Как "Роман" завершает пейзажную линию в творчестве Сорокина,

так "Сердца четырех" превращают шок в трансгрессию и завершают линию действия, претендовавшего быть чудовищным и не поддающимся обоснованию, а ставшему просто абсурдным.

В стихотворении Пастернака "Марбург" есть такие слова: "... и новое солнце в зените/смотрело, как сызнова учат ходьбе/туземца планеты на новой планиде". На "новой планиде" навыки ходьбы, приобретенные на старой "планете", не срабатывают — надо учиться ходить заново. Что-то из старых навыков, конечно, сохранится, но сам принцип ходьбы будет совершенно другим. Владимир Сорокин оказывается одновременно классиком литературного соцарта, фактически создателем прозы этого типа, и он же является складывающимся автором, который учится ходить на новой "планиде". Это не его индивидуальная прихоть. Учимся ходить мы все, и его пример лишь подтверждает общее правило. Советская планета, находившаяся в состоянии полураспада, производила на ее туземцев, особенно в последний период, впечатление необычайной стабильности: казалось, ей не будет конца. Когда же он все-таки наступил, непонятно стало другое; как она могла просуществовать так долго? Почему полураспад длился целых три поколения? Могли ли мы представить себе еще десять лет назад, что приватные занятия приобретут черты профессии, станут источником существования, пусть и довольно скромного?

Не думаю, чтобы кто-то был тогда столь проницателен. Мы не любили, но и не ненавидели советский мир, поэтому мы не будем обустраиваться на "новой планиде" по законам этого мира, как поступают многие шестидесятники. Наша ностальгия имеет во многом ритуальный характер. Но большинство обустраивающихся в новом мире — люди старой закваски, и *именно поэтому* им надо выглядеть совершенно другими, радикально преобразившимися. Они хотят совершить невозможное: оттолкнуть от себя свое прошлое с максимально возможной силой, и оно возвращается к ним бумерангом, со всеми эффектами регрессивного повторения. Вчерашнее обличение обнаруживает себя как заурядная форма объяснения в любви. Что делать тем, кто не особенно отождествлялся со старым, но и не ниспровергал его? Может быть, продолжать поступать как раньше, стараясь не соблазняться кажущейся радикальностью происходящего?

Если бы СССР действительно был "планетой", наша сегодняшняя ситуация оказалась бы безвыходной. Но это был всего лишь искусст-

венный остров, который открылся внешнему и тем самым в длительной перспективе создал условия созерцания, более или менее независимые от его существования как острова. Просто он еще кажется нам "планетой"; впрочем, ею может стать любой остров, если его закрыть на достаточно долгое время.

Но есть в творчестве Сорокина и повторяющиеся черты, независимые от смены периодов. Например, любовь к изысканной пище. Барт в книге "Сад, Фурье, Лойола" писал, что в романах де Сада всегда знаешь, что едят его персонажи, кулинарный код в них проработан исключительно четко. Гастрономия сближает Сорокина с Садом. Можно констатировать *crescendo* кулинарной темы в его книгах. Если в "Норме" она еще смазана, оттеснена на задний план обязательным поглощением брикетов с неаппетитным веществом, то в "Марине" уже есть несколько детально проработанных трапез (например, в ресторане с американцем) и разговоров на кулинарные темы (после секса с пианистом-виртуозом в начале романа). Эта тема нарастает в "Романе", где ей уделены десятки страниц. Например, поедая стерляжью уху с расстегаями, один из героев "принялся с серьезным видом доказывать, что именно стерляжью уху имел в виду Крылов, когда писал "Демьянову уху". Петр Игнатьевич принялся возражать ему, толкуя о двойном, а может, и тройном содержании ухи, которой Демьян потчевал своего друга". После жареного поросенка со свекольным, морковным и яблочным хреном праздничный обед "плавно катится под гору" и завершается трехведерным самоваром, "сладкими пирогами, плюшками, ватрушками, печеньями, вареньем всевозможных сортов в разнокалиберных вазочках и розетках" и т. д. Трудно назвать большего гастронома среди современных русских писателей, чем Сорокин. (Один из лучших концептуальных авторов молодого поколения Павел Пепперштейн в книге "Диета старика", напротив, настаивает на непоглощении пищи в пользу ее чистого называния; из всех названных там продуктов — ватрушечка, яйцо, супы и т. д. — реально поглощаются только грибы, и то не как пища, а как галлюциногенный препарат.) В "Hochzeitsreise" есть целые диссертации о том, какая пища идет, а какая не идет под водку, как следует пить этот напиток и чем закусывать, как готовится самое сложное блюдо китайской кухни — хрустальный поросенок.

Но своего апогея эта тема достигает в недавней пьесе "Щи", сюжет

которой вращается вокруг мясной и рыбной кулинарии, попавшей под запрет в связи с победой "зеленых" (они и их сторонники именуются "экошвайнами") и ставшей уголовным преступлением. Главные герои этого драматического произведения — "повара в законе" Борщ Московский, Царская Уха, Рассольник, Баранья Котлета из Питера, Рысь-на-Вертеле, их менее авторитетные коллеги и "шестерки". Тайный блатной орден знатоков мясной и рыбной кухни замышляет завладеть уникальной коллекцией замороженных в специальных холодильных контейнерах щей и, продав "фальшак" французам, распределить основную часть коллекции среди братвы. Место в иерархии ордена определяется знанием старых, запрещенных кулинарных рецептов. Его члены постоянно "прогоняют рецептуру" борща, ухи, щей, котлет, и по виртуозности ответов можно судить об их положении в блатной среде. Здесь применен типичный сорокинский ход; триумф кулинарии связан с ее запретом и уголовным преследованием (действие пьесы разворачивается в XXI веке, когда за убийство курицы уже дают четыре года тюрьмы). В который раз материализуется пословица "запретный плод сладок". В условиях жесткого дефицита реальных запретов в современном обществе (к тому же существующие запреты сплошь и рядом не выполняются) писатель вводит виртуальный запрет.

Его письмо не может функционировать вне запрета, преодолением которого оно является. При этом содержание запрета особого значения не имеет; это может быть "немецкая вина", мясная и рыбная пища или наркотики (как в "Dostoevsky-trip").

Главное, наглядно продемонстрировать фиктивность любого запрета, становящегося дополнительным стимулом к его преодолению. Писательские щупальца постоянно направлены в сторону того, что объявляется невозможным и в силу этого становится необходимым. Литература мыслится как процесс, предполагающий высокую степень репрессивности. Просто в 80-е годы запреты не надо было изобретать, их и так было предостаточно, — а теперь изобретение запрета стало важной частью творческого процесса. Каждый запрет содержит в себе необходимость собственной трансгрессии, эксцесс. Единственное средство избежать эксцесса — это ничего не запрещать, но какое общество может позволить себе такое?

Впервые я познакомился с работой Сорокина в устном исполнении. Это было в 1986 году, когда Андрей Монастырский дал мне маг-

нитофонную кассету с записью "Писем Мартину Алексеевичу". Они вошли в мою жизнь вместе с голосом исполнителя; интонации дошли до меня раньше самого текста, так что до сих пор, перечитывая пятую часть "Нормы", я слышу модуляции голоса Монастырского. Устное проговаривание важно для судьбы многих других текстов этого автора. Читать их значит также исполнять, всерьез принимая стремление Сорокина к миру, где, по крайней мере на бумаге, будет возможно все, а жизнь будет развиваться по своим, глубоко внелитературным законам.

Апрель 1998 г.

Триумф детриумфатора.
(Линия и буква)

В свой тридцать один год Павел Пепперштейн не просто писатель со стажем. Я вообще не знаю, когда он начал писать. Первый из публикуемых здесь текстов был написан еще при жизни Брежнева (в 1982 году), в эпоху, которая и людям постарше теперь представляется почти мифологической. И хотя автору было тогда всего шестнадцать, он утверждает, что это далеко не первый из написанных им рассказов. Паша — случай в истории литературы довольно редкий — приходит к нам со своим письмом прямо из детства. Такое невообразимо раннее начало составляет часть его литературного проекта. Автор "Диеты старика" решил, что вместо того, чтобы, подобно Набокову и Прусту, постоянно обретать утраченное детство, вступая в сложные игры с Мнемозиной, лучше вообще из него не выходить, оставаться в нем. Это можно расшифровать и так: постоянно созревать *внутри* собственного детства, давать взрослеть эйдосу детства, не расставаться с игрушками и тогда, когда рисуешь, пишешь, делаешь инсталляцию или создаешь "тексты дискурса" (так Паша называет свои более поздние теоретические вещи). Конечно, подобной эйдетизации поддается не всякое детство, но такое, которое содержало в себе возможность практически бесконечного опосредования — и притом еще ребенок должен суметь воспользоваться стечением обстоятельств.

Уникальность случая Паши в том, что оба эти условия совпали. Он был ребенком внутри очень важной отрасли советского книжного производства, иллюстрирования и написания детских книг. Мифология детства создавалась В. Пивоваровым, И. Кабаковым, Э. Булатовым, Г. Сапгиром, И. Пивоваровой и другими членами концептуального круга одновременно с критической рефлексией по поводу возможностей такой мифологии, ее законов, степени вмешательства идеологии и т. д. Как русская литература вышла из гоголевской "Шинели", так московский концептуализм во многом вышел из иллюстрирования детских книжек. Пепперштейн рос, можно сказать, в эпицентре этого процесса, вещи

приходили к нему вместе со своими эйдосами. Экспериментальность его детства в том, что оно располагалось внутри индустрии детства, было многократно опосредовано; в результате непосредственно воспринимался сам акт иллюстрирования. Ближайшим эквивалентом такого детства является не состояние взрослости, когда принцип реальности, прикрываясь щитом ответственности, доминирует в той или иной форме, а некая былинная старость, по сравнению с которой столетний юбилей — просто детская шалость. Старик в "Диете старика" не только не отучился лепетать, но изрядно усовершенствовал это умение и ценой длительного упражнения в лепете обрел право говорить вещи, которые конвенция строго-настрого запрещает произносить взрослому (зрелому) человеку. Впрочем, для прямого выпадания из детства в баснословную старость необходимо соблюсти одно условие: жизнь в таком случае должна с самого начала быть перемешанной со смертью, которая не имеет возраста и поэтому может произвольно украшать себя атрибутами детскости и стариковства. Ребенок, упорно сопротивляющийся выпадению из поддающегося опосредованию детства, — тот же древний старик, отказывающийся принимать пищу и тем самым продолжающий стареть без конца. Иначе и быть не может: ведь то, что обычно следует за детством, здесь *a priori* объявляется достоянием самого детства (становящегося как бы метадетством). Если из обычного детства выпадают во взрослость, из метадетства не выпадают вообще: старость является точно таким же его атрибутом, как и младенчество.

Героем рассказа "Кумирня мертвеца", открывающего книгу, является старичок, сидящий рядом с собакой по имени Рой, точной стеклянной копией умершей собаки. Из реплик персонажей мы понимаем, что старичок давно умер. Да и те, кто говорят о нем, сами зависли между жизнью и смертью (куда ближе к смерти) и не умирают разве что потому, что на них смотрит стеклянная собака, единственный "живой" герой рассказа. Своей стеклянностью эта собака оживляет все остальное (в тексте есть намек, что он написан скульптором, создавшим собаку). Сумей она закрыть глаза — и все исчезнет, потому что повествования Пепперштейна длятся благодаря мертвому взгляду. В рассказе "История потерянного зеркальца" героем является небольшое зеркало с изображением Кремля, которое переходит от девочки к симпатичному матерому бандиту, знакомится с его пистолетом, оказывается косвенной причиной его осуждения и смерти, попа-

дает к другой девочке, дочери раскрывшего преступление следователя, после чего возвращается к своей первоначальной обладательнице, чтобы среди прочего запечатлеть акт ее соития с виолончелистом по фамилии Плеве и многие другие детали. Вся проза Пепперштейна в той или иной мере зеркальна. Даже если зеркало не становится действующим лицом, все непрерывно отражается во всем. Невозмутимая зеркальность позволяет избежать психологизации и так называемой "лепки характеров", которой обычно кичатся профессиональные литераторы. Мир зримого и мир текста в этой прозе строго разделены. Профессиональный график, Пепперштейн, как никто другой, осознает произвольность и тщетность любого иллюстрирования. Линию отделяет от буквы невидимая, но несводимая дистанция. Более того, это два радикально различных смыслообразующих принципа. Зрение и письмо значимы друг для друга в силу разделенности, которая достигает своего апогея в тот момент, когда они, как кому-то может пригрезится, совпадают, исчезают друг в друге. Пожалуй, только тексты профессионального рисовальщика могут с такой неизменной настойчивостью демонстрировать то, чем литературное зрение отличается от простого умения видеть и является по отношению к этому умению разновидностью самопросветляющейся слепоты. Эта невидимая демаркационная линия непрерывно воспроизводится актами "пустотного иллюстрирования", иначе говоря, демонстрацией простой интенции что-то прояснить в тексте с помощью рисунка (и, конечно, наоборот). На аутизм обречен, собственно, не рисунок, а само стремление перекодировать линию в букву.

В текстах Пепперштейна присутствует воля *не* делать литературу профессией. В этом она асимметрична рисованию. Акт рисования график превращает в средство обмена с миром, обеспечивающее ему условия существования. Даже не работая на заказ, он внутренне принимает в себя взгляд Другого (на профанном языке это также называется "учитывать чужой вкус", воспроизводить предполагаемый вектор желания). Зато в качестве пишущего он берет реванш, отказываясь вступать в обмен. Он не вступает с читателем в компромисс, не подстраивается под него, вынуждая его пройти весь путь, который преодолел автор. Для читателя такая установка крайне непривычна: ведь на бессознательном подстраивании под него и строится литературный успех в обычном понимании слова. Писатель принимается аудиторией с

энтузиазмом потому, что до этого он с не меньшим, хотя и стыдливо скрываемым энтузиазмом принял *эту самую* аудиторию в себя. В домогающейся успеха литературе всегда уже учтен ее читатель, и она ограничивается тем, что просто "разрабатывает" его. Только небескорыстное простодушие журналистов заставляет их усматривать в этой встрече некий *coup de foudre*, что-то неожиданное и непредсказуемое. Пепперштейн — редкий писатель, который действительно не знает и даже не хочет знать, каким будет его читатель. Со стороны он вполне может сойти за Нарцисса, тем более, что его нарраторы, как правило, не скрывают своего нарциссизма, при виде читателя в ужасе закрывая лицо руками. Но эти тексты не нарциссичны, если понимать под нарциссизмом любование самим собой. Это через них, напротив, постоянно любуются чем-то совершенно иным, калейдоскопическим струением внешнего. Автор все время хочет разглядеть, прописать нечто настолько мелкое, что оно может представлять разве что интеллектуальный интерес. Принимая сторону детали, он незаметно принимает в себя смерть. Местами его письмо является уже загробным, вестью с того света.

Литература для Пепперштейна — это мир возможного, которое, впрочем, не следует путать с потенциальным, с тем, чему еще только предстоит реализовать себя. Напротив, лишь возможное, *не нуждаясь в воплощении,* принадлежит к сфере актуального постоянно. Герой рассказа "Предатель ада" изобретает оружие, позволяющее превращать смерть в перманентное, интенсивное наслаждение, делая ее желательной и желанной. Тем самым он, подумают некоторые, выбирает сторону Рая. Но смерти, — увы, — боятся *как раз потому*, что она несет с собой чудовищное по интенсивности наслаждение, граничащее с ужасом и уже не нуждающееся для самореализации в фигуре личности. Ведь только факт воплощения ограничивает ужас его известными формами и вообще делает известное известным: за пределами воплощения — почему, собственно, развоплощение несмотря на местами хитроумные религиозные утешения так пугает — не возможно, а (намеренно не извиняюсь за этот невольный каламбур) *необходимо* Бог знает что. В рассказе "Грибы", где дистанция между нарратором и автором резко сокращается, герой всеми силами пытается стряхнуть с себя галлюциноз, в отчаянии называя его "первобытным мозгоебством". Зачем? Потому что в его интенсивном состоянии, "на плато", максимум наслаждения обречен совпасть с максимумом страдания, на

какое-то время делая избыточной, если не излишней, саму форму личности, включая ее аффективный пласт. Плыть в таком состоянии на автопилоте значит стать простой фигурой бреда. Счастливо избегнув крайне дискомфортного состояния, герой "Грибов" через несколько часов вознаграждается целым пучком удачно сцепившихся аффектов, завершающимся сбором мухоморов (древнейших галлюциногенов).

Теперь, возможно, станет яснее парадокс, связанный с изобретением "предателя ада", Койна. Он изобретает невозможное: бесконечно интенсифицируя связанное со смертью наслаждение, его оружие (о чем ученый умалчивает или, будучи фигурой сна, не догадывается) претендует заморозить в каком-то невидимом холодильнике страдание, *как если бы это были два разных процесса.* Паша находит из этого тупика оригинальный многоступенчатый выход: во-первых, изобретение совершается во сне героя рассказа, почти совпадающего с автором, во-вторых, это происходит во вполне определенном сне. Он приснился потому, что герой-автор бессознательно хотел заработать много денег, продав свой сновидческий сценарий Голливуду. "...мною руководило смутное чувство, что этот несуществующий фильм и эта запись когда-нибудь принесут мне деньги. Это беспочвенное предчувствие возникло у меня уже во время "просмотра", и оно до сих пор меня не покинуло." А так как Голливуду можно продать нечто "массово-развлекательное", сон вполне естественно совершает непредставимое — интенсифицирует наслаждение, купируя боль. По сути дела "предателем Ада" оказывается не герой сна, а сам сон, взыскующий голливудского Рая. Хорошо было бы увидеть еще один, симметричный данному сон, в котором наслаждению без боли соответствовала бы боль без наслаждения, изобретенная угрюмым диктатором в лесах Камбоджи или Туруханского края. Наградой за такой сон могло бы быть резкое обнищание сновидца.

Если внимательно следить за хронологическим порядком текстов, можно заметить, что для того, чтобы поддержать акции возможных миров на достаточно высоком уровне, автору все чаще приходится а) заставлять своих героев прибегать к галлюциногенным препаратам и б) под видом комментария создавать настоящие философские диссертации. Здесь он хорошо вписывается в новейшие тенденции интеллектуальной русской прозы, которая растворяет уже растворенный политиками принцип реальности в Реальном (фактически понимае-

мом как желание Другого). Специфическая "кислотность" становится условием письма, стремящегося за пределы социальности, на которую, впрочем, и без того нельзя опереться, настолько рыхлой является ее ткань. Другими словами, препарат довершает дереализацию мира, который и сам несет на себе черты откровенной бредовости, развиваясь по сценарию компенсированного психоза.[1] Убегая от мира, бессильно претендующего воплощать в себе принцип реальности, герой на самом деле лишь перебегает из одного бреда в другой, скорее всего даже менее тяжелый. Эта стратегия по-разному преломляется в "Dostoevsky-trip" В. Сорокина, "Чапаеве и Пустоте" В. Пелевина и "Бинокле и монокле" Пепперштейна (написанном при участии С.Ануфриева). Герой этого текста, фон Кранах, которому пастельные тона Ренуара милее темных фонов его однофамильца Кранаха и которому СС поручает борьбу с партизанами, пытается узнать истину о партизанском отряде некого Яснова (Паша расшифровывает эту фамилию как "Я — снов", но стоит подумать и над такими вариантами: "Я — снова" — постоянное возвращение "я" после кислотного растворения — и "Я — с — новым" — возращение этого "я" всегда новым, но при этом сохраняющим иллюзию собственной идентичности). Пленный врач отряда Яснова, Коконов, (аллюзия более чем понятная), соглашается "рассказать все" при одном условии: если он вколет себе и Кранаху некий препарат, кажется, первитин. Немецкий романтик идет на это, и под действием препарата узнает многое об отряде и его командире, но "истина" оказывается настолько яркой, что он не может ее записать[2]. Более того, сам критерий отделения фикции от не-фикции пропадает. "Я" Кранаха оказывается "я-снов", которое под видом партизанского командира искало самого себя. Проблема "я — снов" в том, что оно не может стать "я — снова": входя в сны, оно утрачивает и одновременно обретает себя. Исчезает Кранах, носивший монокль, любивший картины Ренуара, липовый отвар и "Войну и мир", и явственно проступает *черный фон Кранаха*[3], графическая изнанка его пристрастий. В сны фон Кранаха вселяется некое существо (из комментария следует, что это Дунаев — главный герой медгерменевтического романа "Мифогенная любовь каст") — или, что более вероятно, сам *фон Кранах* становится частью снов этого существа, — которое в дидактических целях, чтобы отучить его от монокулярного зрения, наносит ему удар биноклем. Впрочем, бинокулярное зрение рискует оказаться фатальным для

немца: его шансы стать "Я — с — новым", несмотря на данное ему берлинским начальством разрешение на отдых в Альпах, невелики; отпуск вряд ли поможет ему "отремонтировать" поврежденное "я".

Тексты Пепперштейна псевдонарративны, в них присутствует своеобразная воля к незавершенности. Автор не подмигивает читателю из своей ниши, намекая на то, чтобы они-де уже прошли вместе изрядный отрезок пути и скоро благополучно придут к финишу. Пепперштейн заменяет креативную установку, свойственную большинству пишущих, *рекреативной*: он превращает письмо в отдых, соглашаясь принять его как поражение (неслучайно сборник его стихов называется: "Великое поражение и великий отдых"). Отсутствие сговора с читателем заставляет предположить в авторе "Диеты старика" любителя (если относить этот термин не к качеству литературы, а к установке литератора); зато от его читателя требуется профессионализм. Паша легко переходит с прозы на стихи, которые иногда напоминают поэмы и занимают десятки страниц, переходя в теоретические комментарии. Местами эти стихи воспринимаются как водные преграды, преодоление которых требует обладания подводными крыльями; в противном случае читатель рискует сразу пойти на дно. Единство книге придают не нарративные тексты, а комментарии, написанные в основном в последние годы. Эти "тексты дискурса" категорически не рекомендуется пропускать: именно в них сконцентрированы самые неожиданные интерпретационные возможности. Иногда дешифровка на первый взгляд прозрачных нарративов оказывается крайне сложной и многозначной. Интерпретация здесь — не менее важный акт, чем написание интерпретируемого текста. В комментариях все чаще встречаются имена Пруста, Набокова, Кафки, Борхеса, Юнга, Фрейда, Хайдеггера, переориентирующие ранее написанные тексты на более широкое культурное пространство, чем то, в котором московский концептуализм функционировал первоначально. Думаю, что публикация "Диеты старика" бросает ретроспективный свет на речевую и инсталляционную практику Медгерменевтики, одним из основателей которой был Пепперштейн. Эти тексты также "не создают отношений", как и медгерменевтические, через них читатель должен поставить диагноз самому себе. С графическими же листами их роднит то, что они подписаны именем собственным и отчасти восстанавливают фигуру авторства.

В фильме П. Гринэвея "Контракт рисовальщика" дочь хозяйки поместья роняет в разговоре с художником-графиком любопытное замечание: «Если вы действительно талантливы, акт рисования полностью поглощает вас, и вы по определению не понимаете того, что значит видеть. Если же, рисуя, вы умудряетесь еще и следить за смыслом того, что вы делаете, вы, во-первых, лишены настоящего таланта, а, во-вторых, опасны, так как можете не только зарисовать, но и заметить нечто, вас не касающееся». Смерть рисовальщика в конце фильма доказывает, что это противопоставление не работает: художник запечатлел и *одновременно заметил* знаки смерти другого человека (хозяина поместья), но не смог расшифровать знаков собственной смерти. Он оказался талантливым рисовальщиком и неплохим наблюдателем: подвели его непростые отношения со здравым смыслом, который большинство людей несправедливо отождествляют с умом. Своим творчеством Пепперштейн стремится избежать дилеммы, сформулированной английской аристократкой, как это делали до него Кабаков, Пивоваров, Монастырский и другие художники-литераторы. Линия дискурса составляет часть его рисования, а рисование, в свою очередь, вызывает к жизни все новые и новые дискурсивные формации. При всей интенсивности взаимодействия эти две практики не пересекаются ни в одной точке, хотя иногда, особенно в инсталляциях, кажется, что они соприкасаются краями. В результате этой несводимой двойственности ограничиваются как идеосинкратичность рисования, так и безмерность притязаний слова, характерная для всего русскоязычного региона (как в досоветское, так и в советское время). Другое следствие этой двойной игры — принципиальная неполнота каждой из задействованных практик, которую автор не только не стремится скрыть, но и всячески подчеркивает, выдвигает на первый план. Им отрицается сама возможность органического письма, неизбежными стигматами которого являются психологизм и эдипизация. Детская литература прежде всего интересует Пепперштейна в кэрроловском смысле: как литература нонсенса.Вместо проникновения в жизнь, эта литература, прикрываясь дидактическим алиби, с неменьшим упорством проникает в смерть. В отличие от ценимого большинством психологизма, нонсенс, сообщником которого является автор "Диеты старика", при виде жизни постоянно закрывает глаза, стремясь превратить ее в игру световых пятен за веками. Неслучайно у Пруста за радужной

игрой переходящих друг в друга ассоциаций он обнаруживает два физиологических акта: испражнение и онанизм. С метафорой Паша борется потому, что все, включая дефекацию и мастурбацию, является метафоричным изначально, до всякой профессиональной "накрутки". Люди видят сны уже внутри сна. Поэтому записанный сон неизбежно фальсифицирует сон увиденный. Иногда между ними возникают странные несостыковки.

В "Толковании сновидений" Фрейд приводит ясный, по его мнению, сон. Это не собственный сон его пациентки, а рассказанный ей кем-то, т. е. вдвойне беллетризованный сон (она "слыхала его на одной из лекций о сновидении"; "его истинный источник остался мне не известен"). Отец умершего ребенка, смертельно устав, лег спать в соседней комнате, но оставил дверь открытой, чтобы из спальни видеть тело покойника, окруженное зажженными свечами. Около тела сидел старик и бормотал молитвы. "После нескольких часов сна, отцу приснилось, что *ребенок подходит к его постели, берет его за руку и с упреком ему говорит: Отец, разве ты не видишь, что я горю?* Отец просыпается, замечает яркий свет в соседней комнате, спешит туда и видит, что старик уснул, а одежда и одна рука тела покойника успели уже обгореть от упавшей на него зажженной свечи." Анонимный лектор дал этому сну очень простое истолкование: на лицо спящего отца из соседней комнаты падал яркий свет, и он вызвал у него мысль, какая возникла бы у него и в бодрственном состоянии — в комнате упала свеча и вспыхнул пожар. Возможно, он уже перед сном подозревал, что старик "не может добросовестно выполнить свою миссию." Для Фрейда это истолкование, конечно, слишком просто и рационалистично. Он опровергает его своим обычным, "мягким"(ведь он — ученый, врач) способом, а именно дополняя его, снабжая разъяснениями и комментариями ("Мы тоже ничего не можем изменить в этом толковании, — разве только добавим..."). Следуют добавления: содержание этого сновидения "сложно детерминировано", т. е. далеко от простой физиологической реакции на свет в соседней комнате. Тут явно замешан порядок речи и бессознательное: ребенок говорит не случайные слова, а такие, которые были "действительно сказаны им при жизни и связанные с важными для отца переживаниями. Его жалоба: я горю, — связана с лихорадкой, от которой он умер, — а слова: отец, разве ты не видишь?.. — с каким-то нам неизвестным, но богатым аффектами эпизо-

дом." Итак, неизвестное начинает наполняться аффектами, как бы становясь немного менее неизвестным. Хотя о природе аффектов мы ничего не узнаем, важно уже то, что они есть.

Фрейд идет дальше и замечает, что в этом сновидении вызывает удивление то, что оно могло возникнуть "в условиях, требующих, казалось бы, быстрого пробуждения". Но и здесь можно обнаружить осуществление желания, делающее сновидение "вполне осмысленным явлением". В чем состоит это желание? Мертвый ребенок, отвечает Фрейд, ведет себя здесь как живой, он подходит к постели отца, говорит с ним и берет его за руку, повторяя содержание какого-то неизвестного воспоминания, "из которого сновидение извлекло первую часть речи ребенка" ("Отец, разве ты не видишь...") Отец бессознательно хочет видеть ребенка живым и чтобы осуществить это желание, на мгновение продлевает сон. Он смотрит сон как фильм, в котором его ребенок, по словам Фрейда, "показан живым". В реальности же, отождествляемой с "бодрственным мышлением", он непоправимо мертв; поэтому возвращение к ней так травматично для отца. Заключительная ремарка Фрейда звучит так: "Если бы отец сразу проснулся и у него появилась мысль, которая привела его в соседнюю комнату, то он как бы укоротил жизнь ребенка на это мгновение."[4]

Все аргументы лектора остаются в силе, но вносимые усложнения отодвигают их на задний план; они становятся фоновыми для гипотетической существенности вторичных процессов. Продолжая видеть сон, отец на мгновение фразы ребенка — "Отец, разве ты не видишь, что я горю?" — продлил ему жизнь. Но почему только на миг? Сколько длится *во сне* фраза ребенка? Сколько фраз было забыто, вытеснено и т. д.? Как вообще увиденное становится фразой? Фрейд, как и другие великие пророки, оставляет нас наедине с этими вопросами, побуждая вторгнуться в неизвестное со своими интерпретациями, дополняющими его собственные, которые, в свою очередь, всего лишь дополняют "правильное в целом" толкование лектора.

Жак Лакан в "Четырех основных понятиях психоанализа" возвращается к истолкованию этого сна. Он уже не дополняет, а отвергает теорию лектора, согласно которой спящий отец пробуждается от того, что внешнее раздражение становится слишком сильным, а до этого он лишь реагирует на то же самое, но более слабое раздражение с помощью образов сна. Нет, утверждает Лакан, логика пробуждения не свя-

зана с силой внешнего раздражения; она принципиально иная. Сначала спящий действительно защищается от реальности, от пробуждения в ней. Но потом Реальное, понимаемое как реальность желания, начинает видеться чем-то куда более ужасным, чем реальность, и *именно поэтому* отец просыпается. Он убегает в так называемую внешнюю реальность, чтобы продолжать спать, оставаясь слепым по отношению к Реальному желания — действительно невыносимо именно оно. Заключительная формула звучит так: "Реальность — это фантастическая конструкция, которая дает возможность замаскировать Реальное нашего желания"[5].

Как видим, от интерпретации лектора не остается ничего, но и истолкование самого Фрейда переосмысливается настолько радикально, что становится даже не вторичным, а третичным. Отец просыпается не от того, что уже не может продлевать во сне жизнь своего сына, но от того, что не может вынести Реальное собственного желания, заключенное в упреке сына "Разве ты не видишь, что я горю?" Пробуждаясь, он совершает акт эскапизма, перебегая в *ужасную, но выносимую* реальность, где спящий старик уронил свечу и его покойный сын обгорает. Пожар можно потушить, старика разбудить, но ответить на упрек сына нельзя потому, что его устами говорит бессознательное самого отца; тому просто некуда от него бежать, кроме реальности. Во сне отца, по Лакану, вообще нет сына, а есть желание отца. Это меняет статус реальности. У Фрейда он еще довольно высок, хотя несравненно ниже, чем у анонимного лектора. Французский аналитик играет на понижение: мертвый мальчик в соседней комнате все же более выносим, нежели "живое" Реальное сна, принявшее форму упрекающего мальчика.

Славой Жижек распространил выявленный Лаканом механизм на идеологию вообще. Это вовсе не мир грез, куда можно скрыться от невыносимой якобы реальности. Она обеспечивает не бегство от реальности, а представляет саму эту реальность как бегство от Реального. "Идеология, — звучит формула Жижека, обобщающая анализ сна о горящем мальчике, — это иллюзия необходимая для того, чтобы бежать от Реального нашего желания".[6]

Вот как далеко завел нас этот короткий сон. А между тем мы даже не знаем и никогда не узнаем, *кому же он, собственно говоря, приснился*. Сновидец безвозвратно потерян уже для Фрейда. Возможно, кто-

то рассказал его лектору, но тот мог сам сочинить его в дидактических целях. Не исключено, что пациентка Фрейда придумала его для того, чтобы намекнуть на какой-то нюанс в их личных отношениях, например, на то, что ее лечение не продвигается так быстро, как ей бы того хотелось, или что она испытывает к нему тайное влечение. (Тогда фраза: "Отец, разве ты не видишь, что я горю" — естественно, приобретает иной смысл.) А что если бы мы узнали, что приснилось старику, нанятому читать молитвы по покойному, но не выдержавшему ночного бдения? Число гипотез умножаемо бесконечно. Возможно, мы так много знаем об этом сне именно потому, что мы не знаем и не узнаем, чей это сон, кому он приснился. В результате он является как бы собственностью интерпретаторов: лектора, пациентки (о ее истолковании мы, правда, ничего не знаем), Фрейда, Лакана, Жижека и многих других. Их концепции так захватывающи, что никто, как мальчик в сказке Андерсена, уже не решается "наивно "спросить: а был ли сам сон? Или он кому-то приснился?

Предлагаемый Пепперштейном выход из этой ситуации состоит в уподоблении сна тексту. Оба одинаково психоделичны и в равной мере воспроизводят пустоту. Он вспоминает, как в детстве научился засыпать под "Колымские рассказы" Шаламова, которые читались по Би-Би-Си после передачи "Глядя из Лондона". Они действовали как транквилизатор, хотя — или именно потому что? — их содержание было ужасным. Скорее всего, это происходило не потому, что литература-де разрывает связи с реальностью, преображая ужасное в райский дискурс, а потому, что в сердцевине самой реальности лежит радикальное зияние или нехватка. Жизнь не выдерживает этой нехватки и крошится, стремясь заполнить ее своими выделениями. Паша приводит интересное место из книги Теренса Маккенны "Истые галлюцинации": совокупляясь со своей девушкой под грибами, автор в момент оргазма кричит: "За Владимира!", имея в виду Владимира Набокова. По мнению наркотизованного здравого смысла, писатель не сумел взять от жизни что-то исключительно существенное, и он, Маккенна, делает это за него, восполняя, как ему кажется, то главное, чего недоставало сочинителю "Лолиты". На самом деле отдаваемого/ возвращаемого здесь недостает не Набокову, а литературе, и русскому писателю по ошибке благородно возвращают то, что тот *и так никогда не терял.* Именно нехватка, зияние на месте того, что в момент оргазма испы-

тывает, как ему кажется, за писателя псиллоцибиновый гигант и составляет притягательность набоковских текстов.

Внутрилитературные сновидения отличаются от дидактических. Я не могу до конца поверить ни одному рассказу о сновидении, претендующему на научный статус. Очень интересные сновидения наводят на мысль, что их автор, тот же Фрейд, — человек литературно одаренный, хотя до настоящего одиночества ему еще далеко. Текст окончателен в силу того, что вымышлен до конца, а рассказанный сон всегда приблизителен, так как, претендуя соответствовать увиденному сну, он снимает *радикальную проблематичность* связи увиденное/записанное. Текст же автономен от порядка видимого, поскольку его видимое полностью расположено внутри него самого; он перестал заигрывать с реальностью и полностью перешел, если пользоваться языком Лакана, на сторону Реального. Именно неполная текстуальность "Толкования сновидений" вызывает к жизни научные притязания его автора. Пашина же способность сочинять сны полностью лежит в области литературы и не нуждается в авторитете внешней аналитической инстанции.

Сложной представляется и связь литературы с психоделикой. Многие виды психоделического опыта настолько интенсивны, что записанным оказывается нечто иное. Возможно именно художественная стерильность (вспомним хотя бы "Искусственный Рай" Бодлера[7]) основных видов галлюциноза заставляет испытавших их видеть в этом опыте нечто особенно ценное. Подозрительна сама беспрецедентность такого опыта на фоне исключительно высокой степени его повторяемости: хотя переживающие эти состояния люди часто представляются себе поэтами в высочайшей мере, в этом опыте отсутствует как раз элемент сделанности, поэзиса. Как можно видеть из рассказа "Грибы", галлюциноз строится по спортивному сценарию: все определяется тем, кто может лучше выдерживать напор деперсонализующих сил. Я бы назвал такой опыт на выбор буддизмом спортсменов или попсовым вариантом просветления. Конечно, идея литературы в таблетках, прописанная Владимиром Сорокиным в пьесе "Dostoevsky-trip"[8], интересна не только своей буквальностью, но тем, что препараты потребляются коллективно и разыгрываются по определенному беллетризованному сценарию. Вообще галлюциноз коммунальных тел отличается тем, что в условиях распада насильственного коллективизма он легко

хотя райское сознание собственной неизменности не покидает автора, оно не мешает ему изменяться. Это видно по тому, с помощью каких приемов им создается в тот или иной момент впечатление вечности. Его герои перестают пахнуть фиалкой, они уже подобно статуям не "источают слезы" и не летают над адом на бутерброде, прикрывшись ломтиком молочно-розовой колбасы. Анатомически эти существа становятся все более достоверными, обрастают физиологическими признаками и все новыми предметами туалета. Сам автор понимает взросление как репетицию смерти. "Сейчас через много лет, лишь редактируя свои пубертатные откровения, когда неумолимое половое созревание выталкивает нас за границу детства, мы многое понимаем. В том числе и то, что нас так же бесцеремонно вытолкнут из жизни." То, что мы называем Большой смертью лишь завершает процесс постоянного медленного умирания, приметы которого рутинны и в основном настолько банальны, что с ними никому даже не приходит в голову бороться. Книга неслучайно называется "Диета старика". Ее автор, едва перешагнувший тридцатилетний рубеж, является ветераном письма, рисования, инсталлирования, комментирования. Он понимает, что из детства ему надо, минуя взрослость, выпасть — или впасть? — непосредственно в старчество (с астрономическим числом прожитых лет) [9]. Но как совершить прыжок через привычное взросление? Как избежать взросления не только автора, но и его текстов? Как избежать наползания времени, медленного затягивания в историю (как иногда говорят "Ну, я попал в историю!")? Я не знаю, как это сделать. За каждым остается святое право закрыть глаза, но изменить вектор протекания времени, его, как выражался Гуссерль, "конститутивный стиль" неспособен, кажется, никто. Не взрослеть фактически значит не обращать на взросление внимания, занимаясь чем-то другим, например, что-то бесконечно обсуждать. Впрочем, на всякого колобка довольно простоты, и хотя никого нельзя лишить этого свойства, смысл обладания им подвержен, в свою очередь, закону колобковости, т. е. закону изменения колобка .

Паша видит свою задачу в том, чтобы "создать памятник эйфории", а для этого надо "не создавать отношений". Между тем большинство известных интеллектуальных миров, как ему известно, во-первых, пронизано страданием, а во-вторых, только и делает что создает отношения, т. е. принимает во внимание интересы некоего со-

общества. Поэтому герой "Предателя ада" недолюбливает интеллектуалов и работает на военных и оборонно-промышленный комплекс, так как только эти последние способны создать мир, освободившийся от главного врага Койна, боли. Предаваемый им Ад синонимичен боли, агентами которой являются, в частности, разного рода интеллектуалы, цепляющиеся за свое право страдать. Если в "Бинокле и монокле" речь идет об обучении Запада бинокулярному (фактически *полиокулярному*) зрению, понимаемому как психоделическое и коллективное, в атмосфере "Предателя ада" этот коллективизм уже безнадежно архаичен и уступает место чему-то принципиально иному: сверхсовременному оружию, замещающему боль невиданным наслаждением (о том, что разрушение связки наслаждение/боль объясняется контекстом "сна о больших голливудских деньгах" я уже упоминал выше).

Спасение перестает быть особым элитарным усилием, но групповой дискурс также подвергается девальвации. Новая дилемма озвучивается так: либо все просто обречены на спасение, либо ни у кого нет никакого шанса. Спасение в дискурсе сменяется спасением во сне. Ликвидируются последние трещины в памятнике эйфории — он становится идеально гладким и одновременно безнадежно хрупким, потому что сон о деньгах, придуманный для Голливуда, может в любой миг уступить место низкобюджетному сну, герой которого обрекается на бесконечную боль, служащую изнанкой наслаждения. Кроме того в несновидческих, *как им кажется*, мирах, находящихся во власти так называемой согласованной реальности, господствует принципиально иная логика: множество таких миров, в настоящем причиняющее своим обитателям (при этом, что важно, причиняющее совершенно поразному) интенсивную боль, в будущем также претендует на статус миров без боли. Впрочем, не это ли упование выдает им ордер на причинение боли в бесконечно продлеваемом настоящем? Любое обезболивание этих миров — рискованное предприятие, так как *тогда боль уже нечем будет заклясть*: ведь социальные утопии и есть настойчивое заклинание боли. В основе замены утопии эйфорией лежит определенная концепция вещи. Пепперштейн считает, что вещь — это несводимый остаток мысли, подлежащий спасению, содержащий в себе нерастраченный потенциал наслаждения. Иногда вещь предстает ему в качестве тела в состоянии перманентного галлюциноза. Текст, в свою очередь, вынужден замещать тело, потому что это последнее "слиш-

отождествляется с нормой. Возникшая эйфория легко принимается за "аутентичную" форму существования таких тел, за новую форму социальности и т. д. Непонятно, впрочем, и то, *к какой норме* можно пробудиться из этих состояний. В "Dostoevsky-trip" также остается неясным, отчего погибает в конце пьесы группа сторонников поглощения литературы в таблетках: виноват ли в таком финале еще не опробованный наркотик под названием "Достоевский" или сыграло роль то банальное обстоятельство, что группе просто некуда возвращаться, потому что отношение ее участников к смерти опосредовано не Богом, а веществом. Пепперштейн избегает такого буквализма: рецептов потенциального у него много; читателю предлагается на выбор любой. Центральным в "Диете старика" является раздел о еде, где речь идет о молоке, ватрушечке, супах, горячем, колобке, грибах и т. д. Интересно, что все эти продукты кроме галлюциногенных грибов не съедаются. Съедаемые же грибы относятся к нетелесному порядку: их поглощение не только не насыщает тело, но и угрожает растворить ядро личности. Отвергая остальную пищу, персонаж "Грибов" всеми силами старается не допустить собственной дематериализации, вступая с грибами в единоборство внутри литературы и в каком-то смысле за литературу. Неслучайно он опирается при этом на китчевую икону Божьей Матери, кладущую предел стерильной деперсонификации. Ведь *само по себе* "грибное сияние" расшифровке и переводу в форму литературы не поддается. Впрочем, крайний дискомфорт, как выяснилось потом, оказался путем к высшему комфорту (утренний эпизод блаженного слияния с природой). Акт поедания отсутствует не только в текстах, но и в снах Пепперштейна: там сколько угодно секса, подъемов, падений, и неожиданных встреч, часто со свежими, только что синтезированными сном существами, но что-либо съесть во сне оказывается невозможным. Только в этом плане, собственно, сон и подобен тексту, в остальном различия преобладают. Вообще "галлюциноз" у Пепперштейна является собирательным термином для самых разных состояний, связанных как со сном, так и с бодрствованием. Раньше нечто подобное именовалось грезой. У писателя нет рецепта грезы, тем более ее химической формулы. Стало быть, литература не может быть продуктом какого-то вещества, хотя постоянное заклинающее повторение определенных слов — "онейроид", "кайф", "галлюциноз" — наводит на ложный след, заставляя предположить, что литературу, в от-

личие от пищи, можно потреблять в таблетках или в каком-либо другом виде. Несколько раз описывается даже специальный браслет, в который вставлены капсулы с веществами, вызывающими у героев строго определенные состояния по прейскуранту. Но на самом деле *так* блаженствовать способны профессионалы страдания, преследуемые фобиями в сопровождении целой свиты прихотливых "приколов". Уже герои первого рассказа кажутся сверхживыми потому, что это — мертвецы, и каждое из этих "веселых пухлых существ" готово в любой момент превратиться в "фонтан скорби". Под прикрытием галлюциноза на поверхность выгоняются интенсивные потоки смысла. Вещи и люди выводятся наверх вместе со своими принадлежащими загробному миру двойниками. Конечно, на них можно смотреть и с точки зрения жизни, но она всегда подчинена взгляду из иного мира, составляющему "правильную" перспективу. Только загробность придает людям и вещам приписываемый смысл.

Пепперштейн эволюционирует от приватной мифологии детства через ее "эйдетизацию" в работах медгерменевтики к работе с продуктами массовой культуры, со стереотипами как местного, так и западного сознания. Несмотря на неизменную рекреативную установку его захватывает процесс профессионализации в его основных — галлюциногенной, компьютерной (обсуждение "Бинокля и монокля") и интеллектуальной (сочинение "текстов дискурса") — ипостасях. Последние по времени нарративы не только концептуальны, но и занимательны. Это увлекательное чтение, удачно обрамливаемое многослойными комментариями. У Пепперштейна появляется свой стиль; и если обычный писатель рассматривал бы его появление как завоевание, то автор, чье любительство принципиально, писатель, продолжающий ориентироваться на рекреацию (отдых, *otium*), а не на креацию (латинский перевод греческого поэзиса), возможно, видит в этом приобретении нечто более двусмысленное. Уже медгерменевтическая практика превращала впечатления детства в эйдосы, лишая их элементов становления. Теперь же мы нуждаемся в особом метауровне для того, чтобы выделить в текстах то, что еще противится занимательности и возможности быть поглощенным читателем. Сложность структуры "Диеты" определяется и тем, что в ней с самого начала встречаются позднейшие вкрапления, дописывания и переписывания, внесенные иногда через 10-12 лет после написания первоначальных текстов. И

хотя райское сознание собственной неизменности не покидает автора, оно не мешает ему изменяться. Это видно по тому, с помощью каких приемов им создается в тот или иной момент впечатление вечности. Его герои перестают пахнуть фиалкой, они уже подобно статуям не "источают слезы" и не летают над адом на бутерброде, прикрывшись ломтиком молочно-розовой колбасы. Анатомически эти существа становятся все более достоверными, обрастают физиологическими признаками и все новыми предметами туалета. Сам автор понимает взросление как репетицию смерти. "Сейчас через много лет, лишь редактируя свои пубертатные откровения, когда неумолимое половое созревание выталкивает нас за границу детства, мы многое понимаем. В том числе и то, что нас так же бесцеремонно вытолкнут из жизни." То, что мы называем Большой смертью лишь завершает процесс постоянного медленного умирания, приметы которого рутинны и в основном настолько банальны, что с ними никому даже не приходит в голову бороться. Книга неслучайно называется "Диета старика". Ее автор, едва перешагнувший тридцатилетний рубеж, является ветераном письма, рисования, инсталлирования, комментирования. Он понимает, что из детства ему надо, минуя взрослость, выпасть — или впасть? — непосредственно в старчество (с астрономическим числом прожитых лет) [9]. Но как совершить прыжок через привычное взросление? Как избежать взросления не только автора, но и его текстов? Как избежать наползания времени, медленного затягивания в историю (как иногда говорят "Ну, я попал в историю!")? Я не знаю, как это сделать. За каждым остается святое право закрыть глаза, но изменить вектор протекания времени, его, как выражался Гуссерль, "конститутивный стиль" неспособен, кажется, никто. Не взрослеть фактически значит не обращать на взросление внимания, занимаясь чем-то другим, например, что-то бесконечно обсуждать. Впрочем, на всякого колобка довольно простоты, и хотя никого нельзя лишить этого свойства, смысл обладания им подвержен, в свою очередь, закону колобковости, т. е. закону изменения колобка .

Паша видит свою задачу в том, чтобы "создать памятник эйфории", а для этого надо "не создавать отношений". Между тем большинство известных интеллектуальных миров, как ему известно, во-первых, пронизано страданием, а во-вторых, только и делает что создает отношения, т. е. принимает во внимание интересы некоего со-

общества. Поэтому герой "Предателя ада" недолюбливает интеллектуалов и работает на военных и оборонно-промышленный комплекс, так как только эти последние способны создать мир, освободившийся от главного врага Койна, боли. Предаваемый им Ад синонимичен боли, агентами которой являются, в частности, разного рода интеллектуалы, цепляющиеся за свое право страдать. Если в "Бинокле и монокле" речь идет об обучении Запада бинокулярному (фактически *полиокулярному*) зрению, понимаемому как психоделическое и коллективное, в атмосфере "Предателя ада" этот коллективизм уже безнадежно архаичен и уступает место чему-то принципиально иному: сверхсовременному оружию, замещающему боль невиданным наслаждением (о том, что разрушение связки наслаждение/боль объясняется контекстом "сна о больших голливудских деньгах" я уже упоминал выше).

Спасение перестает быть особым элитарным усилием, но групповой дискурс также подвергается девальвации. Новая дилемма озвучивается так: либо все просто обречены на спасение, либо ни у кого нет никакого шанса. Спасение в дискурсе сменяется спасением во сне. Ликвидируются последние трещины в памятнике эйфории — он становится идеально гладким и одновременно безнадежно хрупким, потому что сон о деньгах, придуманный для Голливуда, может в любой миг уступить место низкобюджетному сну, герой которого обрекается на бесконечную боль, служащую изнанкой наслаждения. Кроме того в несновидческих, *как им кажется*, мирах, находящихся во власти так называемой согласованной реальности, господствует принципиально иная логика: множество таких миров, в настоящем причиняющее своим обитателям (при этом, что важно, причиняющее совершенно поразному) интенсивную боль, в будущем также претендует на статус миров без боли. Впрочем, не это ли упование выдает им ордер на причинение боли в бесконечно продлеваемом настоящем? Любое обезболивание этих миров — рискованное предприятие, так как *тогда боль уже нечем будет заклясть*: ведь социальные утопии и есть настойчивое заклинание боли. В основе замены утопии эйфорией лежит определенная концепция вещи. Пепперштейн считает, что вещь — это несводимый остаток мысли, подлежащий спасению, содержащий в себе нерастраченный потенциал наслаждения. Иногда вещь предстает ему в качестве тела в состоянии перманентного галлюциноза. Текст, в свою очередь, вынужден замещать тело, потому что это последнее "слиш-

ком кошмарно". Текст, собственно, конституирует не-данность тела, прежде всего тела его автора (это обстоятельство маскирует имя автора, "обезболивающее" отсутствие его тела [10]). В тексте "Философствующая группа или музей философии" тщательно описываются иногда довольно экзотические предметы, на которых выгравированы, выбиты или каким-то другим способом записаны философские сентенции. Содержание этих высказываний никак не связано с предметами, на которых они записаны. Уровень предметов и уровень высказываний совершенно самостоятельны: цель записи — обеспечить каждому высказыванию собственную уникальную плоскость, на которую оно наносится и тем самым расцепить его с другими высказываниями. Зачем производится расцепление также ясно: это делается, чтобы лишить философский дискурс изначально присущей ему агональности, полемической заостренности одних высказываний против других. Каждое высказывание хорошо, если записано на отдельной плоскости и не претендует опровергать другие. Другие высказывания надо писать на других плоскостях — вот и все. Плоскость записи устроена так, что является предметным эквивалентом высказывания, никак не связанным с его смыслом: в противоположность иллюстрации, эквивалент успокаивает, "нирванизует" философскую мысль, действует на нее как накопитель уже не диалектики, а эйфории. Высказывания могут при случае меняться плоскостями записи — от этого их смысл не пострадает. Смысл выводится за пределы диалога.

Если традиционная философия определяется Пепперштейном как "опосредованное традицией галлюцинирование в логосе", то задача поверхности записи или чистой предметности, — удвоив этот галлюциноз, ликвидировать его. Но проблема в том, как отделить предмет от субстанции, уже при рождении сделавшей его своим агентом. Предмет в философской традиции — и это Паша показывает на примере Хайдеггера — это вовсе не испускающее сияние сокровище, а произведение определенным образом (в конечном счете трансцендентально) сконструированной субъективности. Именно в силу того, что философия как метафизика представляет собой опьянение основаниями, усилие, связанное с поддержанием мира предметов в статусе предметов, а не чего-то другого, она не допускает в мир никаких дополнительных видений, онероидов и других экстатических состояний. Экстатично обоснование мира, а не он сам: вне опьяненности основаниями есть только физика, про-

странственные развертки вещей. В этом смысле "галлюцинирование в логосе", даже в его "авангардистских" — хайдеггеровском, дерридианском или делезовском — вариантах, дело достаточно консервативное и чуждое любой трансгрессии *кроме трансгрессии самой традиции.* Сосредоточив эксперимент в области оснований, делают следствия из оснований предсказуемыми, не допускают безумия следствий.

Между тем Пашу интересует прежде всего многокрасочное безумие самих следствий. Именно его он хочет лишить агональности. Скажем, Хайдеггер постоянно работал со [сказанным-] несказанным, но [сказанным-]несказанным не любых, а определенных древнегреческих текстов. Качество невысказанности, естественно, также определялось традицией. Он "пытал" тексты исключительно мягко, по определенным правилам, создавая подмеченное Пашей впечатление, что они "сознаются" сами, без какого-либо насилия с его стороны. Тело этого погруженного в традицию философа как бы заключено в читаемых им текстах (и "Башмаки" Ван Гога он читает как текст, и "лес во льду", и "лампу Мерике", если оставаться в жанре философских багателей)[11]. Поэтому мы и не можем выделить из этих текстов еще одно, лучащееся оригинальностью тело. Поэтому "Башмаки" Ван Гога необходимо образуют пару, их нельзя представить как два разрозненных башмака (полемика Хайдеггера с Мейером Шапиро на эту тему саркастически проанализирована в книге Деррида "Истина в живописи"); поэтому же "videtur" и "lucet" противостоят друг другу в немецком глаголе "scheint", который значит *и "светиться", и "казаться"* и еще многое другое. Философия — это агон понятий внутри слов, желание если не ликвидировать их многозначность, то по крайней мере создать некую иерархию смыслов. Лампа шваба Мерике наделяется атрибутом свечения в ущерб кажимости швабом Хайдеггером с постоянной отсылкой к еще одному, не упоминаемому в *пашином* тексте швабу, Гегелю[12]. В любом акте "окончательного" прояснения, конечно, заключен элемент магии, точнее, поэзиса, подмеченный Пепперштейном. Говорение из оснований обречено приводить в экстаз даже неискушенных слушателей, которые через полчаса после экстаза немеют и не могут передать услышанное (этот эффект отмечается у всех "говорящих" философов, будь-то Хайдеггер, Лакан, Виттгенштейн или Мамардашвили).

Почему лампе Мерике обязательно нужно светиться? Почему оба

ботинка Ван Гога нельзя надеть на одну ногу? Отчего так важно знать, на чью именно ногу, художника или крестьянки, они надевались? Для обычного шамана эти нюансы столь незначительны. Почему же здесь они разбухают до космических размеров? Потому что философия даже после смерти выполняет возложенную на нее традицией миссию отделения ложных претендентов от истинных, хотя истина уже давно не увязывается с присутствием божественной инстанции и принимает профанную форму ортодоксального говорения. В философии был, есть и будет несводимый остаток социальности, вызывающий у автора "Диеты старика" попеременно отвращение, восхищение и скуку. Ведь его собственный проект состоит даже не в ликвидации социальности — это непоправимо нарушило бы рекреативную установку — а в признании ее ликвидированной изначально. Пронизывающая эти тексты утопия утверждает незначимость того, что объединяет людей, и стремится к ликвидации человечества по самому мягкому сценарию: называть пищевые продукты, не поедая их; любить тела настолько нежно и бескорыстно, чтобы воспрепятствовать их размножению. Старик прекращает есть и скоро замечает, что все в мире стало лучше; ну, а функция продолжения рода для него в прошлом. В этих приватных галлюцинациях есть мудрость, и именно поэтому в них нет любви к мудрости, принимающей форму агона, спора, диалога друзей: обладание даже самой хрупкой софией заставляет дистанцироваться от философии. У Паши это дистанцирование принимает форму очаровывающего его притяжения: любовь к мудрости он замышляет ликвидировать, любя.

Во всяком случае степень интеллектуальности его галлюцинирования постоянно возрастает.То, что еще недавно в русскоязычном регионе представлялось всеобъемлющей литературной средой, в которой проживались миллионы жизней, теперь стремительно капитулирует не только перед компьютером и препаратами, но и перед мыслями. Эта среда быстро интеллектуализуется, компьютеризуется и наркотизуется. В результате вчерашние изгои получают шанс — или подвергаются опасности, в зависимости от глубины их постижения — стать модными авторами.

Десять лет тому назад С. Ануфриев, Ю. Лейдерман и П. Пепперштейн основали группу *Медицинская Герменевтика*. Паша определил ее как "высказывающуюся пустоту". Первоначальная греза ее участников состояла в том, чтобы отказаться от слов в пользу терминов, со-

здать чистый язык терминов. Слова не устраивали медгерменевтов тем, что, так как они были придуманы не ими, срок их жизни был им также неподконтролен. «Условия прочих слов, которые не являются терминами, расплывчаты, — поясняет Паша. — Поэтому время, отпущенное им, кажется вечностью. Термин же определен, он рожден искусственно, поэтому его время — живое и ограниченное время несовершенного создания". Время жизни обычного слова велико, и никто не в силах его укоротить; возможно ничто так не ограничивает демиургическую претензию отдельных лиц, как слова. Прием медгерменевтики состоял в том, чтобы как можно больше слов превратить в термины, тем самым взяв срок их жизни под контроль. Если, скажем, колобку суждена долгая жизнь, то изобретенный термин "колобковость" будет жить столько времени, сколько пожелают его изобретатели. Члены группы придумывали целые пласты терминов, становясь хозяевами собственного мира. Часто это были аппроприированные слова обыденного языка ("ортодоксальная избушка", "площадки обогрева", "Белая кошка"), а иногда превращались в термины имена собственные (принцип "Конашевич"). При этом теоретический дискурс, с одной стороны, снижался, сближаясь с обычным словоупотреблением, а с другой — беспредельно расширялся: теоретическим могло стать буквально все. Тем самым завершалась и одновременно доводилась до абсурда советская картина мира, строившаяся из фрагментов произвольно скомпонованной ортодоксальной речи.

Теоретизирование медгерменевтики развивалось на фоне энергетического упадка советской идеологии и было своеобразной формой ее приватизации. Потом случилось неожиданное: вакуум социальности так и не был заполнен, напротив, катастрофически расширился, и то, что еще недавно так страстно обсуждалось в узких кругах, стало расти повсеместно, как сорняк. Проблемой стало хоть какое-то ограничение пустотностью стремительно набухающей пустоты. Контуры новой ситуации прихотливы и постоянно меняются; в результате никто не знает, как не быть ей имманентным. Герметичное становится читабильным, трансгрессивное — модным. Что такое московская концептуальная традиция *hic et nunc*, в каком отношении стоит она к тому, что претендует быть актуальным, неясно, видимо, не только мне. Особенно эта неясность дает о себе знать в культуре, пока еще не выработавшей механизма музеификации и пытающейся вместо этого поддерживать акции "настоящего момен-

та" на неимоверно высоком уровне. Эта попытка каждодневно проваливается и возобновляется, чтобы провалиться и возобновиться снова.

Медгерменевтика постоянно изобретала термины, стремясь наводнить ими мир, вызвать панику на бирже понятий; за инфляцией и крахом должно было последовать небесное спокойствие, самодостаточность свежевыпеченного и с тех пор постоянно заново выпекаемого космоса. Что отличает индивидуальное творчество Пепперштейна от этой групповой стратегии? Почему одни тексты он публикует под своим именем, а другие в качестве части треугольника "старших инспекторов"? Ясно, что эти стратегии переплетаются довольно причудливым способом: отчуждая значительные текстуальные массы в пользу группы, каждый из ее участников получает преимущество, избавляясь от бремени имени собственного, обеспечивая столь необходимую богам анонимность, выражающуюся в умножении их имен. Возвращается ли Паша к имени собственному в "Диете старика", на титульном листе которой остается только его имя-псевдоним? В этих текстах нарушены многие принципы обычного авторства, но не является тайной, что эти нарушения ("инновации") только усиливают авторство как безличный механизм, как инфраструктуру. В последнем смысле его, видимо, не дано избежать никому: ведь для создания имени здесь не нужна даже подпись. Паша черпает свое неавторство из достаточно глубокого источника — его изначальной чуждости самому себе. Эта чуждость роднит его со всем иным. Во всяком случае такова логика его ответов Илье Кабакову в каталоге их выставки "Игра в теннис". "Кабаков: Ты уже давно выставляешься за границей, в "чужом месте". Что значит говорить "чужим", на "чужом" языке о "чужих" проблемах? Или слово "чужие" здесь некорректно? — Пепперштейн: Есть известные слова Кафки, адресованные его другу Максу Броду:" Как я могу иметь нечто общее со своим народом, когда у меня нет ничего общего с самим собой?" Я бы даже радикализировал это высказывание: мы настолько чужие самим себе, что все остальное становится для нас родным." Заметим, что Кабаков проницательно и аккуратно берет слово "чужой" в кавычки, дистанцируясь от его прямого смысла, лишь зондируя почву, проверяя, что оно значит для Паши *как метафора*. Чужое в кавычках оказывается для него родным, но уже без кавычек, так велика утверждаемая отвечающим степень чуждости (опять-таки, что важно, без кавычек) самому себе, зияние в сердцевине его "я". Имен-

но высшая степень чуждости себе переходит в эйфорию, в отличие от последовательно-депрессивной ориентации текстов Кафки, предполагающей чисто негативное просветление (сошлюсь на знаменитое кафковское высказывание: "Я пишу об ужасном, чтобы умереть довольным", проанализированное в эссе Мориса Бланшо). Позиция Паши проективна: он черпает право "жить довольным", помещая смерть в основание своей личности и тем самым лишая, как он полагает, трансцендентную инстанцию возможности что-либо предрешить в его судьбе. Тем самым он вступает с миром в непосредственно-родственные отношения. Отвечая на другой вопрос Кабакова, он возвращается к своему "пункту": "...мы настолько "чужие" самим себе, что все остальное в мире (места, люди, вещи) кажутся родней, толпой племянников, дедушек, кузин и внучат, по сравнению с этой изначальной чуждостью, живущей в глубине нашего собственного "я"."[13] Можно ли расшифровать этот ответ так: остается только радоваться; депрессия (чуждость себе) настолько изначальна, что имеет своим необходимым последствием эйфорию. Большое искупление невозможно, зато каждая вещь, место, человек являются орудием малого искупления; вселяясь в них, мы бесконечно развоплощаемся, что является доступным нам эквивалентом благодати. Это отлично прописано в финальной "сцене с четырьмя мухоморами" из рассказа "Грибы", где "свечение" (lucet, scheint), как в эстетике Гегеля и в фундаментальной онтологии Хайдеггера, целиком собирается на полюсе изначального галлюциногена (ведь мухоморы — это "сома", древнеиндийский гриб бессмертия) и получается неплохая (при этом совершенно бессознательная) пародия на столь раздражающий автора "Диеты" "кроткий дух серьезности". Хотя в строгом смысле и лампа Мерике — своеобразный культурный мухомор, сияние которого способно опьянять и излучать власть, не довольствующуюся простой кажимостью (выходящую за пределы *scheint* в смысле Эмиля Штайгера, т. е. *videtur*).

Книга Пепперштейна внешне производит барочное впечатление: множество лепнины скрывает несущие конструкции, линия фасада прихотливо изломана пристроенными позднее башенками, балкончиками, бельведерами, чей вес все более непосилен для Гераклов и кариатид детства. Но это впечатление ложно, если принять определение барокко Делезом как "последней попытки восстановить классический разум, распределяя дивергенции по соответствующему количеству воз-

можных миров, отделенных друг от друга границами. Возникающая в одном и том же мире дисгармония может быть чрезмерной, — *она разрешается в аккордах*, так как единственные нередуцируемые диссонансы находятся в промежутках между разными мирами...Это воссоздание могло оказаться разве что временным. Пришла эпоха необарокко — дивергентные миры наводнили один и тот же мир, несовозможности вторглись на одну и ту же сцену — ту, где Секст насилует *и* не насилует Лукрецию, где Цезарь переходит и не переходит через Рубикон, а Фан [имеется в виду герой рассказа Борхеса, известного по-русски в двух переводах — "Сад расходящихся тропок" и "Сад, где ветвятся дорожки" — М. Р.] убивает, делается убитым и не убивает, и не делается убитым."[14] Понятно, что идеально барочными являются для Делеза "несовозможные" миры лейбницевских монад, а необарокко репрезентируется Борхесом и додекафонией.

Паша вносит в этот необарочный мир существенный элемент — эйфорию, принцип равного наслаждения каждым из его по определению поддельных сияний. Он хочет быть писателем, не теряя статуса обычного сновидца (у него есть план издать книгу своих "действительных" снов), графика, члена медгерменевтики и просто частного человека (старый бодлеровский проект "жизни как искусства"). Написанные им "модные" тексты разлетаются под напором интерпретаций, рисунки заговариваются, фигура речи наносится на "уникальную" и бесконечно репродуцируемую плоскость.[15]

По возрасту Павел Пепперштейн мог бы быть моим сыном, но я — и в этом я, кажется, не одинок — не могу представить себе его в этом качестве. В чем-то он реализовал идеал выпадения из детства в глубокую старость, что на поверхности выражается в странном, уникальном в моем опыте, двоении. Прощаясь с его книгой, я выразил бы этот парадокс самыми простыми словами:" До свидания, внучек: ты — мой дедушка."

Москва, 10-26 февраля 1998 года.

Примечания:

1. Механизм функционирования одного из таких речевых психозов (противопоставляемого неврозу "немецкой вины") разбирается на материале пьесы В. Сорокина "Hochzeitsreise" в моем эссе "Борщ

после устриц"("Место печати", X, 1997, с.142-155).

2. В "Искусственном рае" Бодлер, имея в виду гашиш, связывает невозможность рассказать о наркотической экстатике не просто с параличем воли, а с необычайной интенсивностью переживаемого опыта, делающей его самодостаточным. Главную причину он видит в нарциссизме наслаждающейся своим одиночеством личности, которая во всем видит лишь собственные отражения. Из этого мира исключен любой, в том числе и поэтический труд, а вместе с ним, как выражается поэт,"честные средства для достижения Неба".

   Олдос Хаксли в "Дверях восприятия" пишет о своем опыте принятия мескалина как о научном эксперименте, но местами не может удержаться от придания ему исключительно высокого статуса в порядке невербального. Странным, но отнюдь не неожиданным приложением к его эмпиризму является мистика. "Но человек, возвращающийся через Дверь в Стене, никогда не будет точно таким, каким он туда вошел. Он будет... подготовлен для понимания связи слов с вещами и систематических рассуждений с непостижимой Тайной, которую они пытаются — всегда тщетно — ухватить."

   Возможно дело здесь не только в свойствах поэзии Бодлера и прозы Хаксли, но и в том, чем гашиш отличается от мескалина. Опыт галлюцинирования, видимо, также бесконечно дифференцирован и не подводим под общий знаменатель.

3. Об этом в связи с философией Лейбница прекрасно написал Жиль Делез: "Сущность монады в том, что у нее *темная основа* (или *фон*): она черпает все именно из него, и ничто не приходит в нее извне и не выходит за ее пределы.

   В этом смысле необходимость ссылаться на слишком уже современные ситуации возникает лишь в тех случаях, если они способны разъяснить то, что было уже барочным начинанием. Издавна наличествуют места, где то, на что следует смотреть, находится внутри: келья, ризница, склеп, церковь, театр, кабинет для чтения или с гравюрами. Таковы излюбленные места, создававшиеся в эпоху барокко, его слава и мощь. И, прежде всего, в темной комнате имеется лишь небольшое отверстие в потолке, через которое струится свет, проецирующий при помощи двух зеркал на полотно очертания предметов, которых не видно, так как второе зеркало должно быть наклонено сообразно положению полотна. И затем — стены украшаются трансформирующими изображениями, нарисованными небесами и всевозможными

видами оптических иллюзий: в монаде нет ни мебели, ни предметов, кроме создаваемых оптическими иллюзиями."(Ж. Делез. Складка. Лейбниц и барокко, Москва, "Логос", 1998, с. 28.) Пепперштейн также хотел бы создавать в качестве литературных объектов монады, состоящие из самоотражений: в основе его писательской практики лежит греза об освобождении вещей от субстанции. Став фоном Кранаха, фон Кранах обретают свою сущность и теряет свое "я".

4. З. Фрейд. Толкование сновидений, Ереван, 1991 (репринт издания 1913 года), с. 363.
5. S. Zizek. The Sublime Object of Ideology, London-New York, Verso, p. 44-45.
6. ibid., p.45.
7. В заключительном эссе "Искусственного рая" Бодлер противопоставляет гашиш вину: "Вино делает добрым, общительным, гашиш влечет к уединению. Вино, так сказать, трудолюбиво; гашиш, по существу, лентяй. К чему, в самом деле, работать, пахать, писать, производить что бы то ни было, если можно попасть в рай без всякого труда?..Вино полезно, плодотворно. Гашиш бесполезен и опасен." (Ш.Бодлер. Искусственный Рай, Петербург, "XXI век", 1994, с. 181)
8. В. Сорокин. Dostoevsky-trip (пьеса), Москва, Obscuri Viri, 1997.
9. Эта тема развивалась в инсталляции группы медгерменевтика" Труба или аллея долголетия" и в беседе С. Ануфриева и П. Пепперштейна "Полет, уход, исчезновение", давшей название одноименной выставке в Праге и Берлине. " Речь идет, как видим, — говорит Паша, — об остановке рождений и смертей. Туннель, уходящий в домашний уют потустороннего, как-то отрезает этих застывших в долголетии стариков от этих "детей", застрявших в предрождении.

   Все это моделирует своего рода "квазифедоровскую" ситуацию. Для стариков — близость к туннелю, параллельность ему, является источником долголетия. Туннель — нечто освобождающее, освежающее. Это приводит нас к старинному упованию на смерть, как на лекарство от болезней и, в конечном счете, от смерти же (смертью смерть поправ...)." (Полет-Уход-Исчезновение, Московское концептуальное искусство, [Каталог на русском и немецком языке.] Ostfildern, Cantz Verlag, 1995, p. 284.)
10. Связь подписи со стремлением замаскировать, скрыть и вместе с тем метафорически обнажить, выпятить тело автора, родство этих

кажущихся противоположностей разбирается в работах Жака Деррида "О грамматологии","Почтовая открытка", "La fausse Monnaie".

11. Кстати, для "Вещи и творения" Хайдеггера картина Ван Гога, можно сказать, акцидентальна. Это текст об истоке и о том, "откуда пошел художник, ставши тем, что он есть". А фактически о стыдливой первичности непотаенного перед лицом сущего в его целом. И текст о лампе Мерике также не о лампе, а о последствиях "сияния" для метафизики.
12. Хайдеггер напоминает Штайгеру, что прекрасное определяется в эстетике Гегеля как чувственное свечение. Друг гегельянца Фишера, Мерике не мог об этом не знать. Впрочем, и незнание определения Гегеля не освободило бы его от участия в духе того, что делал Гегель, так как через него в то время говорило нечто более значительное. "Но то, что прекрасно, блаженно светит в нем самом" — определяется как "гегелевская эстетика in nuce" (М. Хайдеггер. Работы и размышления разных лет, Москва, "Гнозис", 1993, с. 245.) Любовь великих философов к власти/истине выражается в постоянно возобновляемом сообщничестве с древней традицией, выражающемся в ее решительном обновлении. В этом смысле они — экраны, на которые проецируются ожидания их образованных современников. Обращенность их речи столь же фундаментальна, как и сама речь. Как только уши повернутся в другую сторону, она исчезнет.
13. И. Кабаков, П. Пепперштейн. Игра в теннис, Pori, Porin Taidemuseo, 1996 (каталог на английском, финском и русском языках), p. 27; см. также p. 47.

    Интересен и самый последний вопрос, который Пепперштейн задает Кабакову (пятый вопрос на шестнадцатом щите): "Известен старокитайский художественный принцип "ворона на снегу" в Чаньской традиции. Ворона на снегу рисуется столько раз, пока в сознании рисующего не остается *только эта ворона* на *"только этом снегу"*. Однако остается сам принцип "ворона на снегу". Как устранить это противоречие?"

    Кабаков: "Противоречие в принципе неустранимо. Мало того, в этом рассказе скрывается своеобразный парадокс. "Ворона на снегу" — уже готовый эстетический объект, эстетическое качество уже гарантировано сюжетом. Но предполагается, что качество эстетического улучшится, если произойдет "вчувствование" в изображение того и другого [вороны и снега — М.Р.] Парадокс в

том, что, возможно, "качество" нарисованности вороны и снега улучшится, но само эстетическое переживание сюжета не станет от этого сильнее." (ibid., p. 48-49.)

Как вопрос, так ответ здесь настолько интересны, что о многом говорят даже без комментария.

14. Ж. Делез. Складка. Лейбниц и Барокко...с. 83.
15. См. также: С. Ануфриев, Ю. Лейдерман, П. Пепперштейн. На шести книгах, Düsseldorf, Kunsthalle Düsseldorf, 1990 (на русском и немецком языках).

Pedigree Pal.

Путь к английскому догу

С недавних пор доминирующей областью зоологического является в нашей стране не искусство, а политика. Актуальные художники окончательно уступили свой главный козырь – природное измерение – политикам в 1996 году. До этого метафора животности выполняла на московской сцене важную критическую функцию; тогда политическое животное еще надевало на себя личину человечности. Уже больше двух лет животность является предметом экспорта, товарным клеймом России в глазах иностранцев. В последние годы в искусстве Москвы исчез Большой Стиль, претендующий на выражение духа времени. Бессознательное торжествует в такой мере, что уже не нуждается в призме, которую образует художественное произведение. Оно рекрутирует своих агентов непосредственно в политической среде. Народность политиков сводится к разыгрыванию ими специфических травм своего электората. Как актеры травмы многие из них достигли виртуозности и, конечно же, заинтересованы в ее периодическом возобновлении. Причем, сами травмы становятся все более неантропоморфными и требуют от актеров "нечеловеческих" способностей.

Видимо, наиболее крайние, инфантильные проявления животности в нашем обществе отошли в прошлое. Их последствия оказались губительными не только для жертв, но и для агрессоров. "Демократический закон джунглей", как назвал эту ситуацию Олег Кулик, натолкнулся на свои пределы. За периодом элитарной животности, напускавшей на себя черты демонизма, следует ничем не примечательное погружение в природу больших масс людей, сопротивляющихся – впрочем, довольно вяло – такому выталкиванию. Разные социальные слои оказались замкнутыми на самих себя, лишенными общего языка. Художники и потребители искусства – один из таких слоев, своеобразный клуб по интересам, куда давно знающие друг друга люди приходят напомнить о себе, так сказать, "отметиться". Что происходит в более широком социальном спектре, членов клуба, похоже, не особен-

но интересует. Я не припомню ситуации, когда местная культурная перспектива просматривалась бы так плохо. Трагическое становится столь обыденным, что связанное с ним сообщение уже нельзя обобщить: в нем нет необходимого художнику избытка. С другой стороны, художник еще не умеет производить избыток из самого себя, для этого ему недостает приватности. Движущая сила искусства – риск не быть – превратилась в роскошь, которую никто не может себе позволить.

Доминирующим настроением стало не безразличие, а апатия, боязнь перевозбуждения. Если приглядеться, в этом состоянии отсутствует присущая безразличию – и столь заметная на Западе – пресыщенность, хотя на поверхности все выглядит именно так. Общество слишком долго играло в природу, чтобы не впасть в конце концов в спасительную апатию. Так врачи погружают в летаргический сон некоторые категории сверхвозбудимых больных. В летаргии люди интенсивно переживают свои прошлые подобия: животные, насекомые, растения, сверхлюди, ангелы и демоны плавно перетекают в таких снах друг в друга. Что бы ни снилось, главным остается покой, снижение возбуждения любой ценой. Неслучайно в ряде последних выставок (Звездочетова, Логвинова, Фэнсов) доминирующей была тема пищи, кулинарии. Сверхвозбуждение "животного" периода сменяется самоуспокоением после обильной трапезы с признаками "шикарности" (икра, экзотические салаты). То, что еще недавно было антуражем, стало основным блюдом. Созерцание сменилось (реальным и воображаемым) поглощением, текстуальность – пищеварением. Тема еды невиданно сблизила художника со зрителем.

Расставшись с представлением о себе как об элите репрессированных, перестав быть "рупором всеобщего", интеллигенция стала необычайно самодостаточной и крайне предсказуемой в своих проявлениях. В новой "аквариумности" есть что-то успокаивающее и гуманное, и будь она выбрана сознательно, эту стратегию можно было бы только приветствовать. Но это, увы! не так. Подобная установка брутально навязана извне и не обеспечивает длительного выживания среды. Как под воздействием сильного транквилизатора, наступил безмятежный ступор, своеобразная оргия спокойствия. Искусство создается телом, а в нынешней ситуации его катастрофически не хватает.

Итак, животность как работающая модель местной ситуации на московской сцене исчерпала себя. Она стала предметом экспорта. Рас-

смотрим ее эволюцию на примере работ Олега Кулика, с которыми она прежде всего ассоциируется. Он испробовал множество животных и зоофильских ипостасей – бык, птица, священник, проповедующий рыбам, любитель козочек, – но наиболее востребованным и успешным оказалось амплуа собаки. Он дебютировал в этом качестве осенью 1994 года в совместном с А. Бренером хэппенинге "Последнее табу, охраняемое одиноким Цербером" (галерея М. Гельмана). Потом я помню его в роли служебной собаки на открытии одного московского клуба. С начале 1996 состоялся дебют в Цюрихе, где художник-собака не пускал посетителей в Кунстхалле. На выставке "Интерпол" в Стокгольме он (выступая в амплуа опасного цепного пса) укусил шведского искусствоведа, что вызвало протест западных участников выставки, разославших во все инстанции разгневанное письмо. В Голландии он в течение трех недель под наблюдением ученых с подсоединенными датчиками изображал "собаку Павлова" и т. д. А в апреле этого года в галерее "Deitch Projects" в Нью-Йорке состоялась, может быть, самая удачная в отношении паблисити акция Кулика "Я кусаю Америку и она кусает меня".

Такова неполная внешняя канва карьеры художника-собаки. Попытаемся найти в ней какую-то внутреннюю логику, проследим реакции на животность в этой специфической форме и роль в них западного политического бессознательного.

Политическое животное, как определяет человека Аристотель, не может, даже если очень захочет, регрессировать до природного уровня, стать просто животным. Гарантом этой невозможности является язык. Человек погружается в природу внутри языка, даже в безумии он не выходит за его пределы. Язык как необходимая среда всякой регрессии делает последнюю неизбежно фиктивной. Она – всегда метафора чего-то другого, например, недостатка воспризнания. Воспризнанный человек – это счастливое животное, которому встреча с Другим уже не кажется фатальной. Крешендо воспризнания делает работы все более виртуальными. Последние "собачьи" проекты Кулика косвенно вписаны в контекст мировой попкультуры. Его физическое присутствие минимизуется: сначала становится на четвереньки он сам; потом его фотографируют с собаками; затем остаются подводные фото похожей на гигантскую рыбу собаки, к которой мы возвратимся несколько позже. А ведь это разные вещи: быть собакой, представлять

собак и других животных, фотографироваться с собаками, создавать иллюзию "жизни с собакой". Если трансгрессия не переходит в безумие, – а случай Кулика явно не таков, – она переходит в товарный знак (в скрытой форме она является таким знаком изначально, хотя латентный период в отдельных случаях может затянуться).

Выступая в амплуа домашнего животного, собаки, Кулик поставил вопрос о несводимости человеческого в человеке. Что значит для человека опуститься на четвереньки? Самый наивный ответ на этот вопрос – да, он и становится тем, что претендует изображать, т. е. собакой – настолько безумен, что ни один из давших его журналистов не смог вынести его последствий. Изнанка этой "наивности" заключена в стремлении воспринять политическое в качестве природного, вытеснить в природу вполне определенный фантазм. Собака неслучайно обладает национальностью, оказывается "русской". Не потому ли, что Россия в глазах читателей западной прессы конца 90-х годов (не говоря уже о кино и телевидении) лишь по-видимости покорна, на самом же деле непредсказуема и агрессивна? На жест опускания *русского* художника на четвереньки работает весь массмедийный контекст последних лет – ни один из писавших о Кулике не обошел своим вниманием это обстоятельство. Пока русскому художнику трудно заинтересовать западную аудиторию, не пройдя сквозь массмедийный символический фильтр, советский или постсоветский; как правило, его имя выплывает на довольно безличном фоне массовидных страхов и тревожных ожиданий и, лишь оседлав эти страхи и ожидания, оно становится именем собственным. Просто знаки советскости после исчезновения СССР приобрели антикварную чистоту, тогда как ситуации, из которых извлекает свои события Кулик, пока еще подобной чистотой не обладают и черпают свою энергию из бесконечно отодвигаемого настоящего момента. Выйди Россия из нынешнего Смутного Времени – и музеификация новых знаков также стала бы весьма вероятной.

В экспортном варианте Кулик действует как индикатор колониальности бессознательного западного человека, связанного с его представлением о собственной "всеобщности". Этот человек успешно диктует свои правила игры в нейтральной среде: поэтому и Другой должен демонстрировать свою инаковость нейтрально, быть как бы застывшей фигурой Другого. Неизбежно возникает следующий парадокс: трансгрессия желаема и наказуема одновременно. Надо быть цепным

псом, но при этом не кусаться. Отсюда такая нервная реакция на реальную агрессивность Кулика и Бренера в Стокгольме.[1] На Западе художник-собака идет по тонкой кромке между желаемым и табуированным, предписываемым и *как раз в силу этого* запрещенным. Отсюда нарастающая анестезия и театрализация первоначально агрессивных зоофренических шоу, достигающая своего пика в акции "Я кусаю Америку". Там для тех, кто заходил к клетку с "собакой", был предусмотрен специальный костюм дрессировщика. Прокусить его было невозможно. Другим анестезирующим фактором была аналогия с известным перформансом Бойса 1974 года ("Я люблю Америку и Америка любит меня"), когда немецкий художник провел три недели в одной клетке с койотом (т. е. фактически с дикой собакой) в галерее Рене Блока. Культурный контекст было нетрудно считать: если Бойс-европеец приручал дикое американское начало, то русский въехал в Америку как собака, приручение которой стало делом нью-йоркской публики. Казалось бы, полная инверсия. Однако соперничать с койотом, что не преминули заметить критики, трудно. "Кулик стал не собакой, а серией "собачьих" стереотипов...Мы не сделались мелодраматичными, увидев Кулика-в-качестве-собаки, мы стали свидетелями мелодрамы" – писал критик во "Флэш Арте". "Создавать призванное шокировать искусство в нынешней атмосфере, проникнутой медиальным всеприсутствием, похоже на то, как некто приводит в дом собаку: сначала она нуждается в обучении, но довольно скоро щенок уже мочится на бумажку и совсем не создает вокруг себя беспорядка. В Европе Кулик мог передвигаться по всему галерейному пространству; в Нью-Йорке его держали в клетке из страха, что он кого-нибудь укусит. По правде говоря, с клеткой перестарались – эта собака не кусается"[2]. Автор рецензии явно обижается на слишком сильную анестезию, примененную в Сохо, и с ностальгией вспоминает о свободе, которой "русская собака" пользовалась в Европе. Собака по определению животное домашнее, но, становясь слишком прирученной, она рискует утратить качество русскости, с которым связан вызываемый ею интерес. Как добиться, чтобы домашнее животное оставалось достаточно диким, соответствующим политическому бессознательному массовидного Хозяина, в то же время не становясь необузданным, неконтролируемо диким? На этот вопрос нельзя ответить до тех пор, пока не будет осознано, что русская собака – всего лишь проекция желаний тех,

кто этот вопрос задает и что им по сути надлежит спрашивать не Кулика, а свое собственное желание. Как только его логика прояснится, исчезнет сам вопрос. Рецензент из "Нью-Йорк Таймс" был близок к истине, когда вскользь заметил: "напряжение заложено в ...противоречивых эмоциях самого зрителя"[3]. Впрочем, проекции продолжают казаться многим эффективным средством автотерапии, что делает ситуацию безвыходной. Обустройство же места проекции является во многом делом техники и необходимо сообразуется с местными условиями. Так что главное не то, что американцы применяют более сильную анестезию, а то, что вектор желания у них другой (отсюда и необходимость в более сильной анестезии). В Москве куда более брутальные акции проходили безо всякой анестезии.

Так что как бы глубоко Кулик не погружался в атмосферу массмедийных образов, их завершение зависит не от него, а от зрителя. Пока с их помощью он диагносцирует незавершенность и незавершаемость нынешней культурной ситуации – что и так очень много. Соглашаясь жить внутри работающей метафоры животности, художник заставляет зрителя понять ее буквально и, следовательно, стать животным. Предлагая невозможное (выход за пределы артикулированного языка), он осуществляет акт соблазнения, как если бы обладал ключом от бессознательного другого. Отказываясь говорить, он провоцирует в другом сильнейший дискурс, вращающийся в порочном круге. В этом отличие работ Кулика от не менее, на первый взгляд, радикальных работ А. Бренера. Последний знает ответы на все свои вопросы. Кулик же трудится над углублением самого вопроса, ответа на который он не знает. Его способности – пластические, связанные с устройством ловушек для желания другого, тогда как Бренер – это прежде всего поэт-журналист, воображающий, что ему ведом смысл им совершаемого. Его радикализму чужда какая-либо невозмутимость.

Видя человека-собаку, зритель не перестает себя спрашивать, кого же, собственно, он (или она) видит. Это человек *и* это собака плюс проекция смотрящего, делающая перевоплощение в собаку *именно этого человека* особенно убедительным. Все, что можно "объективно" сказать об этой ситуации – "это человек", "это собака", "это жалкий человек", "это добрая собака", – обречено оставаться рационализацией до тех пор, пока не будет поставлен реальный вопрос. Культурное априори, делающее зрелище человека-собаки волнующим, овладевает

смотрящим вовсе не тогда, когда он видит человека на четвереньках, а тогда, когда в цепи означающих возникает разрыв, называемый Большим Другим. По сути мы не помним, когда возникает этот испуг перед неантропоморфным, потому что именно он предопределяет нашу способность что-то помнить или забывать. Не исключено, что, совершая отклоняющиеся действия, Кулик всего лишь добивается воспризнания, наиболее банальной формулой которого является слава. Его мотивация не так значима, как это может показаться. Важнее другое: становление слугой и местом проекции чужого желания вернее всего порабощает это желание, улавливает его. Теоретические декларации, манифесты, составляемые в основном не Куликом, а его ближайшей соратницей Милой Бредихиной, – лишь вольные приложения к сложной либидинальной ситуации, возникающей в результате первоначального жеста – становления привилегированным местом инвестиции желаний. Помогая чужим фантазиям реализоваться на вторичном материале, художник-собака брутально ставит вопрос об их первоисточнике. Поэтому обычной реакцией на его "собачьи" работы является сначала некритическая эйфория, а затем устойчивое непроясненное раздражение. Особое значение имеет в данном случае угрожающее зияние на том месте, где обычно располагается объяснение, теория, программа. Бренер не может выдержать этой принципиально неопределенной ситации: его трансгрессивные жесты сближает с безумием именно их претензия на сверхобоснованность. Кулик же, напротив, вытягивает бессознательное другого на себя. На уровне речи он не более, как радикальный эколог, распространяющий гуманистические ценности на природу. Бренер совершает агрессию против другого, Кулик же, напротив, принимает агрессию другого на себя. Он опосредует требование воспризнания становлением в позицию жертвы и добиваясь от зрителя истерического отождествления. Животность человека обречена оставаться одной из фигур языка; с так называемым вступлением в природу – именно в силу его абсолютной невозможности – всегда связан акт глубинного соблазнения. Ужасает не переход некой принципиальной границы, а само притязание это сделать. Впрочем, из ловушки буквализма каждому предстоит выбираться самостоятельно. Поставить другого перед реальностью его желания нельзя иначе, как убедительно поставив себя в положение жертвы, пробудив в нем чувство вины за то, что он на какой-то миг счел тебя животным.

Методы Кулика и Бренера резко различны. Автор интересной рецензии на нью-йоркскую акцию Кулика, Я. Могутин, даже не подозревает, насколько закономерной является разница зрительских реакций на их работы: "Олег, сделавший в соавторстве с Бренером несколько скандальных акций и дебютировавший в одной из них ["Последнее табу, охраняемое одиноким Цербером" – М. Р.] в "собачьем амплуа", всегда был гением паблисити и умудрялся добиваться успеха там, где Бренер получал лишь подзатыльники и шишки"[4]. Могутин, правда, ошибочно считает эту ситуацию случайной или необъяснимой, между тем она относится к различной логике создаваемых этими художниками ситуаций: причем особенно явно это различие проявлялось как раз в их совместных акциях, где один (Кулик) действовал исходя из несводимости массмедийного контекста, используя все его возможности, а другой (Бренер) постоянно старался его нарушить ради абстрактной чистоты проповеди.

На мой взгляд, самый глубокий анализ "собачьей" артстратегии Кулика принадлежит словенскому психоаналитику Ренате Салекл. Есть только один пункт, в котором с ней трудно согласиться: насколько наивно художник отождествился с ролью собаки? Приведу это высказывание: "Беда в том, что Кулик старается выглядеть и вести себя по-собачьи, не понимая, что только люди могут получать удовольствие от этой игры – другие собаки не побегут на его представление"[5]. Я бы заменил здесь "не понимая" на "понимая" по причинам, которые приводит сама Салекл. Я не знаю, может ли Кулик вербально артикулировать свое понимание, но в пластическом пространстве мазохистического спектакля он ведет себя так, что "только люди [и никто более — М.Р.] могут получать удовольствие [а еще лучше: испытать наслаждение в лакановском смысле этого слова, т. е. прежде всего интенсифицировать страдание — М.Р.] от его игры". Причин этого, как минимум, три, и все они приводятся в статье "Love me, love my dog": 1) собака действительно не испытывает отвращения к экскрементам (репрессия анального эротизма, связанная с прямохождением, не исчезает у человека и тогда, когда он становится на все четыре "лапы") и стыда перед половым актом на публике; 2) собака "говорит" исключительно в силу конкретной нужды, без обращения к большому Другому как символу социального порядка; она не взыскует желания другого, являющегося результатом "конститутивного недостатка"; 3) собака не

ищет одобрения, между тем как, по справедливому замечанию Салекл, "необходимость одобрения является сутью [ожиданий] истерика". Он только и делает, что взыскует желание Другого, пытается нащупать контакт с ним, принять форму этого воображаемого хозяина всех своих действий. На этом в статье "Love me, love my dog" строится разбор явления анорексии и кафковского рассказа "Голодарь", в котором моделируется бессознательная по преимуществу стратегия соблазнения, ставшая "фирменным знаком" Кулика, стратегия, за которой можно предположить нерастраченные запасы привитого в детстве аскетизма.

После акции в Цюрихе фотография голого Кулика, кусающего посетителя галереи, публиковалась в западных газетах с подзаголовком "Лицо нового русского человека". Колониальная установка в отношении "Востока" вообще распространена в Европе шире, чем принято полагать, и проявляется она подчас с бессознательной наивностью. Недавно я смог в этом убедиться на личном примере. Парижский журнал "Телерама" прислал в Москву фотографа, чтобы снять нескольких московских интеллектуалов, с которыми до этого беседовал известный французский журналист. Осмотрев мою квартиру, молодая француженка осталась недовольной – она показалась ей недостаточно экзотичной, скорее, как она выразилась, "немецкой". "Здесь не то освещение" – так звучала рационализация, к которой она прибегла для того, чтобы не фотографировать меня в кабинете, на фоне книжных полок. Я решил полностью отдаться ее желанию и дать снимать себя там и так, как она захочет. Она пару раз щелкнула в комнате дочери и на кухне, а потом мы оделись и вышли на лестничную клетку сталинского дома, с отбитой плиткой, со стенами, покрытыми грязно-зеленой краской. Выяснилось, что, несмотря на пыльные окна, "освещение" там гораздо лучше, и она бодро защелкала своим аппаратом. Мусоропроводы, облупившиеся почтовые ящики, разбитое стекло – на их фоне было сделано много десятков снимков. А через три недели мне прислали журнал с фото. Я был изображен на нем в подъезде на фоне небольшой лужи, разбитого стекла, облупившихся почтовых ящиков и разбросанных по полу листов рекламной газеты. Я выглядел вполне несчастным существом. "Освещение" в итоге оказалось отвратительным, колониальным.

Перформанс был завершен: теперь я знал, каким хочет видеть меня большой Другой, пославший фотографа, – из десятков других он выб-

рал именно эту фотографию. Фотограф был его второстепенным агентом, и откажись я от поисков наилучшего "освещения", вектор его желания навсегда остался бы для меня тайной. Мой нарциссизм был несколько ущемлен, зато я теперь знаю, как должно выглядеть "Лицо русского интеллектуала" в глазах читателей массового французского журнала, сколь высок необходимый "индекс колониальности".

Во время акции Кулика в Нью-Йорке хозяин галереи Джеффри Дейч, получивший невиданное паблисити, не скрывал своего удовлетворения. "Была бы его воля, – пишет Ярослав Могутин, – он бы действительно оставил у себя Кулика на вечное поселение как редкую игрушку для себя и своего породистого бульдога – такого же самодовольного, как он сам. С выражением вселенской тоски этот отвратительный пес с оттопыренной нижней челюстью взирал на голого человека в клетке, старательно изображавшего из себя собаку".[6] Автор этих строк не мог знать, что через несколько месяцев после акции "Я кусаю Америку" Кулик заведет себе такого же английского бульдога, как у Дейча, и даст ему кличку Куилти (по имени убитого драматурга и соблазнителя из набоковской "Лолиты"). Другими словами, он отождествится с желанием хозяина в тот момент, когда его карьера станет бесповоротно интернациональной и ориентированной на экспорт нового образа врага со всеми сопровождающими его эротическими коннотациями.

Его "зоофрения" неслучайно стала с тех пор мягкой и человечной – как если бы его прежняя агрессивная ипостась материализовалась в любимом бульдоге и к ней уже не было возврата. Ретроспективно можно предположить, что его "собачьи" акции, если взять их в личном плане и с точки зрения терапевтического эффекта, были *путем к английскому догу*. Пусть Россия за это время стала, вероятно, не менее, а более агрессивной и "животной", но, обзаведясь собакой, художник вышел на другую, более индивидуальную орбиту. Метафора животности приватизировалась, символом чего и стал Куилти. Другой Кулика теперь живет на Западе, а не в России, которая все больше становится зоной отдыха, страной-спальней. Возвращаясь из заграничных вояжей, Кулик с удовольствием, подобно Дейчу, выгуливает своего породистого, аристократического приятеля, настоящего pedigree pal'a.

Ноябрь 1999 года

Примечания:

1. В завязавшейся по случаю стокгольмского скандала полемике были затронуты интересные темы: на чьих условиях будет проходить диалог Восток/Запад? Почему животному необходимо иметь национальность и кто ее определяет? Почему, когда работу другого художника уничтожает Раушенберг, это искусство, а когда то же делает Бренер – вандализм? (об этом см.: Igor Zabel. "Dialogue" Est-Ouest. – in: "Art Press", №226, pp. 37-42).
2. "Flash Art", №137, Summer 1997. К тому же выводу приходит Могутин: "Кулик покусал Америку только в названии своего шоу". Я. Могутин «Зоофрения" Олега Кулика оказалась заразной для американцев", "Лица" №, с.43.
3. "The New York Times", Friday, April 18, 1997.
4. Могутин...с. 42.
5. Р. Салекл. «Любишь меня – люби мою собаку» – "Художественный журнал", №14, с. 46, сокращенный перевод с английского. В оригинале очерчивается политический контекст акций Кулика: "We all know that the majority of people in today's Russia live a dog-like life...Kulik is of interest for the Western art world because of the fact that he is the Russian "dog".
   The trauma of the West in regard to Russia in the last years is that the West regards Russia as a super-power, but only on condition that it does not act like one."
6. Могутин... с. 45.

От ликования к галлюцинации: постсоветские коллективные тела

Во время своего пребывания в СССР в 1936 году Андре Жид не уставал удивляться тому, как много ликующих лиц окружало его. Да и сам писатель никогда не смеялся так задорно и часто, как на фотографиях, сделанных в стране коммунистической утопии. Это осталось для Жида загадкой. Ведь для ликования не было никаких внешних причин: советские люди были плохо одеты, ничего не знали о внешнем мире, находились во власти идеологических стереотипов самого низкого пошиба, гомосексуалистов преследовали как преступников, культ Сталина достиг эпических размеров.

Логическая ошибка Жида заключалась в том, что он расшифровал ликование как противоположность страха, высшее проявление немотивированной радости – на самом деле он столкнулся к крайним проявлением ужаса, возникшим в условиях Террора. Именно ужас дает санкцию на нечто похожее на счастье, делает его имитацию неизбежной. Императив террора: "Попробуй не ликовать и ты умрешь". Мускулатура лица советского человека была политически нагруженной и принадлежала не ее обладателю, а партии, которая отбраковывала нежелательные выражения как свидетельства отклонения от своей генеральной линии.

В нынешней Москве, напротив, преобладают мрачные, озабоченные лица. Масс-медиа постоянно твердят о том, что Россия переживает чрезвычайно трудный период, что многие фрустрированы, страдают от депрессии. Конечно, это не значит, что дела в стране обстоят хуже, чем в сталинский период. Просто центральная власть утратила контроль над выражениями лиц своих граждан, и на них стало прочитываться то, что люди действительно переживают, а не то, что им предписывается переживать. Какой бы мрачной ни казалась гамма отражающихся на лицах нынешних россиян эмоций, у них есть одно явное преимущество перед поколением их дедов: эти эмоции проявляются свободно, их не "спускают сверху", как это делалось при Сталине.

Русская литература последних лет буквально одержима темой галлюцинаций, наркотиков и различных видов "искусственного рая". Еще в конце 80-х годов члены группы Медицинская Герменевтика стали массированно употреблять слова "психоделика" и "галлюциноз". В рамках их художественной практики эти технические термины фиксировали ситуацию неразличения между согласованной реальностью и любыми потенциальными мирами, между тем, что случилось и тем, что еще только может случиться. В пьесе В. Сорокина "Dostoevsky-trip" наркотическая метафора используется для критики классической русской литературы (на примере непроизвольного разыгрывания группой наркоманов монументальной сцены в квартире Настасьи Филипповны из романа "Идиот"), которая, будучи своеобразным галлюциногенным препаратом, тщетно претендовала на изменение мира. В романах Пелевина прием галлюционогенных веществ и переживание состояний "сверхсознания" является частью сложной квазибуддийской проповеди, самым доступным из несовершенных способов преодоления мира.

Постепенно использование галлюциноза как части художественной, литературной или религиозной метафоры стало вытесняться обычной наркоманской литературой с рецептами приготовления препаратов и банальной поэтизацией следующего за их употреблением галлюциногенного опыта.

Советский период (не считая короткого кокаинового эпизода в 20-е годы) прошел под знаком массированного употребления алкоголя. Пьянство было распространено так широко и, главное, так эффективно способствовало образованию коллективных тел востребованного тогда, квазидеревенского, "братского" типа, что периодически повторявшиеся попытки бороться с его "крайностями" ни к чему не приводили. За последние пятнадцать лет алкоголизм потерял значительную долю своей социальной эффективности, его потеснили новые галлюциногены (эфедрин, первитин, гашиш, героин, кокаин, псиллоцибин и пр.).

Если ликующие коллективные тела были продуктами и одновременно носителями террора, то галлюцинации достаются в удел коллективным телам эпохи распада террористического государства. За ликованием стоял традиционный способ воспроизведения братства, замыкающийся на алкоголь (лишь в виде редкого исключения непьющий человек мог сделать партийную или военную карьеру в советский

период). На новом витке модернизации России, начавшемся в середине 80-х годов антиалкогольной компанией, спиртные напитки, прежде всего водка, перестали обеспечивать социальную компенсированность, хотя ими по-прежнему "увлекаются" наименее урбанизованные слои общества, образующие коммунистический электорат. С алкоголизмом уже не ассоциируется социальный успех.

Сравнивая западную литературу о наркотиках (тексты де Квинси, Бодлера, Хаксли, Берроуза, Кастанеды и многих других) с постсоветскими текстами аналогичного содержания, нельзя не отметить, что у постсоветских авторов в высшей степени присутствует сознание *галлюциногенного характера самой социальности*, не уступающей в этом отношении наркотическому опыту в узком смысле слова. Поскольку реальность воспринимается российскими авторами как не менее, а зачастую более бредовая, чем пригрезившиеся искусственные миры, эту литературу можно назвать литературой невозвращения (если под местом возвращения понимается нечто качественно более стабильное и предсказуемое, чем греза или фантом). Если для ликующих коллективных тел смерть индивида является, как писал Бахтин в книге о Рабле, всего лишь незначимым эпизодом, то галлюцинирующие коллективные тела постсоветского типа стремятся осуществить смерть уже при жизни. "Торчок [т. е. наркоман – М.Р.], — читаем в романе "Низший пилотаж", — за годы широк [внутривенного введения наркотиков – М.Р.] имеет такой мощный опыт откидывания копыт, что переход из живого состояния в мертвое мало что для него значит. И в загробном мире он найдет, чем втереться [т. е. уколоться – М.Р.]".[1] Галлюцинирующая индивидуальность имеет все черты приватизированного коллективного тела. Так как каждая из таких эмбриональных индивидуальностей претендует дублировать в себе весь мир и для Другого места в нем просто не остается, самым популярным словом современного русского языка стало слово "выживание". Все не столько выживают сами, сколько стараются выжить из своего недавно приватизированного мирка всех возможных других. В результате известная фраза Сартра "я – это другой" становится истинной буквально и приобретает зловещий оттенок: я могу сохранить свою суверенность, лишь поглотив другого, создав мир, в котором отсутствует сама идея договора (о таком мире по свежим следам Террора Великой Французской революции грезил еще маркиз де Сад).

Ликование предполагало полную подконтрольность социальности, репрессивному "мы"; наказание, как правило, предшествовало проступку, было превентивным. Трансформировать такие социальные отношения в рыночные, основанные на опосредовании, договоре и развитой индивидуальности, оказалось невозможным. Но столь же невозможно и сохранить их в прежнем виде. Государство сняло с себя значительную часть обязательств перед гражданами и стало, приватизировав общественный интерес, самым сильным частным игроком. Несоединимое временно соединилось, образовался неустойчивый синтез привычной репрессивности и демократии, пока больше похожей на анархию. В результате все стало казаться галлюцинацией. Социальные связи, раньше центрировавшиеся вокруг репрессивных институтов во главе с КПСС, подверглись эрозии, а на их месте не возникло ничего стабильного и предсказуемого. Новые коллективные тела крайне фрагментированы; их потуги воспроизводить репрессивность предшествующего периода воспринимаются скорее как пародия. Иллюзорной кажется реальность самих социальных институтов. Этот галлюциноз до галлюциноза, до всякого потребления препаратов можно назвать основным фактором постсоветской жизни. Употребляя наркотики, люди перебегают из одного бреда в другой, и им некуда возвратиться – поскольку в глубоком смысле им также некуда бежать. Эту ситуацию постоянно воспроизводят уже упоминавшиеся авторы: Сорокин, Пелевин, Пепперштейн. Отколовшиеся от советского коллективного тела личности тут же раздувают себя до размеров коллектива и начинают оспаривать у других точно таких же эмбриональных личностей их право на существование.

При этом до августа 1998 года доминировал наивный оптимизм, основанная на исторической неопытности вера в то, что в России все протекает так же, как везде, что происходящее и есть капитализм и что наиболее удачливых хищников с распростертыми объятиями примут на Западе. События августа 1998 года положили конец этим ожиданиям. Если старые советские элиты вынуждены были есть свои пайки за забором и спать на кроватях с бирками "Управление делами ЦК КПСС", то новые богатые (а часто это одни и те же люди) также не приобрели легального статуса, хотя сам акт присвоения "общенародной" собственности выглядел крайне агрессивно и способствовал обнищанию миллионов их сограждан. Даже самые агрессивные инди-

виды – ненадежная опора коллективных тел; в конечном счете они стараются придать себе хоть какой-то признанный легальный статус. В данный момент они снова ищут его в советском прошлом, но эти поиски не имеют ничего общего с возвращением к советским временам: даже если такого возврата в России сейчас хотят очень многие, осуществить его не может никто. В одну и ту же реку не входят дважды.

В этот период начинает стираться грань между интеллектуальной и бульварной литературой, идет игра на понижение акций культуры. Если галлюциногенная тема зарождается в позднесоветский период как одна из тем внутри интеллектуально ориентированной, экспериментальной литературы и искусства, то после августа 1998 года к ним пытаются приравнять литературу, *единственной* целью которой является репрезентация и поэтизация наркоманского опыта изнутри. Возьму в качестве примера недавно выпущенную издательством "Ад Маргинем" книгу Баяна Ширянова "Низший пилотаж". В ней все эпизоды развиваются по одному сценарию: наркоманы ищут рецепты, отовариваются их в аптеках, варят на квартире "винт" [кустарный первитин – М.Р.], вводят его себе внутривенно и начинают галлюцинировать, соединяясь с миром (приручая летучих мышей, перенося свои фантазмы на телеэкран или журнальную картинку и бесконечно совокупляясь). После каждого эпизода наркоманы приходят в себя и начинают все сначала. При этом зависимость от препарата, естественно, имеет тенденцию возрастать. В книгах, подобных ширяновской, поражает прежде всего колоссальная недооценка человеческих возможностей, в частности, способности людей вызывать к жизни виртуальные миры без применения препаратов, путем изменения собственного сознания. Автор "Низшего пилотажа" воспевает зависимость своих героев от вещества, их социальную и моральную деградацию, грубейшие проявления вожделения как высшее достижение. Ненавистной социальности противопоставляется вожделенная наркореальность, "кайф", достижимый, как уверяет автор, исключительно с помощью наркотика. "Без них [т. е. наркотиков – М.Р.], – с апломбом уверяет Ширянов, – ничего не случается, потому что случиться не может принципиально".[2] По сути это религиозное утверждение, превращающее наркоманов в праведников, вступающих в борьбу с принципом реальности. Но в условной социальной реальности выписываются рецепты, которые наркоман ищет на помойках, производятся вещества, которые он потребляет, и цирку-

лируют деньги, в которых он постоянно нуждается. Освободиться от реальности значит также освободиться от всего этого, а как это сделать, автор, конечно, не объясняет, так как не знает сам. Наркоман для Ширянова – не больной, а избранник со своей "миссией", и, даже если он сажает на шприц случайных людей, автор тут же выдает ему ингульгенцию: ведь для достижения "высшего состояния" оправданы любые средства. Если в предшествовавшей литературе галлюцинирование было одной из многих практик, позволяющих создать дистанцию от мира здравого смысла (в постсоветских условиях этот мир сам по себе подорван изнутри), то грубо-материалистический романтизм Ширянова усматривает в наркоманском опыте единственное средство преодоления скуки окружающего. При этом наркоманская литература не видит галлюциногенный аспект самой реальности, ошибочно считая ее просто реальной. Поэтому выход в искусственные миры, сколь бы убогими они ни были, представляется подобным авторам абсолютной ценностью. Но реальность препарата, в зависимость от которой попадает тело наркомана, является частью, якобы, преодолеваемой с его помощью реальности, и таким образом порочный круг замыкается.

Описываемый Ширяновым мир устроен на манер религиозного братства, своеобразного ордена смертников, кладущих свои жизни на алтарь благого дела. В чем же, спрашивается, его благость? К примеру, наркоман смотрит в окно на сидящую на скамейке школьницу и в измененном состоянии сознания вступает с ней в половые отношения (по сути он воспроизводит внутри себя достаточно четкий образ, с которым и соединяется). В результате он всего лишь узнает, что мир – в том числе и девочка на скамейке – изначально является частью его самого. Но почему он должен платить за это столь высокую цену? Пока он набрасывается на первый попавшийся фрагмент чуть приоткрывшегося мира, он не понимает – и не сохраняя присутствия не может понимать – что совокупляется с пустотой, по отношению к которой его пафос неуместен.

Когда галлюциноз является метафорой чего-то существенно большего, чем он сам, одним из способов указать на это большее, мы имеем дело с литературой, не утратившей социально-критическую функцию. По сравнению с этой задачей наркоманская литература запутывается в порождаемых ею порочных кругах и сохраняет лишь ценность свидетельства. И хотя сама она буквально упоена обилием якобы от-

крывающихся ей возможностей, перед нами крайне приземленная словесность. Ее экзальтация литературно совершенно неоправдана. В ней героизируется банальный – и к тому же непродуктивный – жест защиты дезориентированных людей от покинувшего их государства.

И еще одна уникальная особенность нынешней московской ситуации. Книгу Ширянова выпустило издательство, специализирующееся на выпуске интеллектуальной литературы (книг Фуко, Канетти, Хайдеггера, Деррида, Делеза, работ московских концептуалистов, книг московских философов и искусствоведов, в том числе и моих собственных). Владелец издательства решил коммерциализовать и одновременно "революционизировать" свой проект, хотя извне это скорее смотрится как его ликвидация и распродажа. Издатель хочет польстить гипотетическому читательскому вкусу дискотечной молодежи. За заявленным намерением коммерциализовать интеллектуальный проект скрывается плохо отрефлексированное стремление поставить на нем крест, приравняв дистанционное экспериментальное письмо к простой констатации сложившейся ситуации.

В период ликования коллективные тела обладали максимальным деструктивным потенциалом, который исчерпался в галлюциногенный период. Но это лишь одна сторона дела. С другой стороны, решающий переход, точка, за которой механизмы индивидуации уже нельзя остановить, по-прежнему представляется наиболее пугающей. Ей предпочитается любая дереализация мира. Западному наблюдателю трудно оценить болезненность этого перехода, потому что в его стране он осуществлялся постепенно; но изнутри еще недавно репрессивного, ориентированного на коллективистские ценности общества он видится как крайне болезненный; оно предпочитает ему любой другой выход, в том числе и связанный с деструкцией унаследованных культурных институтов. Даже такой вариант кажется более "щадящим". В такой период общество разрываемо настолько разнообразными, несовместимыми между собой тенденциями, что это парализует любой критический подход. Особенно явно это стало после августа 1998 года, когда отпала необходимость в театрализации капитализма, рассчитанной на привлечение западных кредитов.

Внешний мир больше не верит в право России на какой-то особый путь; попытки новой власти коммерциализовать образ СССР как сверхдержавы также трудно назвать удачными. Пока политтехнологи

преуспели лишь в превращении любой социальной критики в шоу для людей, чьи фантазии более деструктивны, чем любое конвенциональное искусство. Практически все актуальные писатели (в том числе в прошлом социально неприемлимые) обслуживают сферу досуга: мир дереализуется с целью извлечения политической прибыли. В период истощения коллективных тел часть впервые получает возможность играть роль целого, реализовывать свою претензию на исключительность и суверенность. Но окончательно признать себя индивидом, опосредовать отношения с другими она также пока не может. В личности, являющейся воплощением принципа pars pro toto, можно в зависимости от ракурса видеть как проявление крайне выродившегося коллективизма, так и признак зарождающегося, пока еще зоологического индивидуализма. Мир, в котором действуют подобные личности, несовместим со здравым смыслом, непревращаем в представление. Перед советским прошлым они одновременно испытывают ужас и чувство тотальной зависимости, и такая же гамма чувств доминирует по отношению к западному миру. Пока эта ситуация не будет ненасильственно разрешена, общество не может ни двигаться вперед, ни отступить назад. Оно обречено галлюцинировать, жить порождаемыми им же фантомами. Специфическим является в такой период положение художника. Одно дело быть "проклятым поэтом" в относительно стабильном обществе, но совершенно другое дело романтизировать, как это делает Ширянов, наркотический опыт в обществе, и так находящемся во власти энтропии, являющемся пока поверхностно организованной анархией.

Пару дней назад я посетил выставку "Арт-Москва". Работы большинства выставленных там художников я знаю давно, но один проект поразил меня своим соответствием тому, о чем я пытался здесь написать. Украинский фотограф Арсен Савадов выставил серию больших цветных фотографий под названием "Книга мертвых". Это были постановочные фотографии мужских, женских, детских трупов, большей частью нагие, с патологоанатомическими швами вдоль туловища. Им открыли глаза, придали так называемые "живописные" позы, посадили на стулья, развернули друг к другу, создав мизансцены в стиле макабр. В центре зала были для вящей убедительности свалены в кучу чемоданы, сумки, белье, одежда и предметы обстановки, использованные фотографом.

Большинство обществ относится к телам умерших с почтительным ужасом. А тут они были использованы как банальный театральный реквизит, как будто факт их смерти не имел никакого значения, как если бы они сами согласились позировать фотографу. Общество защищает мертвые тела именно из-за их полной беззащитности, усматривая в злоупотреблении ею покушение на достоинство всех своих членов (которым также предстоит стать трупами). Заставляя мертвых изображать живых, художник предлагает зрителю отождествиться со своей смертью уже сейчас, отрицая за этим актом какую-либо интимность.

Но готов ли зритель, да и сам художник к столь радикальному жесту? Едва ли. Любая трансгрессия переходит в акт купли-продажи, любая беспрецедентность крайне архаична (в некоторых обществах трупы даже поедались). Поэтому пророкам не рекомендуется увлекаться собственным пророчеством, да они, кажется, этого и не делают.

Май 2001 года.

Примечания:

1. Баян Ширянов, Низший пилотаж, Москва, Ad Marginem, 2001, с. 196.
2. Там же., с. 7.

Структура травмы

Читатель книги Александра Проханова "Господин Гексоген", если он хоть сколько-то искушен в литературе, понимает, что перед ним достаточно вульгарное, но отнюдь не популярное, не развлекательное произведение. Автору за шестьдесят и его предыдущие тексты не вызывали широкого социального резонанса, хотя у них, конечно, были поклонники, разделявшие подобные взгляды.

Я связываю продвижение миноритарного дискурса в центр культурного интереса со структурой травмы, которая пропитывает постсоветское бессознательное нашего времени и которое Проханов, в отличие от многих журналистов, писателей, политологов, социологов и философов, решается проговаривать. Естественно, бессознательной травма является потому, что мало кто решается себе в ней признаться, но и, будучи неузнанной, она (в силу своей существенности) разрушает ее носителей изнутри.

Речь Проханова психотична: создается своеобразная поэтика преступления, которое в силу неизбежности предстает невинным и опознается как преступление исключительно *post factum*; причем это опознание ничего не меняет в плане его апатичного зеркального повторения. Преступление у Проханова сверхмотивировано параноидальной уверенностью в том, что против России плетется всемирный заговор, и ему надо во что бы то ни стало противостоять, даже если противостояние сводится к простому дублированию.

Понятна одержимость простого человека в сложном мире: он хочет все персонифицировать, всему придать фиктивную форму умысла, потому что только в такой производной форме "злу" якобы можно противостоять. Высоко персонализованные и вместе с тем безличные миры, в которых живут персонажи прохановского текста, являются мирами намерения. Автор как бы знает, чем благие наменения отличаются от неблагих, проявляющихся точно так же. Текст рассчитан на "посвященных" и не имеет, на мой взгляд, ничего общего с развлека-

тельностью и занимательностью. По сути перед нами журналистика с поэтическими и эзотерическими притязаниями, с ориентацией на разделение всего на черное и белое.

Если бы речь не шла о массово-воспроизводимой травме, у текста этого типа не было бы ни малейших шансов на массмедийный резонанс. Воспринимая его как событие, журналисты, писатели, политологи вольно или невольно соскальзывают к истокам собственной несвободы: ведь они попали в нынешнее положение, отказавшись адекватно (т. е. интеллектуально и гласно) реагировать на события, которые с маниакальной настойчивостью трактуются в "Господине Гексогене". Они утратили свободу не тогда, когда их стали контролировать, но тогда, когда не сумели артикулировать, разработать язык травмы, не сумели писать о ней, не прибегая, как это делает Проханов, к ее сакрализации. Проект Суахили (о нем ниже) – сакрализованный вариант того, о чем значительно раньше должна была заговорить российская политическая журналистика; в результате бульварной литературе дали в очередной раз обратиться к тому, что следовало значительно раньше анализировать интеллектуальными средствами.

Значительную роль в "Гексогене" играет слово юродивого. Чем выше психотическая составляющая жизни, тем больше потребность в таком слове: оно внутренне разорвано, постоянно утверждает собственную несменяемость как некую высшую ценность; оно крайне агрессивно и одновременно благостно; оно обвиняет и является носителем вины; оно дублирует в себе все то, что претендует ненавидеть в других. Слово юродивого (не только Николая Николаевича, но и целого ряда других претендующих на святость персонажей "Гексогена") само постоянно оказывается в положении ненавидимого Другого, не уставая удивляться идеальной повторяемости этого "чуда"; оно пытается заклясть вину, отмыться от нее, бежать к гипотетическим истокам, но его народность сплошь и рядом оказывается пародийной. Герой текста Проханова (я намерено не называю его романом), генерал Белосельцев, убивал еще в советские времена, но тогда эти действия автоматически растворялись в идеологической праведности; их квазирелигиозная востребованность была такова, что никому не приходило в голову рассматривать их как обычные преступления. Теперь же, в постсоветский период, эта легитимация ослабла, и порой героя охватывают сомнения: не участвует ли он в банальном уголовно-наказуе-

мом преступлении? И тогда другой генерал, его старый товарищ и ментор Гречишников, напоминает ему, что в советский период в Африке, Латинской Америке и Афганистане он в аналогичных обстоятельствах ради идеологической праведности уже совершал еще более жестокие преступления. Настойчивые попытки в путинский период воссоздать подобие господствующей идеологии, какими бы легковесными они не оказывались, тем не менее, закономерны: ведь из огромной массы совершаемых в России противоправных действий надо выделить такие, которые совершаются из "высших" соображений и имеют статус своеобразных социальных жертвоприношений.

Интрига "Гексогена" злободневна. В книге в слегка беллетризованной форме повествуется о судьбоносных событиях 1999 года: отстранении от должности Прокурора (Скуратова), заснятого с голыми девицами в каком-то притоне и показанного в таком виде по телевидению; проплаченное Зарецким (Березовским) вторжение отрядов Басаева и Хаттаба в Дагестан; отравление Граммофончика (Собчака), взрывы в Москве и т. д. Все эти события подаются как часть "проекта Суахили", заговора, названного так в честь его разработчика, опочившего в бозе генерала КГБ, и имеющего своей целью вынудить Истукана (президента Ельцина) добровольно передать власть Избраннику (идеализированный образ президента Путина). Здесь Проханов, как всегда, противоречив. С одной стороны, Избранник ничего не знает о чудовищных преступлениях, совершающихся в целью его "воцарения" выходцами из спецслужб, с другой же стороны, он благодарит героя за помощь, оказанную в развязывании войны в Дагестане, а глава заговора называет его "шефом". Неслучайно герой, генерал Белосельцев, при виде крещендо преступлений, совершаемых ради "святой" цели, мечтает лично встретиться с Избранником, чтобы узнать, насколько тот обо всем этом осведомлен.

Если читать текст внимательно, можно заметить, что Проханов не просто пересказывает события 1999 года, но вносит в них существенные изменения, давая выход своим желаниям: так, олигархов Зарецкого (Березовского) и Астроса (Гусинского) у него не отпускают заграницу, а садистически убивают опереточные генералы из спецслужб, возглавившие их структуры безопасности, но на самом деле преданные "органам" и "Суахили". Однако основная канва книги имеет, тем не менее, документальную основу.

Сознание Проханова, неотделимое от сознания его героев, – неразвитое, во многом наивное, что вовсе не исключает ни его консумеристской ориентированности, ни многочисленных культурных притязаний, ни поэтизации заговоров и преступлений, ни инстинктивного умения подольщаться к властям предержащим. Автор с упоением живописует "Мерседесы" и "Ауди", на которых передвигаются его патриоты-генералы; надевая "английский костюм", его главный герой (псевдобогатырь из народа) не забывает повязать на шею "французский галстук". Если учесть, что существуют сотни производителей "английских костюмов" и "французских галстуков", подобные словосочетания выглядят смешными, но не оставляют сомнений в консумеристской ориентированности автора.

Книга Проханова – не роман. В мире кустящейся идентичности, пронизанном идеей заговора и интенсивно переживаемыми образами многочисленных врагов, никто не испытывает чувств (их место занимают случайные неотрефлексированные вожделения), семейные отношения руинированы и заменены прихотливыми переплетениями различных видов бреда. Это мир универсального идеологического сиротства, мир существ, совершающих преступления на пути к воспризнанию, от которого они в результате все больше отдаляются. Текст буквально раздавлен пафосом свидетельства о невозможном, которое сплошь и рядом оказывается свидетельством о свидетельстве, т. е. о самом себе, как и положено по сценарию психоза с его "утратой реальности"(Фрейд). Картонные персонажи намечаются двумя-тремя штрихами, которые, подобно лейтмотивам, сопровождают их на протяжении всего текста (таковы, например, "беличьи" повадки Зарецкого-Березовского и его "вишневые" глазки). Под одеждой большинства описываемых женщин "ясновидящий" автор маниалькально видит "набухающие соски" – таким образом женское тело открывается набрасывающемуся на него вожделению, природа которого также неотличима от природы бреда.

Наиболее "поэтические" моменты связаны с приключениями генерала Белосельцева на всех континентах в советские времена; в них идеологически мотивированные преступления соседствуют с эстетством довольно низкого пошиба. Представляю, как рассмеялся бы Набоков, прочитав о том, как в самый разгар сражения в тропиках Африки герой погнался за экзотической бабочкой, а его приятель, пол-

ковник ГРУ, прикрывал "исследователя" плотным автоматным огнем или как другой генерал закодировал в своей коллекции бабочек "схему агентурных сетей". Набоков, как известно, был энтомологом, но блаженство, связанное с охотой на бабочек, объяснялось не только сугубо научным интересом к редким экземплярам, но и вполне руссоистским желанием отдохнуть от людей. Герой же Проханова почему-то находит редкие экземпляры исключительно на полях сражений; к тому же "бабочками" в тексте становятся разорвавшиеся снаряды, трассирующие пули и Бог знает что еще.

Для существ, претендующих на былинную народность, у персонажей Проханова слишком много пошлых потребительских инстинктов; ничего похожего на тексты действительного романтика коллективных тел, Андрея Платонова, последовательно противостоявшего идее обмениваемости, мы не находим. Фигуры бреда, из которых состоит "Гексоген", бунтуют против того, чем они уже безнадежно порабощены; их бунт приобретает по-видимости столь агрессивную форму именно потому, что на Другого маниакально переносится то, что скрывается в их собственной сердцевине. Текст разносит от беспорядочного беснования идентичностей: одни тайные ордена сталкиваются с другими, еще более тайными; заговоры, и так достаточно масштабные, разрастаются до космических размеров (например, в конце книги выясняется, что цель проекта Суахили – не столько приведение в Кремль Избранника, сколько федоровское "воскрешение отцов" на деньги мирового капитала).

Местами декларируемое народничество соседствует с крайне агрессивным элитаризмом, провозглашением права "посвященных" (разведчиков, сотрудников спецслужб, членов всяческих орденов и тайных братств и т. д.) вершить судьбы всех остальных; покоренный "электронными пастухами" народ непрерывно третируется как серая масса, которой манипулируют разного рода "господа"; проблема, собственно говоря, в том, чтобы подобрать правильных господ, а уж в этот-то господин Проханов, как *ему* кажется, понимает толк.

Мир Проханова отчасти анимистичен, в нем движется масса "поющих минералов"; неодушевленные предметы ведут себя как живые существа (например, памятник Дзержинскому "был рад" появлению генералов, которые привели Белосельцева поклясться ему в верности перед тем, как посвятить его в "проект Суахили"). Парадоксальным

образом этот мир является также непосредственно товарным, т. е. самораспадающимся, теряющим управляющий им закон. С одной стороны, его наивность фиктивна (им управляют пошлость, цинизм, вожделение), с другой, пронизывающая его сложность доступна ему пока только опосредованно, на бессознательном уровне. Постоянно выгораживается зона, якобы недоступная разлагающему воздействию новых отношений, но именно она становится их легкой добычей, поглощается без остатка. Поэтому главный герой, постоянно совершая преступления, сохраняет "невинность" лишь в состоянии крайнего помешательства, поэтому же в конце книги дематериализуется фигура Избранника, ради которой все эти "идейные" преступления совершались. Но так как универсум Проханова безумен как таковой, безумие Белосельцева невозможно локализовать (и тем самым маркировать как безумие); "реальность" сплошь и рядом безумнее Белосельцева и его безумие отказывается служить защитным механизмом. Местами герой напоминает садовскую Жюстину, которая с чудесной быстротой восстанавливается после очередной оргии и уже готова принять участие в следующей, еще более чудовищной.

Так как исповедуемую им религию народности генерал Белосельцев постоянно предает, то можно сказать, что его религией является предательство народности, ее максимальная компрометация изнутри. Перед нами коммерциализация патриотического дискурса, его включение в куда более абстрактный механизм политико-криминального порядка. Текст построен так, что именно декларируемая наивность "народного" генерала делает его наиболее подходящим орудием политических манипуляций, совершаемых ради ликвидации политики в фигуре Избранника (соединяющего в себе черты святого и архипреступника, гаранта нового закона, основанного на преступлении). Белосельцев патетически жертвует своей невинностью ради гипотетической невинности Избранника, который, в конечном итоге, просто не может не исчезнуть из мира, в котором невинность становится главным орудием преступления. Прохановым создается целая теология преступления, которая наделяется сверхценностью и становится местом Большого Переноса. Святым в рамкой этой оригинальной теологии оказывается тот, кто, совершив так называемое *абсолютное* преступление, дает этому переносу состояться. Слоганом Проханова становится "преступление ради святости"; перед ним блекнет и

его дешевый эстетизм, и его непроработанное вожделение, и его простонародное презрение к простым людям (за исключением, впрочем, юродивых, своеобразной низовой элиты). Конечно, литература – не самый лучший проводник такого рода сознания; его симптоматика постоянно вырывается за ее пределы. В книге нет ни семейного треугольника, ни привычных человеческих отношений; ее герои – онтологические беспризорники, перетекающие из одного заговора в другой. Все заговоры, естественно, завершаются неким Сверхзаговором (воскрешение отцов на деньги мирового капитализма), в рамках которого конкурирующие заговорщики оказываются тайными сообщниками. Все другие заговоры впадают в него, как притоки большой реки. Прохановский, да и вообще современный постсоветский мир, где деньги значат так много, что это обстоятельство стыдливо замалчивается, затушевывается, скрывается (прежде всего от самих себя), как оказывается, способен переплавлять и самый по видимости зоологический национализм в нечто обмениваемое и даже товарное. В качестве товара предлагается сама трансгрессия, само массово-воспроизводимое преступление. Психоз сервируется как самобытное блюдо русской кухни.

Глубокий кризис русской литературы, ее полная неспособность, не интеллектуализовавшись, выполнять критическую функцию в ставшей более сложной культурной среде выражается, в частности, в том, что наиболее симптоматичными и важными оказываются в последние годы как раз наименее профессиональные произведения ("Низший пилотаж" Ширянова, "Господин Гексоген"), а в прошлом профессиональная литература, стремящаяся "блистать" в новом контексте, стремительно депрофессионализуется. Востребованным оказывается именно психоз; в зависимость от "влипания" в него (прохановский "заговор" стоит в этом смысле ширяновского "препарата") попадают привычные знаки литературности. Автор пытается завоевать читательскую симпатию *отсутствием* какой-либо дистанции от того, о чем он пишет и что является условием существования профессиональной литературы. Он должен быть – или, по крайней мере, убедительно выдавать себя – за действительного наркомана, действительного параноика, так как покупаются именно разные формы невменяемости. Дистанция ныне не в чести не случайно; пропагандистская машина государства, возникшая в результате событий "очень похожих на те", о которых повествуется в "Господине Гексагене", менее всего заинтере-

сована во вменяемом писателе, вменяемом читателе, а также в конкурентном интеллектуальном рынке. Авторы, чьи книги попадают в сферу интересов "политтехнологов", получают столь мощную массмедийную поддержку, что немудрено спутать ее очевидные результаты с подлинным спросом у массового читателя; на вложенные в их пропаганду средства конкурентный рынок потребовал бы во много раз большего дохода, но "политтехнологи" нацелены не на прибыль, а на гипотетическую идеологическую отдачу, ради которой тратятся несоизмеримые с обычной прибылью средства.

Проблема неразвитого сознания, внутренне извратившегося во внезапно усложнившемся мире, поверхностно приспособившегося к нему и в то же время ненавидящего себя за эту приспособленность, состоит, в частности, в том, что оно не понимает анонимности, безличности новых механизмов; вместо этого оно стремится поспешно заклясть их с помощью ярлыков (злокозненные евреи, чеченцы, масоны, "прогнивший антинародный режим" и пр.). В этой форме можно, конечно, сколь угодно интенсивно ненавидеть безличные в основе своей процессы, а главное, игнорировать собственную вовлеченность в них. Но если в ельцинские времена подобное сознание могло еще упиваться своей маргинальностью, то как раз события, составившие фабулу "Гексогена", положили этому конец; советские времена "железобетонной" легитимации преступлений, совершаемых из "высших", идеологических соображений, также безвозвратно канули в прошлое. Индульгенции больше автоматически не выдаются, совершенные преступления надо перерабатывать внутренне, постоянно доказывая себе и другим их необходимость и даже некую "благостность". Для новой ситуации герой-марионетка Проханова слишком хрупок, и его рассудок постоянно мутится; он систематически припадает к родникам им же презираемой народности, чтобы психически восстановиться для следующего раунда преступной вакханалии, но этот проверенный в советские времена способ исцеления в подобной ситуации не работает. Народ в книге скукошивается до юродивой скороговорки некоего Николая Николаевича, пророка, готовящегося изгнать "Змея" с Красной площади. Но "Змей" не уничтожается подвигом героя, напротив, у него отрастают новые головы: "проект Суахили" разрастается, становясь орудием того самого "Змея", которого пророк хотел сокрушить. В наивно-патологическом мире Проханова нет по существу

ни эллина, ни иудея, хотя в нем в высшей степени присутствуют злобность и науськивание на инородцев.Трагедия этого мира вовсе не в том, что кто-то угрожает ему извне — просто, как всякий универсум бреда, он не поддается дифференциации, порабощен абсолютным тождеством самого себя и своего злейшего врага. Но чтобы это понять, псевдонаивному сознанию требуется время.

Перед нами текст-симптом. Он непосредственно работает со свежими политическими травмами 1999 года, балансируя между сознательной апологией режима и его бессознательным обвинением. Если бы не была задействована логика травмы, он, несомненно, лишился бы ауры запретности и связанной с ней притягательности. Связь с травмой создает для детища Проханова необычайный для психопатологических произведений такого рода массмедийный резонанс. "Гексоген" впитал в себя, кажется, все виды ненависти, циркулирующие на пространствах постсоветской России. Процедуры персонализации выглядят в книге достаточно зловещими, хотя речь идет, конечно, не о хронике общества (не говоря уж о терапии), а о его симптоматике, которая прорисовывается достаточно выпукло. Сознанию прохановского типа, находящему проявление во всех персонажах книги (повторяю, перед нами не художественное произведение, а продуктивная бредовая конструкция), драматически недостает культуры; оно неспособно к опосредованию, так как постоянно боится потерять все. Прежде всего оно боится открыться самому себе, поскольку скрывает бездну неразрешенных противоречий. Оно программно антиинтеллектуально и вместе с тем преисполнено самых экзотических интеллектуальных притязаний. Это разбалансированное множеством травм сознание странным образом пронизывает совершенно неосознаваемый им консумеризм.

В советские времена этому типу сознания жестко запрещалось желать; даже в ельцинский период его впечатляющая способность к вожделению была еще скрыта от него самого (тогда оно однозначно позиционировало себя как маргинальное). И только в самое последнее время оно предстало, наконец, во всей своей первозданной разнузданности и порнографичности. Это обсессивное сознание не сознает, что причины его одержимости внешним лежат в нем самом, что, проклиная внешнее, создавая все новые образы врага, оно не более как выкачивает наружу бесконечность собственной вины. Порнографичность "Гек-

согена" – прежде всего в вавилонском столпотворении верований, которые уничтожают друг друга и между которыми категорически запрещается выбирать. Герои молятся памятнику Дзержинского, гробу Сталина, мощам Ленина, распятому Христу, мистическому братству спецслужб, православным реликвиям, русскому народу, советскому народу и т. д. и т.п. Но есть еще тайная вера, которую Проханов исповедует, но пока не в силах артикулировать; она пронизывает его текст изнутри и соединяет его эклектически пригнанные друг к другу фрагменты; конечно, это — постсоветская вера в неотразимую силу потребления. Именно она, эта тайная вера, обесценивает и делает совместимыми между собой все виды декларируемой веры. Потребляемость, наигранность всех этих "вер" образует их общий знаменатель, и не дает тексту взорваться.

Это еще недавно маргинальное сознание не настолько последовательно, чтобы выносить собственные эксцессы. Оно опасается последствий провозглашаемой в каждый данный момент нетерпимости, потому что его истинные, пока неявные для него самого цели глубоко партикулярны, потому что потенциал его жертвенности исчерпан, а в запасе осталась лишь чисто вербальная трансгрессивность ("блудные брани"). В план агрессивности переводятся фрустрированные потребительские ожидания. Казалось бы, элита потребления, к которой принадлежит прохановский генералитет, уже имеет то, что другие еще только хотят иметь, но загадка постсоветского желания состоит в том, что оно бесконечно: по сути это желание желания; неспособное к опосредованию, оно хочет иметь все. Образами этого фиктивного "всего" и являются многочисленные "враги" "Суахили".

"Гексоген" – патологически антисемитский текст. Его герои презирают русский народ за то, что тот покорно ходит к избирательным урнам по зову "электронных пастухов" и "предпочитает тихо вымирать под пение группы "На-на", нежели браться за цепы и вилы и идти палить усадьбы еврейских банкиров"[1]. Значит ли это, что все банкиры – евреи, или что нужно палить усадьбы только еврейских банкиров, а остальные сжигать не надо, как и многое другое в этой психотической речи, остается неясным. Пафос важнее деталей.

Сталин объявляется святым за то, что он "умучил жидов" в отместку за то, что те "умучили царя" (это — фрагмент юродивой речи народного пророка). В бредовом универсуме прохановской прозы нет

разницы между публичной и внутренней речью. Так, Зарецкий-Березовский с гордостью рассказывает всей кремлевской верхушке, как "мы", т. е. евреи, "вырвали у народа его волю, язык, глаза, отсекли семенники... Мы отняли у народа его страну, он отдал нам ее без боя, и мы разломали ее на части, как плитку шоколада... Мы отобрали у рабочих и инженеров великолепные заводы... Мы отняли у ученых циклотроны и обсерватории... Мы покончили с русской военной мощью... Мы уничтожили военную науку и Генштаб, перессорили генералов... Мы... залили бетоном русскую культуру..."[2]. Как все было бы просто, если бы чья-то ненависть, кроме прохановской, принимала столь наивную форму, если бы выдуманная им же внутренняя речь так беззаботно проговаривалась и чуть ли не вызывала аплодисменты! Чего стоит хотя бы следующая инсинуация: "... у здоровых [русских –М.Р.] мы станем брать кровь и органы и продавать в медицинские центры Израиля, утоляя ностальгические чувства евреев – выходцев из России, чтобы у них не прерывалась связь с их второй Родиной"[3]. И подобным бредом заполнены несколько страниц. Думаю, и Гитлеру было бы, чему поучиться у Проханова, тем более, что источник вдохновения у них общий – "Протоколы сионских мудрецов"; к тому же, по Проханову, оказывается, что российские германофилы(!!!), евразийцы "эмигрировали в Германию и создали для Гитлера теорию национал-социализма".

Нас также призывают поверить генералу Макашову, потому что "он на жидов поднялся"[4], решившемуся на столь "благородное дело" просто нельзя не верить, не следовать и не поклоняться.

У героев Проханова, неотличимых от него самого (авторская речь не только не ограничивает, но раздувает юдофобию героев), не вызывает сомнения, что, украшая и благоустраивая Москву, мэр готовится превратить ее в столицу "Новой Хазарии"[5] и что массмедийная империя Астроса-Гусинского является не чем иным, как "электронной Хазарией". Через нее евреи в своих национальных интересах осуществляют контроль за Россией, внедряют в сознание русских свой этнический тип, учат их уводить капиталы за границу и т. д. Даже сам Патриарх, по словам православного старца из "Гексогена", "с жидами одну службу служит..."[6]. Антисемитами являются у Проханова кавказцы, чеченцы и дагестанцы, уверенные, что в Москве правят евреи, пляшущие под дудку американцев[7]. Но это, конечно, не мешает "кавказофо-

бии", на которой мы остановимся чуть ниже.

А вот пример бдительности главного героя, который – недаром же "генерал разведки" — разоблачает скрытую еврейскую интригу: "И первое, что изумило Белосельцева, это огромная, красочная, расцвеченная лампами и неоновыми трубками надпись, возвещающая о торжестве: "Созвездие Россия". На ней было множество взлетающих звезд – целый салют мерцающих, золотистых, шестиконечных звезд, а слово "Россия" было выведено шрифтом с неуловимыми искривлениями и характерным наклоном влево, напоминающим еврейский алфавит"[8]. Надо быть воистину параноиком или, как минимум, сторонником симпатической магии, чтобы усмотреть в едва заметном наклоне букв злокозненный замысел сионистов, отравляющий Россию через аппроприацию слова "Россия" с помощью "еврейского алфавита" (иврит это или идиш "ясновидящий" автор, как всегда, не уточняет). Что уж говорить о шестиконечной звезде Давида, – изобличение ее присутствия во всех возможных – даже самых экзотических – местах является фирменных блюдом местных антисемитов, и тут Проханов следует по их стопам. В мире, где систематически оправдываются убийства, подкуп, воровство, грабеж, величайшим преступлением становится написание слова "Россия" "с неуловимыми искривлениями и характерным наклоном" и шестиконечность украшающих надпись звезд. Чистота проекции здесь столь же полная, как и чистота вытеснения: "ясновидящий" герой не понимает, что он видит "характерный наклон" и "шестиконечность" своей собственной вины, которую он не может выдержать и автоматически вменяет другому, наивно воображая, что сможет так просто от нее избавиться. Но она, естественно, возвращается на следующей же странице и настоятельно требует все новых вытеснений и проекций, все новых "святых", все новых алиби. И так будет продолжаться до тех пор, пока он не осознает, что с виной следует работать напрямую, так как она – внутри, в нем самом. Когда это будет понято, Россия перестанет быть "филиалом Израиля".

Другое блюдо антисемитской кухни (тот же Гитлер постоянно сервирует его в "Mein Kampf") – особая клановость евреев, которые делают вид, что ссорятся между собой, а на самом деле сплоченным фронтом выступают против "гоев".

В конце книги со сладострастием описывается погром, который начальник службы безопасности Зарецкого, потомок казацкого рода,

учиняет в особняке олигарха. Частота употребления слова "жиды" в этом эпизоде возрастает.Буйство завершается почему-то разрушением *китайской* фарфоровой вазы с цветами и драконами: "Он [генерал Копейко – М. Р.] подхватил с земли лом и ударил вазу, видя в ней Зарецкого и его богатых еврейских друзей, и Юровского, Блюмкина, и толстобедрую Землячку, и Розу Люксембург, и Лилю Брик, и беспощадных еврейских комсомолок в нарядных сапожках с тяжелыми маузерами, и еврейских жен русопятых генералов и министров, и Кагановича, и Мехлиса, и Илью Эренбурга. И от этого разящего удара ненависти ваза рассыпалась вся разом на мелкие куски"[9]. Другими признаками "еврейскости" в "Гексогене" (а она отождествляется с образом жизни олигархов: "самые бедные из евреев – это мы" – говорит Астрос Зарецкому) являются музыка Шнитке, стихи Бродского и Мандельштама, абстрактная живопись, джаз, канкан и даже оперные арии в исполнении певцов "Ла Скала". Весь этот "еврейский дух" изгоняется "православным батюшкой в фиолетовой ризе" и "казачьим генералом в золотых эполетах"[10].

При желании этот список можно продолжить, но и этого, кажется, достаточно.

За трескучими фразами о переносе в Россию "центра еврейской цивилизации", создании "электронной Хазарии", подготовке Москвы к пришествию Антихриста и т. п.скрывается зачастую демонизация очень скромных зачатков рынка. Вопрос о том, *в каком смысле* евреями являются Березовский и Гусинский, Бродский и Мандельштам, Роза Люксембург и Лиля Брик, что в культурном, языковом, социальном плане делает их в то или иное время, в том или ином месте евреями, слишком сложен для вполне предсказуемого в своей невменяемости автора "Гексогена". Он – расист, и решение у него простое: все определяет кровь.

Однако, если внимательнее читать сам текст, видно, как уязвим этот тотальный антисемитизм, как трудно состыковать его со скрыто пронизывающим его консумеризмом и вожделением, граничащим с порнографией. После погрома в особняке Зарецкого генерал КГБ отвечает на звонок некоего "мистера Саймона": в разговоре он отрекается от "русского фашизма", от ненависти к евреям и обещает в случае необходимости прийти на деловые переговоры "в ермолках"[11]. Другими словами, ненависть к евреям уживается у него и, как выясняет-

ся, у других сторонников "проекта Суахили", включая того же Белосельцева, с вполне прагматичной любовью к деньгам и красивой жизни. Эта темная, неосвещенная рефлексией сторона их натуры неотделима от прохановского антисемитизма, риторически весьма грозного, а по сути своей шутовского. Последнее обстоятельство, впрочем, не делает его менее опасным.

Проханов не ограничивается антисемитизмом. Он яростно ненавидит также чеченцев, азербайджанцев и других выходцев с Кавказа. Особенно достается чеченцам. В книге фигурирует некий Ахмет, который торгует русскими девочками и мальчиками. Когда патриотичный генерал Белосельцев видит, как тот сажает их в джип, чтобы доставить клиентам, его ненависть приобретает космические масштабы, от которых увеличиваются и меняют цвет фонари: "Ненависть была столь велика, что уличные фонари увеличились и стали лиловыми"[12]. Достается и торгующим на рынке азербайджанцам: "Он испытывал к этим людям неприязненное чувство поруганного шовинизма"[13].

Здесь перед нами типичная оговорка по Фрейду: Проханов должен был написать "патриотизма", но он действительно не видит разницы между патриотизмом и "шовинизмом", и поэтому употребляет эти слова как синонимы.

Чеченец Вахид простодушно посвящает Белосельцева в чеченский заговор против России, по масштабу сравнимый с кознями мирового еврейства и самих генералов. Начинается очередной виток прохановского *бреда полноты*, который занимает добрую половину книги: "Мы контролируем доходные российские отрасли. Так или иначе, владеем российской нефтью, золотом, алмазами, игорным бизнесом и, что греха таить, поставками наркотиков. Деньги...идут в Чечню на закупку оружия....В случае новой войны на Кавказе Россия должна быть готова к ударам по своим самым чувствительным центрам..."[14]. Эти пассажи зеркально повторяют то, что уже писалось об Астросе, Зарецком, самом "проекте Суахили", американцах, Русском Ордене и других силах, охотно наделяемых в бредовом универсуме Проханова атрибутами квазибожественного всемогущества. Во всех этих случаях имеет место овнешнение вины в фигурах Великого врага или Великого друга. Но ни одна из них не обладает прочностью, поэтому калейдоскоп вменения вины работает в "Гексогене" непрерывно.

Цель "проекта Суахили" — сделать президентом России Избран-

ника. Это ни в коем случае не должно произойти демократическим путем, так как входящие в тайный орден отставные генералы КГБ считают демократию частью мировой еврейской интриги, ловушкой для доверчивой черни. Им вторит народный пророк: "Будет вождь, имя ему Избранник, но не мы изберем..."[15]. На вопрос, кто же все-таки в таком случае совершил акт выбора, в книге Проханова есть ответ: это сделал по высшему наитию покойный генерал Авдеев по прозвищу Суахили и его ближайшие сподвижники. Почему выбор пал именно на этого человека, как и положено в вульгарно-эзотерических текстах, не объясняется. Единственным средством его приведения к власти является заговор ни перед чем не останавливающихся генералов спецслужб.

Однако вроде бы ангелический Избранник с самого начала вызывает подозрение, подается как нечто пассивное, формируемое и контролируемое самими заговорщиками. "Есть Избранник. Он никому не виден. Его не увидишь в толпе напыщенных, говорливых политиков. Не заметишь на лживых пресс-конференциях, помпезных юбилеях, потешных военных парадах. Он закрыт, зашифрован. Как восточная женщина, укрыт в паранджу. Он сбросит покров в нужный момент, которого никто не ждет... Он сам не догадывается об уготованной ему роли. Он драгоценный плод наших коллективных усилий. Наш сын полка. Выращен в оранжерее нашего тайного движения великим садовником Суахили"[16]. Сравнение с укутанной в паранджу восточной женщиной особенно красноречиво в контексте прохановского видения женщины как простой материализации вульгарного мужского желания, пассивного объекта вожделения (об этом – ниже). Фантазии контроля проявляются и в уподоблении Избранника "сыну полка" (сироте, который всем обязан усыновившим его военным), оранжерейному растению (оно не может существовать без садовника). Короче, его атрибут – подконтрольность заговорщикам, доходящая до того, что об акте избрания его не обязательно даже извещать. Собственно, в мире тотальной интриги это и делает Избранника ангеличным. Однако, – и это обычно для Проханова, который на каждом шагу противоречит себе, – провести этот принцип последовательно он не может. Избранник при всей его ангеличности-пассивности-подконтрольности все-таки в будущем способен выйти из-под контроля и стать проблемой для своих благодетелей. Бредовый мир "Гексогена" принци-

пиально амбивалентен, всякое утверждение существует в нем лишь рядом со своим собственным отрицанием.

Белосельцев, для которого атмосфера заговоров и провокаций является родной стихией, подключается к "Суахили" и оказывает ему первую услугу (заманивает к себе Прокурора коллекцией бабочек и укладывает его в постель с "ночной бабочкой", что ведет к его отставке и назначению Избранника главой ФСБ) еще до того, как видит Избранника. Увидев же его на приеме в Кремле, он воспылал к Избраннику самыми пылкими чувствами (он готов защищать ценой жизни не только его самого, но и его куклу[17]; он видит в нем спасителя России; он бросается расстраивать заговор против Избранника[18]). Но Проханов не был бы самим собой, если бы подоплекой этой влюбленности не были опасение, ревность и подозрительность. Белосельцев хочет "предстать перед Избранником" и напрямую спросить его, знает ли тот о цене, которая заплачена за его восхождение к высшей власти, не проступит ли из-под его коронационной мантии "красное пятно"[19]. Кроме того, Избранник спасает ненавистную красно-коричневым, рупором которых является автор "Гексогена", "Семью"[20], которую они хотели бы перевешать или перестрелять вместе с "еврейскими" олигархами. Героя несколько успокаивает информация, что за Избранником кроме "Суахили" стоит еще мистический и явно "положительный" Русский Орден, состоящий из офицеров ГРУ, о чьих целях мы, по счастью, почти ничего знаем – иначе этот Орден мало чем отличался бы от других образчиков *бреда полноты*: антисемитского, античеченского, антидемократического и т. д.

Своего апогея крещендо преступлений ради праведности достигает, когда Белосельцев узнает, что чеченцы вместе с "Суахили" готовятся взрывать дома в Москве. Он кидается к главарю заговора, генералу Гречишникову, который подает эти события как часть... "Божьего промысла"!!!

Вот этот образчик оригинальной психопатологической теологии: "Нам нужен серьезный повод для начала войны. Нам нужно согласие народа на вторжение армии в Чечню, где на этот раз мы додавим их в их гадюшнике, в Грозном, Ведено, Ачхой-Мартане, в Веденском и Аргунском ущельях. Нам нужно показать мировой общественности дымные ямы в Москве, похороны растерзанных взрывами жителей, чтобы Европа не подняла хай, когда мы оставим от Грозного ядови-

тый котлован, наполненный костной мукой. И, главное, нам нужен повод, чтобы Избранник лично возглавил поход на Чечню, раз и навсегда раздавил чеченскую гадину, мстя за взорванные дома, за убитых детей, за поруганную русскую честь. И тогда народ на руках внесет его в Кремль, как своего избавителя.

– Ты приветствуешь взрывы в Москве? Ты готов использовать взрывы в интересах "Проекта Суахили"? Но ведь это цинизм! Это страшнее, чем преступление!

– Ты так считаешь? — Гречишников приподнял веки, и его оранжевые круглые глаза кипели яростью, гневом, презрением. – Я бы не стал останавливать [чеченцев – М. Р.]. Пусть взрывают. Если истории из всех бесчисленных вариантов угодно выбрать этот вариант развития, если ей угодно проломить ход в будущее с помощью этих взрывов, если Богу угодно произнести это, а не другое слово, разве мы станем с тобой препятствовать? Кто мы такие, чтобы препятствовать промыслу Божию?

– Ты говоришь ужасные вещи. Ты ждешь этих взрывов. Может, ты их и готовишь? Ты сам провоцируешь их на эти ужасные взрывы?

– Может быть, — оранжево-красные глаза хохотали. – Маленькая история делается маленькой кровью. Большая история делается большой кровью. Великая история делается великой кровью. История имеет красный цвет..."[21].

В этот момент вопрос о том, знает или не знает сам Избранник о планах "Суахили", естественно, обостряется, и Проханов сам дает на него безупречно психопатологический ответ: "Всемогущий "Орден КГБ" [т. е. "Суахили" – М. Р.]... в обход государственных служб, в обход федеральной контрразведки, в обход самого Избранника готовил в Москве апокалипсис"[22] – и тем самым возвращает нас к теме пассивности, подконтрольности Избранника. Он не знает о том, что делается ради него же таинственным Орденом; более того, Орден этот, получается, куда могущественней спецслужб самого государства, и приводит своего кандидата к власти по собственным законам. Ясно, что такую степень бреда не выдерживает даже принципиально бредовый мирок прохановской прозы, и автору приходится, с одной стороны, уничтожить заговорщиков "Суахили" с помощью Русского Ордена, а с другой, дематериализовать Избранника, ставшего невыносимым и в качестве ангела (слишком много крови), и в качестве злодея (слишком

ангеличен). Попутно выясняется, что в полном объеме "Суахили" включает в себя воскрешение отцов на деньги мирового капитала и сокрушение узколобого русского национализма, воплотившегося в Русском Ордене с его армейской простотой.

Перед смертью отставные генералы возвращаются к своему любимому фантазму – грезам о подконтрольности Избранника. "Далеко не все догадываются, что работают на "Суахили". Не знает об этом Избранник. Он и не должен знать. Мы создали его в нашей лаборатории. Он синтезирован. Быть может, он вообще – мнимость, игра воображения, пучок световых лучей. На торжествах посвящения в Президенты ты увидишь не человека, а только яркое пятнышко света, упавшее на кремлевский паркет..."[23].

Таким образом тема Избранника завершается теми же бредовыми фантазиями, с которых она и началась.

Следующая ключевая тема "Гексогена" – женщина как объект потребления, переходящего в изнасилование. Чаще всего в тексте фигурирует африканка Мария: "Африканка в прилипшей одежде встает из воды, и сквозь мокрую ткань проступают ее соски, мокрый кудрявый лобок"[24]. Соски, грудь и лобок – отличительные, повторяющиеся черты прохановской женственности. Если в тексте появляется женщина, будь-то Дочь Президента, акробатка или депутат, описывается вся триада "соски, грудь, лобок" или ее части: "...видны были молодая сильная грудь, темные соски, черная ленточка лобка"[25]. "Длинные груди колыхались над круглым глазированным животом. Он видел ее стеклянно-черный кудрявый лобок..."[26]

Неоднократно автор возвращается к сцене обкладывания фруктами таинственной "африканской царицы" (при этом Проханов не догадывается, что он всего лишь описывает известную сюрреалистическую работу конца 50-х годов "Женщина, обложенная фруктами"): "Чернокожая царица лежит в широкой постели, закинув локти за голову. И он берет из вазы тяжелые, глянцевитые яблоки, украшает ей груди. Укладывает на темные бедра кисть винограда. Сочную, отекающую соком клубнику кладет ей на лобок. На выпуклый черный живот водружает алый ломоть арбуза".[27] В книге эта сцена повторяется несколько раз[28]: столь важной для автора она является потому, что здесь соединены колониальные грезы советского периода, когда разведчик обслуживал интересы сверхдержавы, и представление о женщине как

о податливом объекте потребления, который легко превратить в натюрморт. Женщины также сравниваются с различными видами бабочек (задействуются метафоры "баба-бабочка" и "ночная бабочка")[29], которые способны заманить нужного мужчину в ловушку посредством своего главного оружия, лобка: "Что невозможно достичь с помощью воздушных армий, достигается с помощью женского лобка, правильно сориентированного во времени и в пространстве!.."[30] Прибавьте к этому "сочную женственность губ"[31] и таинственные "позы восточной любви"[32] – и картина будет полной.

Любые проявления феминизма в мире "Гексогена" рисуются как диаболические, губительные, запретные. Президентская дочь, командующая всей страной, сравнивается с "голой блудницей в жемчужном кокошнике", восседающей на нефтяной трубе, качающей "черное золото" на Запад, мимо замерзающих городов России[33]. К ней Белосельцев не испытывает вожделения, ее плоть кажется ему "несвежей, увядающей"; ее нельзя просто потреблять, скорее, сама она потребляет все остальное: упоминаются даже "болезненные выделения, слизистые покровы, требующие постоянного возбуждения и утоления"[34]. Президентская Дочь является противоположностью "африканской царицы", не объектом, а таким же субъектом бесконечного вожделения, как и сам Белосельцев; с той лишь разницей, что как женщина в патриархальном мире "Гексогена" она не имеет на это права.

Не менее диаболической рисуется Проханову стремление женщины контролировать свою сексуальность без участия мужчины ("искусство управлять оргазмом"), например, тренировать мышцы влагалища или онанировать с помощью "средств современной гигиены"[35].

Фантазии автора "Господина Гексогена" вращаются вокруг различных форм насилия над женским телом, его растления, изнасилования, унижения, снижения и т. д. Во время операции в Дагестане российские солдаты насилуют "голый остывающий" труп женщины, в то время как другая женщина, обезумев от горя, пытается кормить уже мертвую девочку[36].

В конце книги муссируются сцены всеобщего блуда, свального греха, в котором участвуют все полы, возрасты и социальные слои: "Безобразные сцены совокуплений, рукоблудия, лесбийские соития женщин, педерастические страсти мужчин, привлеченные для любовных утех ослы, собаки, тельцы – все это клубилось, издавало стоны, вопли,

сладострастные рыдания"[37]. Эта "оргия" неприемлима для автора потому, что в ней смешиваются все полы; совращаемым, наслаждающимся (а не просто насилуемым) является не только женское, но и всякое другое тело, следовательно исчезает патриархальная иерархия, за которую держится Проханов.

Зато рассуждения о "женственной"[38] красоте Москвы и сравнение Кремля с "материнской грудью"[39] позволяет предвидеть эпизоды со взрывами московских домов в конце "Гексогена", так как все женское, женственное в бредовом универсуме прохановской прозы провоцирует неконтролируемое вожделение, переходящее в насилие, изнасилование, террор, взрыв. Таковы "законные" бессознательные ответы на изначально заложенную в женском начале (как бы оно не проявлялось) провокацию и соблазн.

О том, какая бездна отделяет "Гексоген" от классической русской литературы можно судить по такому хрестоматийному примеру. Дочь народного пророка Николая Николаевича, валютная проститутка, которую в качестве "ночной бабочки" отставные генералы КГБ "подкладывают" под Прокурора, после смерти отца переживает религиозную трансформацию, после чего отправляется сестрой милосердия в Чечню: "Пока она говорила, приближаясь к отцу, Белосельцев, пораженный смертью пророка, успевал заметить происшедшие в ней перемены. На голове ее была повязаны простая косынка, скрывавшая чудесные золотистые волосы. Вместо короткой, обнажавшей колени юбки на ней было неловко сидящее долгополое пальто. На лице ...не было помады, от которой соблазнительно и влажно розовели губы. *Она была проще, не так интересна* [курсив мой – М. Р.]. От нее не исходил дурманный, искусительный запах духов, напоминавший тропические благоухания"[40]. В русской классике духовное возрождение *всегда* раскрывает единственно подлинную красоту. Принципиально иначе устроен бредовый универсум прохановской прозы, снизу доверху пронизанный вожделением и другими формами консумеризма. Религиозная трансформация в нем делает героиню менее интересной, чем в бытность проституткой. Поражает небрежность, с какой бравирующий своим "патриотизмом" писатель подписывает смертный приговор духу: интерес кончается в точке, где прекращается вожделение, где женщина перестает быть потребляемой, насилуемой, расчленяемой и т. д. Там, где Достоевский, Толстой, Тургенев любовались изменив-

шимся выражением глаз, внутренним сиянием, исходящим от преобразившихся героинь, циничный взгляд материалиста Проханова подмечает лишь "простую косынку", "неловко сидящее пальто" да отсутствие помады и духов. Вне бреда есть лишь цинизм. Для духа в "Гексогене" не находится места.

Следующая тема, на которой стоит кратко остановиться – безумие главного героя "Гексогена". "В голове Белосельцева вставало светило, окруженное воспаленной зарей"[41]. В сознании героя мир то плющится, то уходит под воду, то, наоборот, томится жаждой. Он видит сон о расплющенных костях, он выгорает, как дом [42]. Периодически ему кажется, что за ним установлено "наружное наблюдение"[43], а когда оно действительно установлено, он этого не замечает[44]. "Сотрясенный рассудок" генерала не находит успокоения "в лоне примиряющей идеи"[45].

При этом автор не создает никакой дистанции от своего героя; его помешательство подается как норма, с которой должен отождествиться читатель. Загадкой остается то, как этот образец талантливой психопатологической прозы удостоился лавров национального бестселлера: воистину мне трудно представить себе массового читателя, читающего "Гексоген" в вагоне метро!

Подведем некоторые итоги. Внутренняя речь в "Гексогене" постоянно проговаривается публично; в отличие от литераторов-профессионалов, его автор не располагает средствами, позволяющими отличить одно от другого. Одни грезы о всемогуществе ("проект Суахили", еврейский заговор, чеченский заговор) сменяются другими, от них практически неотличимыми; из мелких фрагментов складывается тотальный заговор бытия, принимающий форму бреда полноты. Этот бред с необходимостью персонифицируется в образе друга или врага; причем эти фигуры взаимозаменяемы. От автора ускользает то обстоятельство, что подлинным генератором и демиургом такого видения мира является он сам; немыслимость пронизывающего его чувства вины делает необходимыми все эти проекции; без него мир предстал бы в своей нейтральности, которая в персонификации не нуждается. Но прохановские герои, напротив, ищут исцеления в крещендо тех преступлений, которые лежат в основе их вины и лишь интенсифицируют ее; только вина содержит неувядающий потенциал сакрализации, только она бессознательно наделяется атрибутом святости (так, Избранник сакрализуется прежде всего как источник вины, которую

через него же парадоксальным образом тщетно хотят ликвидировать).

Трудно представить себе книгу более далекую от развлекательного жанра, книгу, из которой с параноидальной тщательностью были бы вытравлены все обычные человеческие чувства. Даже самый непритязательный читатель едва ли отождествится с "эзотерическим" языком заговора, на котором изъясняются герои "Гексогена". Народ рисуется убогим и сирым, так как только такой народ "разведчики" могут облагодетельствовать втайне от него. Назвать подобную бредовую конструкцию национализмом не поворачивается язык: в ней отсутствует какой-либо культ собственного народа.

Заговор становится новой разновидностью религии, не совместимой с логикой индивидуального желания, которое наличествует в тексте как бы помимо воли автора. Это желание выступает как желание присвоения, поглощения, потребления, в том числе и потребленния собственной агресивности. Вступая в эпоху потребляемости, заговор сближается с банальностью преступления, ему не может автоматически быть выдана индульгенция советского образца.

Одержимый наиболее экзотическими формами заговора, Проханов не замечает существенного обстоятельства: заговор, который лег в основу фабулы "Гексогена", мало чего стоил бы без *легитимации* с помощью процедуры выборов. Как персонализованные миры намерения коренятся в безличном, так и заговор элит, как выясняется, нельзя закрепить иначе как с помощью народного волеизъявления.

И последнее. Я не стал бы подробно останавливаться на книге Проханова, если бы не одно обстоятельство личного порядка: я был одним из основателей издательства "Ад Маргинем", которое выпустило эту книгу. Выпуском "Господина Гексогена" оно сделало невозможным продолжение интеллектуального проекта, начатого десять лет назад, и, кроме того, поставило меня в неловкое положение по отношению к тем западным участникам проекта, которые в силу незнания русского языка не могут реагировать на подобную метаморфозу непосредственно. Этот текст – также попытка объяснить этим участникам причины моего разрыва с "Ад Маргинем" и тем самым дистанцироваться от дальнейших эксцессов, практически неизбежных.

(Статья была завершена еще до того, как достоянием публичности стало то, что Проханов пользуется, как минимум, финансовой поддержкой, а скорее всего и покровительством опального олигарха Бо-

риса Березовского-Зарецкого. Это проливает свет на широкомасштабную и явно дорогостоющую пиаркомпанию вокруг "Господина Гексогена", а также прекрасно иллюстрирует тезис о насквозь пронизывающем этот текст циничном консумеризме, чьим неизбежным продолжением является полная политическая беспринципность его автора).

лето-осень 2002 г.

Примечания:

1. Александр Проханов, Господин Гексоген, Ad Marginem, с.42
2. Op. cit., с. 79.
3. Op. cit., с. 80.
4. Op. cit., с.104.
5. Op. cit., с.122.
6. Op. cit., с. 334.
7. Op. cit., с. 229.
8. Op. cit., с. 112.
9. Op. cit., с. 402.
10. Op. cit., с. 403.
11. Op. cit., с. 404.
12. Op. cit., с. 106.
13. Op. cit., с. 97.
14. Op. cit., с. 195-196.
15. Op. cit., с. 105.
16. Op. cit., с. 45.
17. Op. cit., с. 173.
18. Op. cit., с. 262.
19. Op. cit., с. 180.
20. Op. cit., с. 295.
21. Op. cit., с. 371-372.
22. Op. cit., с. 398.
23. Op. cit., с. 431.
24. Op. cit., с. 40.
25. Op. cit., с. 344.
26. Op. cit., с. 137.
27. Op. cit., с. 383.
28. Op. cit., с. 92, 136-137.
29. Op. cit., с. 123.
30. Op. cit., с. 130.
31. Op. cit., с. 75-76.

32. Op. cit., c. 96.
33. Op. cit., c. 72.
34. Op. cit., c. 76.
35. Op. cit., c. 166.
36. Op. cit., c. 249-250.
37. Op. cit., c. 395.
38. Op. cit., c. 42.
39. Op. cit., c. 59.
40. Op. cit., c. 407-408.
41. Op. cit., c. 31.
42. Op. cit., c. 134.
43. Op. cit., c. 48, 197-198.
44. Op. cit., c. 425.
45. Op. cit., c. 320.

Валерик.
Образы чеченца сквозь призму войны

> "*Валерик,* или Валариг, — речка в Чечне, приток Сунджи. Название это происходит от чеченского слова "валлариг" — мертвый. Поэтому Лермонтов и называет Валерик – "речкой смерти", вкладывая в это двойной смысл: носящая название "речки смерти" – она в день сражения действительно стала речкой смерти."
>
> И. Андронников. Комментарий к стихотворению "Валерик".*

Чем более жестокие формы принимает "контртеррористическая операция" и чем менее просматриваются контуры победы в такой войне, тем более древним, чуть ли не изначальным предстает конфликт русских и чеченцев, тем прочнее его пытаются укоренить в глубинах отечественной истории. Особенно эти настроения обострились во время и сразу после захвата группой Бараева Театрального центра на Дубровке. Так как большинство боевиков – как мужчин, так и женщин – происходило из тейпа мукалой, в газетах стали появляться статьи типа "Клан убийц"[1] и "Ведьмы террора"[2], авторы которых доказывали, что, убивая, чеченцы повинуются древним законам предков, что это у них в крови, что убивают эти "отморозки" не только русских, но и друг друга. Вот типичный образчик этого рода журналистики: "Большинство женщин-камикадзе, убитых в театральном центре на Дубровке, из тейпа мукалой. В нем наиболее сильны патриархальные нравы. В этом роду [но тейп это не один род, а объединение соседских общин – М. Р.] все женщины обязаны беспрекословно подчиняться мужчинам. Даже после их смерти они не могут пойти против своего повелителя и нарушить "иман" – клятвы на Коране"[3]. Немало написано было и о том, что общественное мнение чеченцев не осуждает работорговлю и использование рабского труда: одобряет оно, оказывается, бессудные

расправы над пленными, если за тех не могут заплатить выкуп и т. д.

Не отстают от журналистов и популярные беллетристы. В их исполнении картина изначальности чеченского бандитизма выглядит еще более впечатляющей, так как этого требуют законы жанра. В книге "Закон гор" Лев Пучков описывает чеченскую "банду, специализирующуюся на тотальном разбое" (то, как можно "специализироваться" на "тотальном" оставим на совести автора) в таких выражениях: "В принципе данное образование даже бандой назвать язык не поворачивается: просто обычный поселок, в котором каждый житель занят своим делом. Молодые и сильные мужчины занимаются непосредственно разбоем и грабежом, женщины ударно рожают им новую смену, смена эта потихоньку растет, впитывая нравы и обычаи среды обитания, а престарелые аксакалы, которые уже не в состоянии прятаться в кустах и держать тяжелые пулеметы, учат уму-разуму всех остальных – прививают передовую методику фундаментального бандитизма... Вся эта система цементируется родопленным укладом, законом шариата..."[4]

Другими словами, бандитизм, якобы, настолько естественен для чеченцев, что его и бандитизмом-то назвать нельзя: не банда, а "просто обычный поселок", каких великое множество. Получается, что около полутора веков совместной жизни русских и чеченцев, из которых семьдесят с лишним лет они были частью "новой исторической общности, единого советского народа" пошли прахом, их как бы вовсе не было, и в природе чеченцев с начала позапрошлого века ничего не изменилось. Естественно предположить, что за столь брутальной деисторизацией русско-чеченских отношений скрывается травма нынешней войны, объяснение которой пытаются найти в фиктивной "вечности", насчитывающей, если вдуматься, всего три с половиной года (время "антитеррористической операции").

Недавно в серии "Спецназ"(2001-2002, режиссер Андрей Малюков) был показан фильм под названием "Клинок". В начале фильма богатый чеченец покупает у петербургского антиквара старинный кинжал XIX века, который тот до этого обещал продать офицеру российского спецназа. Офицер в ярости, но чеченец спокойно поясняет: "Этим клинком мои предки убивали неверных русских собак, и я продолжу их дело." (Это почти точная цитата из фильма А. Балабанова "Война"(2001), где чеченский злодей грозит по завету предков перерезать всех русских до Волгограда).

В следующей сцене появляется человек в чалме (этот образ также воспроизводится в телесериале "Мужская работа-2" Тиграна Кеосаяна), мусульманский фундаменталист, который является заказчиком всех преступлений против России: он вручает чеченскому эмиссару, тому самому владельцу кинжала, матрицу, практически неотличимую от той, с которой казначейством США печатаются доллары. Российский спецназ выступает на защиту аутентичности американского доллара, стремясь любой ценой найти и уничтожить матрицу; иначе чеченцы затопят не только Россию, но и весь мир фальшивыми долларами, неотличимыми от настоящих.

Американское казнайчество высылает в помощь спецназу своего агента, который говорит на чистейшем русском языке и владеет всеми видами местного стрелкового оружия. Спецназовские супермэны уничтожают совершенно нереалистичных, картонных чеченцев и захватывают вожделенную матрицу, которую американский агент увозит с собой в США.

Понятно, что миллионы россиян держат свои сбережения в долларах, и перспектива их подделки может восприниматься ими весьма болезненно. Одетые в камуфляж спецназовцы сами похожи на новенькие доллары, которые защищают себя от покушения чеченцев. Поэтому они не потеют, не повреждаются и даже не загрязняются, – ведь московские пункты обмена валюты очень привередливы в отношении потрепанных или поврежденных купюр.

Здесь видна разница между пропагандистским кино тоталитарных и авторитарных государств. Первые утверждают черно-белое видение мира с помощью прямого подавления конкурирующих изображений: поэтому в них большое значение придается созданию "правильных" образов, настоящих героев – ведь цензура гарантирует их долговременность и монопольное положение (какая-то конкуренция существует лишь в сфере развлекательного кино). Авторитарные режимы такой роскоши себе позволить не могут, и их потуги на идеологическую ортодоксию самопародийны изначально: объявляемое ими святым содержит насмешку над святостью, провозглашаемое необмениваемым является стыдливой формой обмена. Производители фильмов типа "Матрицы" предполагают в зрителе нереалистично высокую степень цинизма; их попытка убеждать, не будучи ни в чем убежденными, как правило, заканчивается неудачей.

Понятно, что нынешние российские власти хотели бы списать на чеченцев большую часть внутрироссийских проблем, тем самым обеспечивая себе алиби. Но непонятно, каким образом в таком случае избежать демонизации чеченца, как не сделать противостояние исламскому фундаментализму вечным и практически безнадежным делом. Ведь тотального врага нельзя победить прежде всего потому, что он составляет существенную часть нас самих.

С одной стороны, Чечню хотят сохранить в составе России любой ценой, будучи уверены в том,что ее отделение вызовет цепную реакцию и приведет к распаду России. Отсюда вроде бы следует, что чеченцы – привилегированные граждане, которых надо всеми средствами убеждать оставаться верными России. С другой стороны, происходит нечто прямо противоположное: чеченцев представляют как извечных врагов, лишая их конституционных прав, которые распространяются на других граждан. Здравый смысл бессилен объяснить, как провозглашаемая сверхценность Чечни как субъекта Российской Федерации сочетается с видением ее жителей в качестве извечных и бескомпромиссных врагов России. Здесь пропагандные стереотипы вступают в противоречие с российской Конституцией, которая не подразумевает особого отношения к разным категориям граждан. Идеологам остается действовать в противоречии с законом, не имея полномочий его изменить.

Создаваемый пропагандой последних лет образ чеченца неотделим от того *внутреннего чеченца*, который произрастает из сознания современного россиянина. С помощью процедуры овнешнения, создания монументального образа врага, стараются избавиться от страха перед огромным числом внутрироссийских (часто внутримосковских) проблем. Популярные романисты пугают читателя описаниями того, как в руки преступников-чеченцев попадает биологическое или химическое оружие[5] или как они захватывают атомную электростанцию[6], превращая в заложников всех россиян. В телесериалах вроде "Мужской работы" и "Спецназа" чеченцы все чаще изображаются как пособники мирового исламского терроризма, борьба с которым после 11 сентября объявлена приоритетом западного мира. Местами создается впечатление, что эти фильмы снимаются не для российской, а для американской аудитории и ставят целью вписать Вторую чеченскую войну в язык американкой травмы. Дереализация чеченского конфликта ста-

вит пропаганду в зависимость от языка, на котором администрация президента Буша стремится заставить говорить весь мир. Пока на этот язык наиболее прямо замкнулись локальные конфликты в России и Израиле, и в обоих случаях мы наблюдаем эскалацию взаимной ненависти. Переведенные в план глобального противостояния мировому терроризму, оба конфликта делокализуются и представляются как сцены борьбы сил Добра и Зла. Разрешимое локальное противостояние заменяется воображаемым глобальным и поэтому неразрешимым противостоянием, наиболее сомнительной составляющей которого является самопровозглашенное Добро.

Нет социальных проблем современной России, в создании которых бы не обвинялись чеченцы и их пособники: работающие на сепаратистов российские политики, депутаты, журналисты. Здесь в чистом виде работает механизм овнешнения внутрироссийских конфликтов, возникающих в основном по причинам, не имеющим отношения к чеченцам. Но чем больше чеченцу приписываются черты тотального врага, чем более конфликт делокализуется и изображается как извечный, тем труднее становится выработать критерии победы: особенно, когда речь идет о войне *внутри* одного общества, формально наделяющего своих граждан равными правами. В конечном счете "ножницы" между законодательными нормами и фактическим положением дел, которое усугубляется сужением информационного поля и засильем пропагандных клише, отчуждают от государства не только чеченцев, но и остальных граждан, чьи права также размываются. По-видимости овнешнив чеченца, т. е. допустив нечто противозаконное, общество остается наедине с *внутренним чеченцем*, а именно со своей собственной агрессивностью.

Если сепаратизм является прегрешением против буквы закона, то выделение одной категории граждан в качестве врага всех остальных представляет собой бунт против самого существа закона, его всеобщности. Поэтому чеченец, а тем более "лицо кавказской национальности" – символ слабости связей между всеми россиянами, высокой степени недоверия к институтам государства, воплощающим узкокорпоративный интерес. Но пока большие массы людей будут довольствоваться овнешнением своих травм (распад огромного государства с его системой минимальных гарантий, снижение уровня жизни огромного большинства, резкое социальное и имущественное расслоение и т.

д.), найдутся и те, кто укажут им пальцем на виновника всех бед, на врага, победив которого они, якобы, избавятся от всех проблем. Но война внутри одного общества не может быть эффективным средством социальной терапии и лишь усугубляет болезнь, которую с ее помощью хотят лечить. Если бы российское чиновничество было не столь коррумпированным, а народ более самоорганизованным и не столь приученным к государственному патернализму, чеченец утратил бы свой идеологический демонизм.

То же самое, естественно, относится и к зеркально симметричному образу русского как извечного врага, который культивируется вахаббитской пропагандой – с той существенной разницей, что она обладает несравненно меньшими возможностями транслировать свой образ врага за пределы Чечни.

Понимание того, что война идет не только на Кавказе, но по всей России присутствует и у тех, кто оплакивает потери армии, и у тех немногих, кто, подобно Анне Политковской, находит в себе мужество напоминать обществу об ужасающих страданиях мирного чеченского населения.

"...Только дурак может думать, — заявляет герой романа А. Рудакова "Чеченская мафия", — что война идет на Северном Кавказе, потому что похоронки получают и в Вологде, и в Хабаровске, и в Якутске..."[7]

"Спецмероприятие по имени "Чечня" совратило всю страну – пишет Политковская, — и продолжает ее дальнейшее озверение вперемешку с отуплением".[8]

Другими словами, присутствует осознание того, что превращение внутрироссийского конфликта в бескомпромиссную войну со всемирным терроризмом губительно для всего общества, потому что враг в такой войне – это мы сами. К сожалению, пока почти нет текстов, в которых соединились бы позиция российского патриота и позиция правозащитника, который является патриотом в более глубоком смысле слова: он выступает на стороне наиболее обездоленных граждан. Патриоты закрывают глаза на "зачистки" и террор в отношение мирного населения, а в правозащитной прозе действия армии и МВД выглядят немотивированными зверствами (хотя на самом деле они мотивированы местью за гибель их товарищей).

Принципиально разная оптика создает предпосылки для демонизации, с одной стороны, чеченца-врага ("духа", "чеха", "моджахеда"),

а с другой – российского солдата, выполняюшего карательные функции.

На антивоенных митингах последних лет меня коробили выступления Валерии Новодворской, которая призывала собравшихся немногисленных интеллигентов учиться демократии... у воюющих чеченцев. Она стилизовала "воинов Ислама" под советских "физиков" и "лириков" 60-70-х годов: "Печать избранничества лежала на вдохновленных лицах чеченских боевиков. Они были одеты так, как интеллигенты в турпоходе, в штормовки, на которые так похожи камуфляжи, и при бороде. Вместо гитары были гранатометы и автоматы...Чеченцы были отголоском идеалов 1991 года. Свободный вооруженный народ без единого коммуниста – это была почти что Америка".[9]

Официальной пропаганде можно только мечтать о таких оппонентах, как Новодворская, настолько идиосинкратична ее любовь к чеченцу с автоматом. На ее фоне Ястржемский смотрится сторонником здравого смысла. Зеркально переворачивая клише официальной пропаганды, правозащитница остается в плену той же самой дилеммы: просто изначальный враг России становится не менее изначальным другом свободы и демократии. Друговость чеченца можно ликвидировать как в образе тотального врага, так и в фигуре "кавказского американца".

Только совокупными усилиями историков, лингвистов, психологов и антропологов чеченцу можно (и нужно) вернуть друговость, которой его лишают разные формы идеологии.

Российская пропаганда последние три с лишним года в полной мере использует против чеченцев свой почти монопольный контроль над языком (в том числе и визуальным) конфликта, право называть вещи так, как она считает нужным. Чеченцев с оружием в руках в печати именуют исключительно боевиками, бандитами, международными преступниками и террористами. Но остается неясным, как назвать тех, кто отдает приказы о "зачистках" и их осуществляет. Захват театрального центра на Дубровке был единодушно квалифицирован как теракт, достойный осуждения, но кто и на каком языке осудил разрушение сотен домов и гибель тысяч жителей там, откуда пришли террористы?

Вторая чеченская война породила целые пласты немого несостоявшегося языка, толщу неназываемого, в которой барахтается наше общество, становясь деструктивным изнутри. Преступления чеченс-

ких боевиков становятся называемыми вдвойне, потому что у нас отсутствует язык, на котором можно говорить о преступлениях против жителей Чечни.

Во время Первой чеченской войны было несколько альтернативных языков описания происходящего, которые конкурировали между собой. Война, по общему признанию, была менее жестокой; еще жило сознание, что воюют две части еще недавно единого – пусть во многом созданного чисто политическими средствами — народа с общей историей, и, следовательно, признавалась возможность компромисса, реализовавшаяся в Хасавюртских соглашениях 1996 года.

В отличие от первой, нынешняя война несравненно больше политизирована. Это и понятно: на ее фоне и в результате ее начала сложился весь правящий класс современной России во главе с ее президентом. Будь зависимость политики от войны не столь жесткой, не было бы нужды в монопольном контроле над языком конфликта, в демонизации врага. В первую чеченскую компанию, вспоминает генерал Г. Трошев, он часто контактировал с Масхадовым , к которому относился с уважением и даже с симпатией. "Я советский офицер, — говорил Масхадов. – Воспитывался в советских традициях...Но как вы могли в мирное время придти в Чечню и убивать народ?"[10] Теперь же Масхадов объявлен вне закона и какие-либо переговоры с ним, кроме переговоров о безоговорочной капитуляции в стиле начала мая 1945 года, невозможны. Теперь уже друг против друга воюют не два еще вчера советских офицера, а представители непримиримых сил: мировой антитеррористической коалиции и исламского фундаментализма и терроризма. При этом маловероятно, что Масхадов за эти несколько лет стал убежденным исламистом – просто резко изменился политический климат в России, а с ним – надеюсь, что временно, — ушла в прошлое и возможность компромисса.

По-другому Первая чеченская война виделась не только генералам, но и рядовым офицерам. Достаточно перелистать книгу капитана В. Миронова "Я был на этой войне. Чечня, год 1995", чтобы увидеть огромную разницу между климатом, в котором проходили эти две войны. Приведу несколько цитат. "Продолжается многовековая война правительства с собственным народом. Церковь, как всегда, в стороне. А еще того хуже – поддерживает преступную войну".[11] "Но, насколько я узнал этот народ [чеченцев – М. Р.], он будет биться за каж-

дый дом, вести партизанскую войну до последнего гражданина своей родины. А для чего и за что мы здесь воюем? Мстим за своих товарищей и тех русских – я ненавижу слово "русскоязычные" – которые натерпелись боли и унижений до нашего прихода".[12] "Разве может республика, которой не видно на карте, угрожать суверенитету России?"[13]

При желании число подобного рода "еретических" мыслей можно без труда умножить, и Миронов, конечно, не был исключением; так же тогда думали очень многие россияне.

Итак, "вечному" образу чеченца-врага столько же лет, сколько Второй чеченской войне, и в основе его формирования лежат самые что ни на есть "бренные" политические изменения в новейшем российском обществе.

II

Если сравнивать то, что писали о чеченцах русские писатели, – прежде всего, М. Ю. Лермонтов и Л. Н. Толстой, – с тем, что писалось на эту тему в последние годы, в глаза бросается существенное различие: за прошедшие полтора с лишним века чеченец перестал быть просто другим и стал Абсолютным Другим, который в полной мере подвержен закону тождества и фактически неотличим от наиболее глубокого, скрытого пласта в нас самих.

Хотя в первой половине девятнадцатого века русские называют чеченцев и других горцев "азиатами" и даже "разбойниками" и сражаются с ними довольно жестоко, но, тем не менее, как образованные дворяне, так и простые солдаты неизменно относятся к своим противникам с уважением, местами даже с восхищением. Это сочетание готовности приносить свою жизнь на алтарь царя и отечества с уважением к противнику в современной российской прозе практически не встречается. В чем причина? В европейской культуре дворян и их представлениях о чести, а также в религиозности тогдашних людей, которые и представить себе не могли тотальную ваойну, извечного врага и т. д.. Достаточно ознакомиться с отрывком Лермонтова "Кавказец", чтобы понять, как, служа на Кавказе, русские офицеры постепенно вживались в кавказские обычаи, учили языки и гордились дружбой с джигитами. Возвратившись в Россию, они продолжали одеваться и вести себя как "кавказцы", как люди, чье обучение у азиатов изменило их жизнь. Другими словами, это были не только завоеватели, но эт-

нографы и лингвисты. Выпускники пажеских корпусов, они не стеснялись перенимать у горцев то, что им нравилось, оставаясь при этом "слугами царя и отечества".Тогда чеченцы и другие горцы были реально другими (от уклада жизни и религии до манеры ездить на лошади и одеваться), и овладевая их обычаями и языком, русские создавали предпосылки — пусть недостаточные, но уж точно необходимые – для длительной колонизации Кавказа.

Сейчас ситуация совершенно другая. Чечня находится в составе России уже около полутора веков; почти все ее жители знают русский язык, а большинство лидеров сопротивления являются *такими же* представителями позднесоветской элиты, как и те, против кого они воюют. *Сходство недавней истории разводит их так же, как их предков сближало неоспоримое различие.* Воюющие стороны культурно еще слишком близки, чтобы дистанционно посмотреть на совершаемые в отношении друг друга зверства; их дружество пока еще исчезающе мала и не может служить действенным инструментом опосредования. Тотальным противостояние делает, в частности, и то, что участники конфликта восприняли пока лишь внешние атрибуты религиозности; по сравнению с ними их отдаленные предки были значительно более религиозными людьми, т. е. осознавали, что живут не только в этом мире и ответственны за свои действия перед Богом. Им и в голову не могло прийти изображать свой земной конфликт в виде противостояния православия и ислама.

Сейчас это сознание ушло. Тотальная идеология еще недавно хотела построить атеистический рай на одной шестой части суши, называемой СССР. Мы, собственно говоря, живем во время начала распада этого заповеданного земного рая, и чувство трансцендетного развито в нас довольно слабо. А в мире без трансцендентного образы врага с обоих сторон рискуют разрастись до неимоверных размеров. Вчерашние советские люди только начинают отвыкать от вековых имперских привычек, в число которых, конечно, входит сращение религии и государства, исключающее свободу совести. И в исламе, и в православии существует опасность фундаментализма без веры, чисто обрядовой, посю-сторонней внешней религиозности, ядром которой становится в том числе образ врага. С одной стороны, он служит алиби для того, о чем запрещено говорить, и создает видимость незначительности запретного, но с другой, наша собственная сущность, будучи вытеснен-

ной вовне, не перестает, подобно бумерангу, возвращаться и разрушать нас изнутри.

Нынешний чеченец совершенно не похож на горца Лермонтова и Толстого, и страшен прежде всего *особой близостью* к нам, которой в первой половине девятнадцатого века не существовало. Чеченцы и в "Казаках", и в "Хаджи Мурате" исполнены чувства собственного достоинства, которое уважают и казаки, и офицеры, и солдаты. Казаки не просто охраняли рубежи России, но говорили по-чеченски, роднились с чеченскими родами и воспринимали горцев как более близких им людей, чем русские солдаты. "Еще до сих пор казацкие роды считаются родством с чеченскими...Казак, по влечению, менее ненавидит джигита-горца, который убил его брата, чем солдата, который стоит у него, чтобы защищать его станицу, но который закурил табаком его хату...Собственно, русский мужик для казака есть какое-то чуждое, дикое и презренное существо..."[14] Им и в голову не могло прийти не отдать чеченцам тело их убитого сородича. Сейчас же, когда казаки преподносятся как наследственные враги чеченцев, забывают, что в давние времена вражда вовсе не исключала ни уважения, ни подражания (в оружии, в одежде, в манере сидеть на коне). Тотальная вражда в современном смысле слова была людям того времени просто непонятной – она является наследием советского периода. И ничто так не отрезвляет в этом отношении, как внимательное чтение Лермонтова и Толстого, на которых теперь неправомерно ссылаются в доказательство якобы извечности русско-чеченского противостояния.

Нынешняя элита и в России, и в Чечне также совершенно не похожа на тогдашнюю и в культурном отношении стоит значительно ближе как друг к другу, так и к большинству населения, чем воображают ее представители. Ей так сложно договариваться между собой именно из-за общих корней в недавно распавшейся "новой исторической общности, советском народе". Теперь каждая из частей недавно единого народа – цементировавшегося централизованным применением насилия в огромных масштабах – претендует единолично представлять распавшееся целое, и это крайне затрудняет поиск компромисса.

Чем дольше длится Вторая чеченская война, чем больше зависит от нее соотношение политических и экономических сил в стране, тем туманнее перспективы ее окончания и монументальнее образ чеченца-врага. Если Дудаева называли просто "мятежным генералом", го-

товым по многим вопросам договариваться с Россией, то Масхадова именуют не иначе как бандитом, международным террористом, убийцей, злейшим врагом России, переговоры с которым невозможны ни при каких обстоятельствах. Интернационализация конфликта, перевод его в термины борьбы с международным терроризмом, делает ситуацию и вовсе безвыходной. Ведь сущность нового врага состоит в его принципиальной неопределенности и имманентности структурам, которые против него выступают. Последние телесериалы, в которых чеченцы действуют как звенья всемирного исламского терроризма, аппелируют уже не столько к российскому, сколько к американскому зрителю.

Нынешняя российская власть оказалась на острие дилеммы: как популярному, "рейтинговому" президенту вести все более непопулярную войну? Как не одерживая победы, не создавать впечаления поражения? Сейчас мало кто верит, что война закончится до переизбрания Владимира Путина на второй срок; при этом инсценировка мирных инициатив, скорее всего, будет иметь место.

Подведу некоторые итоги. 11 июля 1840 года в сражении при речке Валерик в Чечне принял участие 26-летний М. Ю. Лермонтов, написавший после боя одноименное стихотворение, обращенное к петербургской светской даме. После боя кунак поэта, чеченец, сообщает, что Валерик по-чеченски значит "речка смерти". В тот день, 11 июля 1840 года, она оправдала свое название и действительно стала речкой смерти для нескольких сотен русских и чеченцев. Герой стихотворения хочет напиться из нее и не может: теплая вода Валерика красна от пролитой крови.

На протяжении двух последних войн при Валерике также были бои, но контекст противостояния радикально изменился.

Во времена Лермонтова чеченец настолько отличался от русского, что у него можно было учиться, не опасаясь раствориться в нем, и с ним можно было воевать, не создавая демонического образа врага. Герою стихотворения "Валерик", явно автобиографическому, настолько чуждо представление о том, что мусульманство может представлять угрозу его вере, что он роняет такую фразу (по поводу развившегося у него на Кавказе фатализма): "Быть может, небеса Востока / Меня с ученьем их пророка / Невольно сблизили."[15]

Подобное признание в устах нынешнего офицера могло бы быть расценено едва ли не как предательство – не в последнюю очередь потому, что вера воюющих носит пока что внешний, ритуальный характер. Полтора века колонизации и, главное, семьдесят с лишним лет существования СССР не прошли даром; воюют две части еще недавно единого народа, и хотя лозунги, под которыми они выступают, различны (сохранение целостности России, с одной стороны, независимость Чечни, с другой), этот конфликт значительно труднее локализовать, так как каждая из сторон претендует репрезентировать утраченное целое и ради этого готова на идеологические крайности. Теперь Валерик, "речка смерти", протекает не только по территории Ичкерии и является кровавой не только в день сражения. Локальный конфликт принимает форму тотального противостояния, где врагу приписывается полный набор злодеяний на всей территории России.[16] Столь политизированная война влияет на все стороны жизни.

Классическая русская литература не только не подтверждает популярный ныне тезис об извечном противостоянии чеченцев и русских, но, напротив, безжалостно его развеивает, показывая историчность утверждаемой вечности, ее недавнее происхождение. И это вселяет надежду: если вечность так молода, то и продлится она не слишком долго, и в один прекрасный день мы проснемся в мире, где нет нужды в образах вечной вражды. Это будет означать, что мы преодолеем *в себе* то, что заставляет нас демонизировать другого и истерически объявлять сосуществование с ним одновременно невыносимым и неизбежным.

Мир же без подобных образов уже по определению будет лучшим миром.

Здесь трудно не согласиться с военным историком Яковом Гординым: "...выход из кровавого тупика в возвращении к фундаментальным постулатам, ясным некогда многим русским офицерам. Главный из которых – признание друг друга ЛЮДЬМИ. И только в этом случае может сработать известная и проверенная технология замирения".[17]

Пока нам до этого, к сожалению, еще далеко. Недавно один приятель сказал, что если Запад так любит чеченцев, то пусть возьмет их себе, и тогда Чечню можно будет "просто заасфальтировать". Война, победа в которой рисуется в виде пустого заасфальтированного простанства, свободного от людей, бесперспективна; в ней нельзя побе-

дить. Но можно и нужно осмыслить механизм проекции, заставляющий другого становиться Абсолютным Другим, и тем самым начать от него освобождаться. Трудно повысить уровень жизни россиян, поэтому легко вербовать контрактников на войну; трудно поймать террористов, зато легко брать отпечатки пальцев у всех чеченцев[18]; трудно прекратить "зачистки", зато легко объявить бандитами всех чеченцев, как это уже исподволь звучит в пропагадистских фильмах.

Нам надо учиться делать трудное, не поддаваясь соблазну легкого, заводящего в тупик.

И, конечно, свой отрезок пути навстречу тем из россиян, кто пойдет по этой трудной дороге, должны будут проделать и чеченцы, находящиеся во власти аналогичных стереотипов.

Москва, январь 2003 года.

Примечания:

* М. Ю. Лермонтов. Собрание Сочинений. М., Издательство "Художественная литература", 1964, том 1, с. 585.

1. Владимир Баринов. Клан убийц. – "Газета", 30 октября 2002, с. 7.
2. Сергей Шаповалов. Ведьмы террора. – "Мир новостей", 29 октября 2002, с. 4.
3. Там же.
4. Лев Пучков. Закон гор, М., Эксмо-Пресс, 2002, с. 7.
5. Андрей Таманцев. Чужая игра, М., 2002.
6. Дмитрий Черкасов. Косово поле Балканы, М., 2000.
7. Александр Рудаков. Чеченская мафия, М., 2002, с. 4.
8. Анна Политковская. Вторая чеченская, М., Захаров, 2002, с. 160.
9. Валерия Новодорская. Над пропастью во лжи, М., 1998, с. 375-376.(Цитируется по аналитическому интернет-обзору Галины Зверевой "Чеченская война в дискурсах массовой культуры России: формы репрезентации врага").
10. Геннадий Трошев. Моя война. Чеченский дневник окопного генерала, М., Вагриус, 2002, с. 59.
11. Вячеслав Миронов. Я был на этой войне. Чеченя, год 1995, М., Библион, 2001, с.199.
12. Там же, с. 335.
13. Там же, с. 133.
14. Л. Н. Толстой. Собрание сочинений, М., Изд-во Художественной литературы, 1958, том 3, с. 164.

15. М. Ю. Лермонтов. Собрание сочинений, М., Издательство "Художественная литература", 1964, том 1, с. 93.
16. Например, в книге Александра Проханова "Господин Гексоген" (М., Ad Marginem, 2002,) чеченцы обвиняются в торговле русскими девочками, наркоторговле и т. д.
17. Яков Гордин. Войны, офицеры, история, — предисловие к книге: Вячеслав Миронов. Я был на этой войне...с. 8.
18. Александр Шварев, Виктор Пауков. Подозреваются все.. — "Время новостей", 29 октября 2002, с. 1, с. 3.

содержание:

Введение. *Место мысли*: Москва 1995-2003 — 7

Часть I: Письма из Москвы

Время диагноза — 25
(август 1995)
Логика распада — 31
(январь 1996)
Большие маневры — 37
(май 1996)
Платье без короля — 44
(август 1996)
Дзенский старик — 50
(октябрь 1996)
Немая граница — 57
(январь 1997)
Опасная зона — 62
(август 1997)
Объект охраны — 68
(ноябрь 1997)
"Черная книга": полвека спустя — 75
(январь 1998)
Просветление препарата — 82
(март 1998)
Кризис государства-пирамиды — 88
(август 1998)
Рыбки в мутной воде — 94
(ноябрь 1998)
Дед Мороз запаздывает — 100
(февраль 1999)
Логика войны: вид из Москвы — 106
(май 1999)
Kremlinlove-Kremlingate — 112
(август 1999)

Второй чеченский синдром — 118
(ноябрь 1999)
"Европа начинается с Перми"? — 123
(январь 2000)
После коронации — 128
(май 2000)
Великая иллюзия — 134
(август 2000)
Образцовая смерть — 140
(ноябрь 2000)
Иллюзия выживания, или Все на продажу — 146
(февраль 2001)
На расходящихся орбитах — 152
(май 2001)
Преступления ради братства — 158
(август 2001)
Being there — 164
(ноябрь 2001)
Открытие Америки — 169
(февраль 2002)
Кровь на белых одеждах — 175
(май 2002)
Кто поджег Рейхстаг? — 181
(август 2002)
"Стокгольмский синдром" — 187
(ноябрь 2002)
Осторожно война — 198
(февраль 2003)
Электронный кнут — 204
(май 2003)

Часть II: Структура травмы

Медиум и автор — 213
Триумф детриумфатора.
Линия и буква — 236
Pedigree pal.
Путь к английскому догу — 264
От ликования к галлюцинации:
постсоветские коллективные тела — 277
Структура травмы — 287
Валерик.
Образы чеченца сквозь призму войны — 311

Михаил Рыклин

Время диагноза

Художественное оформление – Вера Хлебникова
Редактура - Анна Альчук, В. Пономарев
Макет – Издательство "Логос" (Москва)

***

информационные спонсоры издания:

LENTA·RU
Rambler

ЛУЧШИЙ ИНТЕРНЕТ – ОТ КОМПАНИИ **РИНЕТ**
http:// www.rinet.ru тел: (095)2383922

***

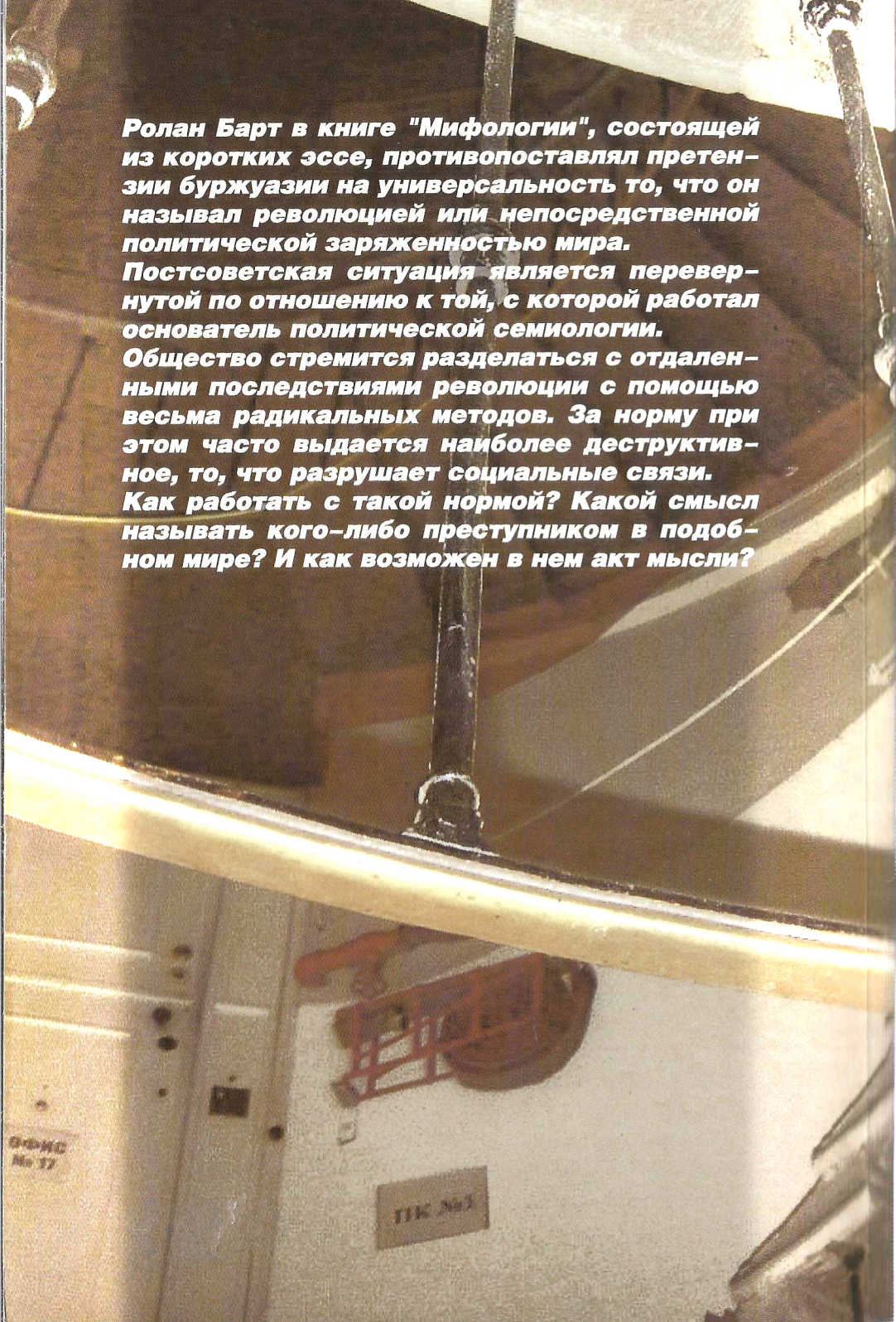
www.gnosis.ru - информация о книгах издательства.
Издательство "Логос" 127644, г. Москва, ул. Лобненская, д. 18, стр.4 .
tel: 246-1430; e-mail: oleg@gnosis.ru ; info@gnosis.ru

Справки и оптовые закупки :
м. "Парк Культуры", Зубовский б-р, 17, оф. 50 (Издательство "Логос", тел.: 246-1430); ком. 5-6 (ИТДГК "Гнозис", тел.: 247-1757);

Книжная ярмарка «На Олимпийском», 3 эт., места 127, 183
(ООО «Традиция», тел.: 5133505, 8903-1757297).

Подписано в печать 15.08.2003. Формат 60×90 1/16.
Печать офсетная. Бумага офс. № 1.
Печ. л. 20,5. Тираж 1000 экз. Заказ 3141.

Отпечатано с готового оригинал-макета
в ФГУП «ПИК ВИНИТИ», 140010, г. Люберцы, Октябрьский пр-т, 403



Ролан Барт в книге "Мифологии", состоящей из коротких эссе, противопоставлял претензии буржуазии на универсальность то, что он называл революцией или непосредственной политической заряженностью мира.
Постсоветская ситуация является перевернутой по отношению к той, с которой работал основатель политической семиологии.
Общество стремится разделаться с отдаленными последствиями революции с помощью весьма радикальных методов. За норму при этом часто выдается наиболее деструктивное, то, что разрушает социальные связи.
Как работать с такой нормой? Какой смысл называть кого-либо преступником в подобном мире? И как возможен в нем акт мысли?